

ЭДУАРД
МОРГАН
ФОРСТЕР

издания



ЭДУАРД МОРГАН ФОРСТЕР

ИЗБРАННОЕ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1977

И (Англ)
Ф79

EDWARD MORGAN FORSTER

Составление
Н. РАХМАНОВОЙ

Предисловие
Т. ХМЕЛЬНИЦКОЙ

Примечания
А. ГОЛИКОВА

Оформление художника
Г. ФИЛЬЧАКОВА

© Издательство «Художественная литература», 1977 г.

Ф $\frac{70304-067}{028(01)-77}$ 176-77

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литературная деятельность Эдуарда Моргана Форстера охватывает столь продолжительный и столь насыщенный общественными и художественными событиями период, что может вместить в себя несколько писательских поколений. Форстер в такой же степени современник Джона Голсуорси, Г. Д. Уэллса и Бернарда Шоу, как и Д. Г. Лоуренса, Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф, а конец его пути совпал с расцветом творчества Р. Олдингтона, Дж. Б. Пристли и Грэма Грина. Литературное наследие Форстера не очень велико по объему, но отличается чрезвычайным жанровым разнообразием. Он выступает как романист и новеллист, как публицист и критик, сценарист и драматург, как автор путевых очерков, фельетонов и памфлетов. Широта знаний и интересов позволяла ему откликаться на многообразные явления культуры от античности до наших дней. Пафос его прозы — страстное обличение ограниченности — сословной, расовой, религиозной, в которой он видел источник социальной трагедии современного человечества.

Форстер — писатель переходного периода в развитии английской литературы, когда на смену традициям критического реализма прошлого столетия явилось искусство XX века с его трагическим видением мира и обостренным вниманием к глубинной психологии человека. В пестром и сложном литературном потоке десятых и двадцатых годов Форстер — связующее звено между реализмом XIX и XX веков. С первым его роднит общая эстетическая позиция, со вторым — резкое неприятие социальных и нравственных установлений современного ему буржуазного общества и изысканная манера письма.

Обладая обостренным историческим зрением, искусством улавливать только еще зарождающиеся веяния, Форстер нередко предвосхищал пути художественных исканий, ставших актуальными лишь в середине XX века. В современной английской литературе он — автор одной из первых антиутопий и одного из первых антиколониальных романов.

В рассказе «В чем смысл» (1911) Форстер так говорит о творчестве одного из своих героев, в значительной мере вобравшего черты самого автора: «Созданное им не было, да и не претендовало быть великой литературой. Оно лишь открывало пути к будущему и вело к добру». Слова эти свидетельствуют о предельной скромности Форстера. Но современники оценили его намного выше. Они уже при жизни считали его классиком, одним из крупных представителей современной английской реалистической прозы, поставив в один ряд с Голсуорси, Уэллсом и Беннеттом.

I

Эдуард Морган Форстер родился в 1879 году в семье лондонского архитектора. Форстер учился в закрытой привилегированной школе, на всю жизнь внушившей ему отвращение своей рутинной, бездушной, ограниченностью и лицемерием.

В 1897 году Форстер поступил в Кембриджский университет. Увлечение философией, смелые научные и эстетические искания, тесное и дружеское общение учащихся с профессорами характерны для интеллектуальной жизни Кембриджа этих лет.

Особенно глубокое влияние оказал на Форстера его преподаватель и друг Г. Л. Диккинсон, прививший ему вкус к изучению античности, древних культур и истории. О Диккинсоне Форстер впоследствии написал книгу — своеобразное сочетание исследования, портрета и воспоминаний.

Большую роль в идейном формировании Форстера сыграл и другой его профессор — Д. Э. Мур, автор философского труда «Основы этики» (1903). Мур придавал огромное значение личному духовному общению, обмену эстетическим опытом, творческим контактам в нравственном воспитании человека. Теории Мура и вся духовная атмосфера Кембриджа были питательной средой для молодого Форстера. Недаром он утверждал, что путь к человечности и взаимопониманию людей лежит через освоение многообразной культуры. Благодарную память о Кембридже Форстер запечатлел в автобиографическом романе «Самое длинное путешествие» (1907). Связи с Кембриджем он не терял всю свою жизнь: неоднократно читал там лекции и поддерживал контакты с профессурой. В 1946 году Форстер был избран почетным членом Кембриджского университета.

Сразу же после окончания Кембриджа Форстер стал печататься в различных литературных журналах и быстро приобрел известность как новеллист и романист. Но успешно начавшаяся литературная карьера Форстера была прервана первой мировой войной.

Как и многие молодые англичане, он принял в ней добровольное участие, прослужив три года в санитарном отряде, действовавшем в Египте.

Форстер много путешествовал. В 1901 году он посетил Грецию, Италию и другие страны Средиземноморья. Позднее ездил в Германию, читал лекции в Соединенных Штатах. В 1912 году он впервые познакомился с Индией. Египет и Индия — страны, в которых Форстер бывал неоднократно. Впечатления от последнего путешествия по Индии в 1921—1923 годах легли в основу его самого значительного и широко известного романа «Поездка в Индию» (1924), опубликованного в русском переводе в 1937 году.

Посещение разных стран было для Форстера неизменным условием нравственного и эстетического воспитания и путем к пониманию национального характера других народов. Поездки давали ему неоценимый материал не только для путевых очерков, составивших важную часть его литературного наследия, но и для романов и рассказов, действие которых часто происходит за пределами Англии.

В конце тридцатых годов Форстер становится активным и страстным публицистом, а в дни второй мировой войны — одним из крупных антифашистских писателей Англии.

Умер Форстер в 1970 году.

II

Э. М. Форстер вступил в литературу в начале XX века. Его первый роман, «Куда боятся ступить ангелы», вышел в 1905 году, за ним с небольшими промежутками последовали еще три — «Самое длинное путешествие» (1907), «Комната с видом» (1908), «Хауардз-Энд» (1910), а в 1911 году был опубликован сборник рассказов «Небесный омнибус».

Годы 1901—1914, предшествовавшие первой мировой войне, стали для Англии порой глубокого экономического и духовного кризиса. Англия, которую еще не так давно величали «владычицей морей» и «мастерской мира», отошла в прошлое. Позорная англо-бурская война 1899—1902 годов развеяла миф о несокрушимости Британской империи. Наступил окончательный распад «викторианства» — этого более чем полувекового английского буржуазного уклада, — наметившийся еще в последние десятилетия XIX века. Неудовлетворенность традиционными формами всей английской жизни, прозвучавшая в произведениях крупнейших писателей конца века — Джорджа Мередита, Томаса Гарди, Сэмюэла Батлера, — теперь особенно обострилась. Литература начала

ХХ столетия, в которой ведущую роль играли Бернард Шоу, Г. Д. Уэллс, Джон Голсуорси и Арнолд Беннетт, резко и настойчиво обвиняла английское общество в фарисействе, снобизме, стяжательстве, разоблачая традиционный образ респектабельного, преуспевающего джентльмена. Английские реалисты были едины в стремлении пробудить сознание своих современников, изменить их морально-этические принципы, но каждый решал эту задачу своими средствами и на своем материале. Голсуорси и Беннетт подошли к ней с позиций социальных. Они разоблачали психологию и поведение англичанина-собственника, мнящего себя хозяином жизни.

Форстер подошел к той же проблеме с другой стороны. Он прежде всего пытался понять национальный характер типичного англичанина — англичанина, каким его создала буржуазная среда, — и в первую очередь всю неправомерность присущего ему сознания превосходства над другими народами. В статье тридцатых годов «Заметки об английском характере» Форстер определяет англичанина как человека «с прекрасно развитым телом, достаточно развитым умом и совершенно неразвитым сердцем». Английский характер, по его мнению, отличается здравым смыслом, практицизмом, деятельной энергией, лицемерием и отсутствием воображения. Все это Форстер сформулировал и развил уже в зрелые годы, а ранние его творческие опыты — это попытка осмыслить английский характер в действии, показать его во взаимоотношениях и столкновениях с представителями других народов.

Уже в первом своем романе, «Куда боятся ступить ангелы», Форстер сопоставляет и противопоставляет англичан итальянцам. Для состоятельного англичанина «среднего класса», из которого Форстер в основном выбирает своих героев, Италия, с одной стороны, источник эстетического воспитания, с другой — страна, населенная людьми, стоящими как в классовом, так и в экономическом отношении на низшей ступени общественной лестницы. Англичане в Италии — богатые туристы, развращающие итальянцев своими подачками. Это очень важная для Форстера тема, к которой он неоднократно возвращается и в ряде других своих произведений. В романе «Куда боятся ступить ангелы» эта тема находит свое разрешение в трагическом ключе.

Действие этого романа развивается на семейно-бытовом фоне. Для респектабельной английской семьи, строго следующей всем предписаниям благовоспитанности, брак молодой вдовы, жены покойного сына, с простым итальянцем — скандальный мезальянс. И хотя им нет никакого дела ни до дальнейшей судьбы бывшей родственницы, ни до ее ребенка, оставшегося сиротой (она умерла сразу же после рождения сына), они не могут допустить родства с людьми из «неподходящей» среды. Поэтому они решают на-

всегда забрать ребенка у отца-итальянца. Им и в голову не приходит, что тот может не согласиться отдать сына даже за большую мзду. И действительно, движимый искренним чувством к своему первенцу, итальянец наотрез отказывается расстаться с ним. При всей своей непосредственности, наивности и беспечности молодой итальянец вовсе не невинное «дитя природы», которое Форстер противопоставляет испорченным цивилизацией англичанам. Он так же испорчен условиями своей жизни, как они — своей. Он ленив, эгоистичен, безрассуден и женился на героине отнюдь не из пылкой, романтической любви. Но в столкновении с англичанами он защищает свои жизненные права. В этой коллизии Форстеру важно показать, что каждый народ имеет право на свой образ жизни, а всякое насильственное вмешательство приводит к трагедии.

Проблему «английского характера» Форстер решает также и на материале взаимоотношений в среде самих англичан. Типично английскому складу ума противостоят герои более сложные и эмоционально одаренные. Они и у себя дома — не дома. Они тревожно и трудно ищут полноценную истину бытия.

Героиня романа «Комната с видом» — молодая женщина, связанная обручением с английским джентльменом, не выдерживает его пресной рассудительности и добропорядочности, отказывает ему и соединяет свою жизнь с другим, более свободным и открытым людям и миру, человеком.

Мотив этот не нов для английского семейного романа. Мы встречаем его и в романах Джейн Остин (1775—1817) и в «Эгоисте» (1879) Джорджа Мередита (1828—1909). Однако если у этих авторов разрыв невесты с женихом был вызван тем или иным нравственным его изъяном, то у Форстера речь идет только о «неразвитом сердце», о косности сознания. В любом викторианском романе комплекс добродетелей такого джентльмена был бы скорее всего оценен положительно.

Англичанин с «неразвитым сердцем» вызывает пристальное внимание Форстера. Знаменательно, что писатель неоднократно вводит такой поворот в свои сюжеты — и в рассказ «Иное царство», и в роман «Поездка в Индию».

В «Хауардз-Энд», последнем романе предвоенной поры, Форстер дает обобщающий символ Англии — образ английского загородного дома, в котором должна продолжаться жизнь будущих поколений. Душой этого дома становится умная, терпимая, всепонимающая Маргарет. Ей, как всегда у Форстера, противопоставлен типичный «английский характер» — ее муж, человек добропорядочный, деловой и приземленный.

В своей ранней прозе Форстер продолжает линию английского семейного романа с богато разработанной фабулой, который ведет

свое начало от Ричардсона и Филдинга. Всюду у Форстера мы сталкиваемся с чрезвычайными происшествиями, порою даже мелодраматическими, всюду напряженность действия, бурно развивающегося к концу повествования. Это нагнетание тайн и катастроф не сочетается у Форстера с психологическим раскрытием характеров. И в этом уязвимость его ранних романов. Подлинная сила Форстера-художника — в тонкой наблюдательности, снисходительном юморе и в лирических обобщениях.

Только в последнем, самом зрелом своем романе — «Поездка в Индию» — Форстер выходит за рамки семейно-бытового материала и дает широкую социально-политическую картину жизни английских колонизаторов в Индии и их взаимоотношений с индийцами. Книга Форстера направлена против вмешательства англичан в национальный уклад чуждой им страны. В современной английской литературе это один из первых антиколониальных романов, воплощающий эту тему с большой психологической глубиной. В свое время он противостоял мощному потоку литературы, особенно усилившемуся на рубеже XIX—XX веков, воспевающей «просветительскую миссию» англичан в странах Азии и Африки. Художественно этот роман также наиболее совершенный, с точно и глубоко разработанными характерами и сочувственным проникновением в духовную жизнь Индии. В «Поездке в Индию» пристрастие Форстера к напряженному, насыщенному событиями сюжету вполне оправдано. Драматический сюжет органично вытекает из самой природы материала.

Тему национального характера Форстер разрабатывал не только в романах, но и в ряде рассказов. Наиболее исчерпывающе она раскрыта в его поздней новелле «Вечное мгновенье» (1928). Все тревожащие Форстера проблемы — взаимоотношения англичан с другими нациями, губительные последствия мнимого духовного и реально существующего экономического превосходства англичан — сюжетно завязаны в «Вечном мгновенье» в тугой узел. Главная проблема творчества Форстера дана здесь в острых и разнообразных ракурсах.

Форстер умеет в самом развитии сюжета показать разоблачаемый им характер, проанализировать его одновременно и сочувственно, и иронически. Именно так рисует он в «Вечном мгновенье» пожилого джентльмена, полковника в отставке, сопровождающего в путешествии по Италии немолодую известную писательницу, пожелавшую посетить места, где она бывала в юности. Полковник Лейленд привязан к мисс Рэби, хотя его шокирует ее чрезмерная откровенность и пренебрежение к условностям. Он сгорает от стыда, когда его спутница, узнав в обрюзгшем консьерже отеля юношу проводника, который в пору ее молодости безрассудно объяснялся

ей в любви, публично начинает выяснять с ним отношения. Полковник Лейленд оскорблен этим уничтожением социальных и национальных перегородок — оскорблен как джентльмен и как англичанин.

А мисс Рэби — натура творческая, эмоциональная. Она тоскует по непосредственности и безоглядности чувства. Порыв молодого итальянца стал самым ярким и сильным впечатлением ее жизни. Роман, который она написала, прославил скромную деревушку (Форстер изображает здесь Кортина-д'Ампеццо), превратив ее в модный курорт с фешенебельными отелями для богатых туристов. Местное население развращено туристскими щедротами. И герой ее молодости давно потерял душу живую: неспособен ни на какое чувство. Возможность бескорыстного человеческого общения необратимо разрушена. Крушение иллюзий у мисс Рэби, вынужденное одиночество английского джентльмена и утрата человеческого достоинства итальянским слугой — таков горький итог этих несостоявшихся жизней.

Способы показа английского характера у Форстера чрезвычайно разнообразны. Так, в сатирической очерке «Элиза в Египте» он передает события через восприятие персонажа, явно отрицательного, который мнит себя образцовым и к тому же наделен чувством собственного превосходства. С легкой насмешкой рассказывает Форстер о множестве злоключений четы английских туристов, путешествующих по Египту. Авторская ирония подкреплена и проиллюстрирована письмами героини. Эти письма полны самовосхваления, сознания своей избранности и пренебрежения к «туземцам». Интонация писем Элизы — неподражаемое сочетание жеманства с дамской язвительностью, близкой к сплетне. И такая интонация разоблачает героиню сильнее любой авторской открытой оценки. Перед нами безупречная в собственных глазах англичанка, ничего не понимающая в характере и обычаях страны, о которой она берет на себя смелость судить.

В другом очерке — «Проситель» — Форстер с мягким юмором повествует о герое, павшем жертвою восточного гостеприимства и безнаказанно эксплуатируемом старым плутом. Но даже в этом забавном эпизоде Форстер подчеркивает право каждого народа на свою жизнь, на собственные обычаи и осуждает англичан, пытающихся вмешаться в чуждый им жизненный уклад.

Тема трагического взаимного непонимания народов для Форстера неистощима, и каждый раз он поворачивает ее все новыми и новыми гранями.

Но этой темой столкновения национальных характеров и настойчивого осуждения позиции англичан не исчерпывается творчество Форстера, особенно в его новеллах.

В отличие от романов, последовательно реалистических, новеллы Форстера нередко написаны на фантастические сюжеты, а многие из них не что иное, как аллегорические философские притчи («По ту сторону изгороди», «В чем смысл»). Обращение к фантастике не является у Форстера самоцелью. Фантастика — лишь наиболее выразительный прием разрешения поставленных в каждом рассказе нравственных и идейных задач.

Так, борьбе с «неразвитым сердцем», наглухо закрытым для поэзии мира, посвящена философская новелла Форстера «Сирена». В символическом образе Сирены, проклятой священниками и внушающей ужас обывателям, как бы заключены высшая красота и мудрость. Недаром ее дано увидеть только «хорошим людям», и только одному на целое поколение. Но обыватели гонят от себя того, перед кем она предстала, объявляя его безумцем. И тем не менее победа останется за Сиреной, как утверждает один из героев новеллы, простой итальянский лодочник, — «она выйдет из моря и запоет».

В новелле «Небесный омнибус» Форстер прославляет воображение, поэтически претворяющее повседневную действительность. Этот культ воображения связан у него все с той же основной задачей полемического раскрытия английского характера. Недаром в упомянутой уже статье «Заметки об английском характере» Форстер в числе отрицательных черт англичанина отмечает «отсутствие воображения». Воображение дает человеку возможность выйти за пределы привычного ему быта и раз и навсегда установленных представлений о мире. Воображение делает внутреннюю жизнь людей богаче, свободнее, разностороннее.

В новелле «Небесный омнибус» проблема «отсутствия воображения» полемически заострена. Частое у Форстера противопоставление делового, плоского, ограниченного сознания эмоциональному и поэтическому в этом рассказе достигает своего апогея. Поэтичность свойственна полному таинственной фантазии детскому восприятию. В «Небесном омнибусе» именно мальчик постигает чудо преобразования жизни. И неслучайно в роли возниц небесных омнибусов оказываются поэты — Шелли, Данте, Томас Браун. Именно они открывают мальчику высшую реальность поэтического воображения. Он совершает волшебное путешествие по лунной дороге, въезжает в радугу, слышит пение русалок. А духовно плоские взрослые не верят в этот чудесно открывшийся ему мир. Ученый педант мистер Бонз силится доказать мальчику абсурдность его мечты. Бонз — воплощение тупого, косного самодовольства. И Форстер казнит ненавистного ему отсутствием фантазии героя: во время волшебного путешествия, самую возможность которого он безапелляционно отрицал, мистер Бонз от страха на всем ходу падает на землю и разбивается.

Так, уже в десятиные годы в творчестве Форстера намечается та линия западной литературы, которая утвердилась только во второй половине XX века. Проблема трезвой ограниченности взрослых, враждебной поэтическому воображению, черпающему силу из трепетного источника детского восприятия, стала определяющей для творчества Экзюпери, Сэлинджера, Капоте, Маккалерс, Брэдбери. Целый ряд новелл Брэдбери даже сюжетно близок ранним рассказам Форстера.

Другое направление художественных исканий Форстера сближает его с С. Батлером, утопический роман которого «Едгин» (1872) оказал на Форстера большое влияние, и с Г. Д. Уэллсом. Как и они, Форстер видит в современном устройстве мира симптомы, угрожающие человечеству, и раскрывает их в рассказах фантастического жанра. Рассказ Форстера «Машина останавливается» по образной системе и зловещим прогнозам предвещает такие антиутопии нашего времени, как «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Знаменательно, что рассказ «Машина останавливается», в котором автор предостерегает против засилия технической цивилизации и обезличенности духовной культуры буржуазного общества, написан в 1911 году, когда прямая опасность бездуховности и вытеснения человека «роботом» еще не была явной. А Форстер уже в начале века сумел разглядеть и с поразительной точностью изобразить механизированный, лишенный индивидуальности мир.

III

В конце двадцатых годов Форстер подвел итоги своей беллетристической практике и осмыслил свой литературный путь теоретически. Он последователен в своих эстетических склонностях. Во всей мировой литературе он избирает несколько дорогих и значительных для себя имен, к которым беспрестанно возвращается. Это Джейн Остин, Лев Толстой, Марсель Пруст и Вирджиния Вулф. При всем несходстве характера и масштаба этих писателей принцип отбора Форстера знаменателен для него и многое проясняет в собственных его исканиях.

Джейн Остин близка ему как представительница старинного, классического семейного романа, которому и сам он отдал немалую дань. Джейн Остин он в разные годы посвятил ряд статей.

Пристальное внимание уделяет Форстер творчеству Л. Н. Толстого. Он пишет о нем и в книге «Аспекты романа» (1927), и в отдельной статье «Три повести Толстого» (1942), и в статье под вопросительным названием «Наш второй великий роман?», которую посвящает Прусту.

«Война и мир» Толстого для Форстера — самый великий роман XIX века. В Толстом он больше всего ценит способность включать читателя в свой до чуда живой и дышащий мир. На большом историческом полотне Толстой создает иллюзию жизни, происходящей как бы на наших глазах. Форстер противопоставляет Толстого Прусту, признавая абсолютное первенство Толстого-художника.

Пруст для Форстера — выразитель новых детализированных форм воплощения чувства и мысли в искусстве XX века. Пруст изображает события и характеры как бы отраженными в воспоминаниях. Вязью ассоциаций он сцепляет ощущения уже давно пережитого. Впечатления прошлого, дремлющего в глубинах сознания, воскрешены памятью, а не существуют в настоящем. Отраженная связь пережитого — открытие Пруста. Здесь Форстер подходит к тем новым методам в литературе, которые он теоретически понимает и отчасти принимает, но которым сам не следует.

В плане этого противоречия любопытно отношение Форстера к Вирджинии Вулф, которой он посвящает одну из самых тонких и пронизательных своих статей.

Вирджиния Вулф связана для Форстера с его участием в группе Блумсбери, к которой он примыкал в годы, предшествовавшие первой мировой войне. Эта группа объединяла молодых литераторов и искусствоведов. В нее, кроме Вирджинии Вулф, входили ее муж Леонард Вулф — издатель и критик, историк литературы Литтон Стрэчи, художник и искусствовед Роджер Фрай и другие. Блумсберийцы видели в искусстве высшую форму общения между людьми, которые, раскрывая друг другу красоту мира, очищают душу бескорыстным созерцанием и объяснением прекрасного. Путь к познанию мира лежал для них через искусство. В своих программных статьях они неоднократно утверждали автономность искусства, живущего по своим законам. Они теоретически и практически применяли законы музыки и живописи к литературе. Так, например, Вирджиния Вулф строила свои романы как сонатные композиции, как импрессионистические картины, пытаясь зафиксировать «моменты бытия» — быстро сменяющиеся, преходящие, колеблющиеся ощущения. Стремясь открыть новые пути в искусстве и неумолимо экспериментируя, Вулф и другие блумсберийцы отказывались от создания объективной, социально конкретной картины мира, присущей реалистической манере письма.

Форстер разделял взгляды этой группы на природу искусства, что отразилось в его статьях о музыке и живописи. Однако он не принимал их теории автономности искусства, которое отнюдь не было для него отрешенным наслаждением прекрасным, а средством изменить мир, сделать человека лучше, гуманнее, мудрее. Именно

это различие в отношении к целям и задачам искусства привело к отходу Форстера от блумсберийцев.

Отсюда сложность отношения Форстера к Вирджинии Вулф. Он любит и восхищается артистичностью ее мировосприятия, ее умением наглядно передавать оттенки ощущений, вкуса, цвета, запахов, поэтичностью и музыкальностью ее прозы. И вместе с тем Форстер высказывает некоторые сомнения: а может ли эта размельченность чувств и мыслей, этот намеренный отказ от связного сюжета выразить многосторонний человеческий характер и многомерность человеческих отношений? Можно ли столь субъективным раскрытием жизни сделать ее картину объективно достоверной?

Признавая, что Вулф обогащает наше восприятие мира новыми формами психологического анализа, он в то же время говорит об опасности ее пути, уводящего литературу от полноценного и многостороннего изображения жизни. Высоко оценивая художественное мастерство Вирджинии Вулф и новизну ее исканий, сам он не идет в намеченном ею направлении.

Наиболее полно свои взгляды на задачи реалистической прозы Форстер высказал в своем капитальном труде «Аспекты романа» (1927), в основу которого лег цикл лекций, прочитанных им в Кембридже. Оспаривая модную в двадцатые годы и не изжитую и ныне теорию исчерпанности реалистического романа с его последовательным развитием сюжета и многосторонним раскрытием характеров, Форстер отстаивает жизнеспособность этой многовековой эпической формы литературы и в наши дни. Без четко проявленного сюжета, без углубленного и мотивированного показа людей, их характеров и взаимоотношений он не мыслит себе настоящего романа. Неслучайно, говоря о значении сюжета для воссоздания подлинной картины жизни, Форстер и здесь называет «Войну и мир» Толстого самым великим из всех романов XIX века.

Помимо этих центральных, стержневых аспектов, Форстер исследует и другие, связанные со структурой романа. Он говорит об организующей роли ритма, об интонации, о значении фантазии, своим светом преобразующей факты жизни.

IV

Форстер вошел в историю английской литературы XX века не только как художник и критик, но и как страстный публицист, откликнувшийся на все животрепещущие проблемы современного ему мира.

Перед Форстером-публицистом стоят все те же вопросы — как освободить общечеловеческую культуру от расовых и классовых

предрассудков, от ограниченности, от чувства мнимого превосходства одного народа над другим. Неудивительно, что в годы второй мировой войны Форстер выступил как один из крупнейших и последовательнейших антифашистских деятелей. Его речи на всемирных литературных конгрессах, его статьи об искусстве, его радиовыступления, предостерегающие мир от опасности гитлеризма, исполнены гуманистической убедительности. Особенность его публицистики в том, что он выступает прежде всего как защитник культуры. Германия для него не враждебная страна, — враждебен гитлеризм, враждебен как жизненный принцип, несовместимый с представлением писателя о духовных и человеческих основах жизни.

Только всестороннее развитие национальных культур — неперенное условие развития общечеловеческой культуры. Взаимное уважение и обмен духовными ценностями — единственно плодотворный путь международного прогресса. Гитлеризм, в понимании Форстера, в первую очередь разрушает и умерщвляет культуру самой Германии, а угроза его победы — угроза культуре мировой.

Форстер очень хорошо понимает, что воинствующий национализм начинается с чувства безоговорочного собственного превосходства, что фашизм как мировоззрение, как жизненный принцип мог бы восторжествовать не только на немецкой почве, но и в Великобритании. Особенно в период колониальной экспансии эта опасность была вполне реальной. Она не исчезла и позднее.

В статье «Терпимость» (1941) он пишет: «Очень легко увидеть фашизм в другом народе, но трудно признать его в своем. Зло расовых предрассудков, например, мы легко замечаем у нацистов. Их действия омерзительны с тех пор, как они захватили власть. Ну, а сами мы разве ни в чем не повинны? Мы куда менее виноваты, чем они. И все же — разве нет расовых предрассудков в Британской империи? Разве не вставал и здесь вопрос о цвете кожи?»

Форстер — борец за гуманизм. Его оружие — широта культурных интересов и призыв к взаимопониманию как особой форме самозащиты и защиты всех духовных завоеваний истории. В многочисленных своих статьях, речах, лекциях он стремится понять мировосприятие не только близких, но и далеких ему народов, обогащая свою культуру постижением других национальных культур. Отсюда его обостренный интерес к другим странам, его многочисленные и очень содержательные путевые очерки о Египте и Индии.

Его углубленное внимание к проблемам искусства тоже неразрывно связано с этим стремлением возвысить и облагородить жизнь человека. В трагическую пору нависшей над миром угрозы фашизма и разрушительной войны его теоретические статьи о музыке и

живописи — не бегство, не уход от действительности. Они знаменательны стремлением сохранить и развить культурные ценности человечества, не дать людям замкнуться в ненависти и отчаянии. Именно в эти трагические дни ему важно было показать все огромное богатство мира прекрасного, доступное человеку. Мало слушать музыку пассивно. Ее надо понимать во всей специфике ее законов. Форстер в своих статьях «Слушать ли музыку?» (1939) и «„С“ минор нашей жизни» (1941) как бы приобщает людей к искусству восприятия звуковой ткани. Он пишет статьи о музыкальных ключах и их своеобразии, о музыке программной, ограниченной пределами образа, темы и сюжета, и о музыке самой по себе, дающей безграничные возможности толкования.

Форстер пишет не для знатоков. Его цель — приобщить к наслаждению музыкой и живописью людей, далеких от искусства (статья «Смотреть ли картины?»). В своих эссе он говорит не столько об образах, сюжетах, интерьерах, пейзажах, сколько об эстетических принципах композиции, о линии, цвете, соотношениях фона и предмета. Он учит зрителя радости понимания и профессионального контакта с художником. Он охотно прибегает к историческим параллелям и противопоставлениям. Возьмем такой его блестящий иронический очерк, как «Вольтер и Фридрих Великий», в котором остроумно преподнесен эпизод сначала взаимного тяготения, а потом глубочайшего разочарования и разрыва между Вольтером и прусским королем. Материал сам по себе увлекательный и к тому же переданный с неподражаемым ироническим подтекстом. Но Форстер и не скрывает, что умысел иной тут был, что Вольтер для него — символ свободы ума, терпимости, человеческого достоинства, а Фридрих Великий — символ подавления независимости и вольной мысли. Исторический эпизод в его эссе — своеобразный способ говорить о современности. И будь то знаменитая работа английского историка Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788) или трагедия Шекспира «Юлий Цезарь» — из всего Форстер извлекает знаменательные уроки. Глубокое обобщение и сопоставление фактов, широта исторических и философских ассоциаций свойственны всем критическим и публицистическим работам Форстера.

Свои многочисленные и разнообразные статьи, портреты, выступления Форстер объединил в двух сборниках — «Эбингерская жатва» (1936) и «Да здравствует демократия!» (1951). И, может быть, именно в этих сборниках Форстер при всей своей универсальности наиболее «англичанин». Сборники — не механическое объединение ранее напечатанных статей. Это как бы творческий особняк, в котором комфортабельно расположены его воспоминания, отклики на общественные и мировые события, исследования и памфлеты,

семейная хроника и любовное описание своей библиотеки и сада перед домом. В этих книгах он действительно дома, у себя,— радужный хозяин и увлекательный собеседник, который щедро угощает читателей всем богатством своих знаний и жизненных наблюдений. Свободная неторопливость размышлений, естественная разговорность интонации, органически рассчитанной на человеческий контакт и располагающей к общению; свойственны этим сборникам. Именно эта непринужденность общения с читателем — одна из самых драгоценных черт Форстера критика и публициста. Культура для него — свет и тепло жизни, так же как «слова — вино жизни», — как пишет он в очень лично окрашенной заметке «Моя библиотека». «Глубочайшее желание в нас — желание понять», — говорит он там же.

Он — одухотворенный хранитель культуры, просветитель по призванию.

Знакомство с Форстером — это радость многообразного познания мира.

Т. Хмельницкая

КУДА
БОЯТСЯ
СТУПИТЬ
АНГЕЛЫ

РОМАН

ВЧеринг-кросс провожать Лилию съехались все — Филипп, Генриетта, Ирма, сама миссис Герритон. Даже миссис Теобалд и та отважилась проделать путешествие из Йоркшира в сопровождении мистера Кингкрофта, чтобы проститься со своей единственной дочерью. Мисс Эббот тоже провожали многочисленные родственники. При виде такого скопища людей, говоривших одновременно и каждый свое, Лилия неудержимо расхохоталась.

— Ну и столпотворение! — воскликнула она, выпорхнув из вагона первого класса. — Нас примут за коронованных особ! Пожалуйста, мистер Кингкрофт, добудьте нам грелки для ног.

Услужливый молодой человек послушно исчез, а его место занял Филип, который обрушил на Лилию поток прощальных советов и предписаний, — где остановиться, как выучить итальянский язык, в каких случаях пользоваться москитными сетками, какие картины смотреть.

— Помните, — заключил он, — только сворачивая с проторенного пути, познаешь страну. Побывайте в маленьких городках — Губбио, Пьенца, Кортонна, Сан-Джаминьяно, Монтериано. И, умоляю вас, не носитесь вы с этой идиотской идеей туристов — будто бы Италия — музей древностей и искусства. Полюбите и постарайтесь понять итальянцев, ибо люди еще непостижимее, чем страна.

— Как бы мне хотелось, чтобы вы ехали с нами, — сказала Лилия, польщенная непривычным вниманием деверя.

— Мне тоже.

Желание вполне осуществимое, так как адвокатская практика его была не столь уж напряженной и Филип вполне мог позволить себе время от времени отдохнуть. Но семья не одобряла его частых поездок на

континент, и ему приходилось тешить себя мыслью, будто он по горло завален работой и никоим образом не может отлучиться.

— До свидания, дорогуши мои! Ох и кутерьма же!

Ей попалась на глаза маленькая Ирма, и Лилия почувствовала, что от нее требуется чуточку подобающей случаю материнской заботливости.

— До свиданья, голубка, будь умницей, делай все, как скажет бабуля.

Она имела в виду не свою мать, а свекровь, миссис Герритон, которая ненавидела, когда ее называли бабулей.

Ирма подставила под поцелуй серьезное личико и дипломатично ответила:

— Постараюсь.

— Ну, разумеется, она будет умницей, — отозвалась миссис Герритон, державшаяся несколько поодаль от всеобщей суматохи.

Но Лилия уже не слышала ее, она окликала мисс Эббот, высокую, серьезную, привлекательного вида молодую женщину, которая свою церемонию прощания проводила, стоя на платформе и с соблюдением всех приличий.

— Каролина, милая Каролина! Прыгайте в вагон, а то ваша подружка укатит без вас.

Филип, чье воображение при воспоминании об Италии, как всегда, разыгралось, опять начал перечислять важнейшие моменты предстоящего путешествия: колокольня Айроло, которая откроется взору, когда поезд вылетит из Сен-Готардского туннеля, знаменуя собой начало путешествия по Италии; вид на Тичино и Лаго Маджоре, когда поезд начнет взбираться по склонам Монте Ченере; вид на озера Лугано и Комо — Италия постепенно будет обступать ее со всех сторон; остановка в Милане, где после долгой езды по темным грязным улицам она узрит в грохоте трамваев и ярком блеске электрических фонарей контрфорсы кафедрального собора.

— Носовые платки и воротнички! — пронзительно крикнула Генриетта. — В моей шкатулке с инкрустацией! Я даю тебе с собой мою шкатулку!

— Генриетта, ты душка! — Лилия еще раз перецеловала всех, не сходя со ступеньки вагона, и внезапно наступило молчание. Все стойко улыбались, за исключени-

ем Филипа, задыхавшегося от тумана, и престарелой миссис Теобалд, которая принялась всхлипывать. Мисс Эббот вошла в вагон. Проводник запер дверь и уверил Лилию, что все будет в порядке. Затем поезд тронулся, провожатые тоже двинулись по перрону вместе с вагоном и замахали платками, издавая ободряющие возгласы. В эту минуту показался мистер Кингкрофт, неся грелку за концы, словно чайный поднос. Он очень огорчился, что опоздал, и прокричал дрожащим от наплыва чувств голосом:

— До свидания, миссис Чарлз! Развлекайтесь там, благослови вас господь!

Лилия улыбнулась, кивнула, потом вдруг нелепый способ держать грелку показался ей невыносимо комичным, и Лилия начала хохотать.

— Простите, ох, простите! — закричала она в окно. — Вы такой смешной. Все вы так смешно машете! Ой, не могу!

И так, изнемогающую от смеха, поезд умчал ее в туман.

— Как прекрасно начинать длинное путешествие в таком веселом настроении, — проговорила миссис Теобалд, отирая слезы.

Мистер Кингкрофт торжественно качнул головой в знак согласия.

— Жаль, что миссис Чарлз не получила грелку. Но эти лондонские носильщики ни во что не ставят нашего брата провинциала.

— Во всяком случае, вы сделали все, что могли, — заметила миссис Герритон. — На мой взгляд, вы проявили истинное благородство, доставив миссис Теобалд в такую даль, да еще в такой день.

После чего она поспешила проститься, разрешив мистеру Кингкрофту доставить миссис Теобалд в такую же даль обратно.

Состон, где жили Герритоны, находился недалеко от Лондона, так что они успели как раз к чаю. Чай подали в столовой, Ирму заставили съесть яичко — для поднятия духа. После двухнедельной суеты в доме казалось непривычно тихо, разговор перемежался долгими паузами, велся приглушенными голосами. Они прикидывали — достигли ли путешественницы Фолкстона, не будет ли на море шторма и каково тогда придется бедной мисс Эббот.

— Бабуля, а когда кораблик приплывет в Италию?— поинтересовалась Ирма.

— Не «бабуля», милочка, а «бабушка»,— поправила ее, целуя, миссис Герритон. — И потом, мы говорим «судно» или «пароход», а не «корабль». Корабли с парусами. Твоя мама не до самой Италии поплывет по морю. Посмотри на карту Европы и увидишь — почему. Генриетта, забери девочку. Пойди с тетушкой Генриеттой, она тебе покажет карту.

— Ага! — ответила девочка и потащила Генриетту в библиотеку. Та, надувшись, последовала за ней. Миссис Герритон с сыном остались одни. Между ними сразу возникло полное понимание.

— Отныне грядет Новая Жизнь, — проговорил Филип.

— Бедное дитя, как она вульгарна! — пробормотала миссис Герритон. — Хотя, конечно, могла быть еще хуже. Но все-таки чем-то она напоминает бедного Чарлза.

— А также — увы и ах! — старую миссис Теобалд. Что сей сон значит? Я полагал, что почтенная старушка не только выжила из ума, но и прикована к постели. Чего ради она притащилась на вокзал?

— Уверена, что ее уговорил мистер Кингкрофт. Ему хотелось повидать Лилию, а это был единственный способ.

— Надеюсь, он был удовлетворен. Ну и отличилась моя невестка при прощании!

Миссис Герритон передернуло.

— Пусть ее, главное — она уехала, и уехала с мисс Эббот. Ну разве не унижительно, что к тридцатитрехлетней вдове приходится приставлять в качестве дуэньи девушку на десять лет моложе?

— Сочувствую мисс Эббот. К счастью, один из поклонников прикован к Англии. Мистер Кингкрофт не может покинуть то ли жатву, то ли сезон, то ли еще что-то. По-моему, сегодня он свои шансы не поправил. Он, как и Лилия, умеет сделать из себя посмешище.

— Если мужчина невоспитан, не имеет связей, некрасив, неумен и небогат, то даже Лилия способна в конце концов его отвергнуть.

— Ничуть не бывало. Уверяю тебя, она согласится на любого. До самой последней минуты, когда вещи уже были уложены, она кокетничала с приходским священником, с тем, который без подбородка. То есть оба

наши священника без подбородка, но у ее избранника руки более влажные. Я их застал в парке. Они рассуждали о Пятикнижии.

— Мой мальчик! Она с каждым днем становится невыносимее, если это еще возможно. Твоя идея послать ее в Италию просто спасла нас.

Филип просиял от этой немудреной похвалы.

— Самое странное, что она ухватилась за нее, без конца задавала вопросы, и я, надо сказать, охотно с ней поделился своими познаниями. Признаю, что она просто обывательница, до ужаса невежественна, не разбирается в искусстве, но у нее есть желание чему-то научиться, а это обнадеживает. Кроме того, Италия, я убежден, очищает и облагораживает всякого, кто там побывает. Италия для всего мира и школа, и одновременно площадка для игр. То, что Лилия захотела туда поехать, говорит в ее пользу.

— Она куда угодно поехала бы, — возразила мать, которой надоело восхваление Италии. — Нам с Каролиной Эббот с огромным трудом удалось отговорить ее от Ривьеры.

— Нет, мама, нет, ее действительно интересует Италия. Для нее это путешествие послужит переломным моментом в жизни.

Ситуация представлялась ему прихотливо романтической: было что-то и привлекательное, и отталкивающее в том, что эта вульгарная женщина будет путешествовать по местам, которые он любил и боготворил. А вдруг она переродится? Ведь случилось же такое с вандалами?

Миссис Герритон не верила ни в романтику, ни в духовное перерождение, ни в исторические аналогии, ни вообще во все то, что может нарушить жизнь семьи. Она искусно переменяла тему, пока Филип не успел сесть на своего конька. Вскоре вернулась Генриетта, преподав Ирме урок географии. Девочку рано отослали спать, и бабушка зашла пожелать ей спокойной ночи. Потом дамы занимались рукоделием и играли в карты. Филип читал. И так каждый мирно занимался своей полезной деятельностью в продолжение всей зимы.

Почти десять лет протекло с тех пор, как Чарлз влюбился в Лилию Теобалд за то, что она была хорошенькая, и все это время миссис Герритон не знала ни минуты покоя. Шесть месяцев она интриговала для того,

чтобы воспрепятствовать браку; когда же брак все-таки состоялся, то поставила себе другую задачу — надзирать за невесткой. Лилию следовало провести через жизнь так, чтобы она не уронила чести семьи, в которую вошла, став женой Чарлза. Миссис Герритон помогали Чарлз, ее дочь Генриетта и, как только он достаточно вырос, главный умник в семье — Филип. Появление на свет Ирмы еще больше усложнило положение. Но, к счастью, престарелая миссис Теобалд, делавшая сперва попытки вмешаться в воспитание, начала дряхлеть. Для того, чтобы выезжать из Уитби, ей требовались непомерные усилия, и миссис Герритон отговаривала ее от этих усилий как могла. Своеобразная война, которая ведется из-за каждого ребенка, завязалась рано, и рано определился ее исход: Ирма принадлежала семье своего отца, а не семье матери.

Чарлз умер, и борьба возобновилась. Лилия попыталась самоутвердиться и объявила, что поедет ухаживать за миссис Теобалд. Понадобилась вся доброжелательная настойчивость миссис Герритон, чтобы не дать ей уехать. В Состоне ей сняли дом, где она и прожила с Ирмой три года, непрерывно находясь под облагораживающим влиянием семьи покойного мужа.

Неприятности начались снова во время одного из ее редких визитов в Йоркшир. В письме к состонской приятельнице Лилия призналась, что ей ужасно нравится некий мистер Кингкрофт, но она еще не совсем помолвлена с ним. Новость достигла ушей миссис Герритон, и та немедленно написала Лилии, требуя поставить ее в известность о происходящем и указывая на то, что Лилия должна быть или помолвлена, или нет — промежуточного состояния не существует. Письмо было написано умело и произвело на Лилию сильное впечатление. Она покинула мистера Кингкрофта совершенно добровольно, не пришлось даже снаряжать спасательную экспедицию. По возвращении в Состон она поплакала и раскаялась в своем поведении. Миссис Герритон воспользовалась случаем, чтобы серьезнее, чем когда-либо, поговорить о долге и обязанностях, налагаемых на женщину вдовством и материнством. И, однако, дела после этого так и не наладились. Лилия не желала оступиться и занять свое место в ряду состонских матрон. Хозяйкой она оказалась никудышной, с прислугой вечно происходили неурядицы, и каждый раз требовалось

вмешательство миссис Герритон, которая у себя в доме годами держала одну и ту же прислугу. Лилия позволяла Ирме пропускать по неуважительным причинам школу, разрешала носить кольца. Лилия научилась ездить на велосипеде с целью «встряхнуть» городок, и однажды, в воскресный вечер, проехавшись по главной улице, свалилась на повороте у самой церкви. Не будь она членом их семьи, это было бы забавно, но тут даже Филип, в теории одобрявший нарушение английских условностей, оказался на высоте и сделал Лилии такой выговор, что она не забыла его до самой своей смерти. Вдобавок выяснилось, что она разрешает мистеру Кингкрофту «как другу» писать к ней письма и посылать подарки Ирме.

Вот тут-то Филип и придумал поездку в Италию и тем спас положение. Каролина, очаровательная, уравновешенная Каролина Эббот, жившая в двух кварталах от них, искала компаньонку для заграничного путешествия на год. Лилия отказалась от арендуемого дома, распродавала половину мебели, оставила вторую половину и Ирму на миссис Герритон и теперь, со всеобщего одобрения, отбыла, чтобы переменить обстановку.

В течение зимы она писала Герритонам часто — чаще, чем родной матери. Письма ее были неизменно восторженны. Флоренция — просто прелесть. Неаполь — мечта, но очень дымно. В Риме надо просто смотреть и впитывать. Филип заявил, что она исправляется. Особенно его порадовало, когда ранней весной она начала по его совету объезжать маленькие провинциальные города. «В таком месте, — писала она, — действительно приобщаешься к подлинной жизни и сворачиваешь с избитой дороги. Гляжу по утрам в готическое окно и с трудом верю, что средние века давно прошли». Письмо было прислано из Монтериано и заканчивалось довольно удачным описанием чудесного городка.

— Наконец-то ей хоть что-то нравится, — заметила миссис Герритон. — Да и то сказать, проживя три месяца с Каролиной Эббот, любой станет лучше.

Тут как раз вернулась из школы Ирма, и миссис Герритон прочла ей письмо матери, тщательно выправляя грамматические погрешности, так как была горячей сторонницей поддержания родительского авторитета. Ирма слушала вежливо, но сразу же заговорила о хоккее,

которым была всецело поглощена. Днем им предстояло голосовать за цвета — желтое с белым или желтое с зеленым. Что по этому поводу думает бабушка?

У миссис Герритон, естественно, было на этот счет свое определенное мнение, и она невозмутимым тоном изложила его, невзирая на протесты Генриетты, которая считала, что цвета для детей необязательны, и Филипа, который считал, что такое сочетание красок чудовищно. Миссис Герритон гордилась успехами Ирмы, — та заметно совершенствовалась, и ее нельзя уже было назвать вульгарным (а что может быть ужаснее?) ребенком. Миссис Герритон стремилась сформировать ее характер и манеры до возвращения матери. Поэтому она ничего не имела против неторопливых перемещений путешественниц по Италии. И даже сама предложила им задержаться там сверх года, если возникнет такое желание.

Следующее письмо было тоже из Монтериано, и Филип пришел в восторг.

— Они там уже больше недели! — воскликнул он. — Даже меня бы на это не хватило! Вероятно, им там действительно нравится, если они мирятся с тамошним отелем.

— Непонятное создание — человек, — проговорила Генриетта, — что они делают целый день? И наверняка там нет церкви.

— Там есть церковь Святой Деодаты, одна из красивейших церквей в Италии.

— Я имею в виду англиканскую церковь, разумеется, — недовольно поправила Генриетта. — Лилия обещала мне по воскресеньям всегда приезжать в большие города.

— Если она побывает на богослужении у Святой Деодаты, то найдет там больше красоты и искренности, чем во всех Кухоньках Европы.

Кухонькой он именовал Сент-Джеймскую церковь, небольшое унылое здание, которое усиленно посещала его сестра. Ее всегда обижали его насмешливые намеки, и миссис Герритон поспешила вмешаться:

— Не надо, дорогие, перестаньте. Послушайте письмо от Лилии: «Мы очарованы городком, не могу выразить, как я благодарна Филипу, ведь это он посоветовал мне заехать сюда. Дело не только в том, что город такой своеобразный, а еще и в том, что итальянцы предстают здесь неиспорченными, во всей простоте и

очаровании. Фрески божественны. Каролина — сама доброта и целиком погружена в рисование».

— На вкус, на цвет!.. — проговорила Генриетта, всегда высказывавшая какую-нибудь банальность с таким видом, будто это афоризм. Она, непонятно почему, относилась к Италии враждебно, хотя никогда там не бывала. Единственный ее опыт в отношении визитов на континент состоял в том, что она изредка проводила шесть недель в протестантской части Швейцарии.

— Уф, Генриетта невыносима! — произнес Филип, как только сестра вышла из комнаты. Мать рассмеялась и велела не дразнить Генриетту. Появление Ирмы, опять отправлявшейся в школу, положило конец обсуждению этой темы. Не только в религиозных трактатах дитя бывает миротворцем.

— Одну минутку, Ирма, — окликнул ее дядя. — Я иду на станцию и могу осчастливить тебя своим обществом.

Они вышли вместе. Ирма была польщена, но разговор не клеился; Филип не обладал даром общения с детьми.

Миссис Герритон задержалась за столом, перечитывая письмо Лилии. Потом вместе с кухаркой убрала со стола, заказала обед и помогла горничной начать уборку в гостиной (уборка всегда производилась по вторникам). Погода стояла прекрасная, было еще утро, она решила немного поработать в саду. Она позвала Генриетту, успевшую оправиться от оскорбления, нанесенного Сент-Джеймсу, и они вышли вместе в огород, чтобы посадить некоторые ранние сорта овощей.

— Горошек мы оставим на конец, его сеять веселее всего, — решила миссис Герритон, умевшая всякую работу превращать в удовольствие. Она отлично ладила со своей немолодой дочерью, хотя общего у них было не много. Воспитание Генриетты оказалось чересчур удачным. Как выразился однажды Филип, она «проглотила все главные добродетели, но не смогла переварить их». Генриетта, благочестивая, патриотичная и вообще большое моральное подспорье в доме, была лишена той гибкости, того такта, которые так высоко ставила ее мать, но с которыми надо родиться. Дай Генриетте волю, она вынудила бы Лилию к открытому разрыву и, что еще хуже, довела бы до того же Филипа еще два года назад, когда он помешался на Италии и всячески насмехался над Состоном и его обычаями.

— Какой позор, мама! — возмущалась она тогда. — Филип высмеивает все — книжный клуб, дискуссионное общество, карточный клуб, благотворительный базар! Людям это не понравится. А наша репутация? Дом, раздираемый противоположными убеждениями, непрочен.

Миссис Герритон ответила тогда незабываемой фразой: «Пусть Филип говорит что хочет, но он не сможет помешать нам делать то, что хотим мы». Генриетта нехотя согласилась с ней.

Они посеяли сперва более скучные растения и когда, наконец, перешли к горошку, испытали чувство приятной и заслуженной усталости. Генриетта натянула шнурок, чтобы ряд вышел прямым, а миссис Герритон процарапала бороздку заостренной палочкой. Покончив с этим, она взглянула на часы.

— Уже двенадцать! Пришла вторая почта. Сбегай, посмотри, нет ли писем.

Генриетте идти не хотелось.

— Давай разделаемся с горошком. Писем больше не должно быть.

— Нет, милочка, будь добра, сходи, я посею горошек, а ты засыплешь бороздку. Смотри, чтобы птицы до него не добрались!

Миссис Герритон постаралась, чтобы горошинки текли из горсти равномерно и в конце ряда осталась очень довольна — никогда она не сеяла удачнее. А горошек, между прочим, стоил не так уж дешево.

— В самом деле, письмо от миссис Теобалд! — сказала, вернувшись, Генриетта.

— Прочти вслух. У меня руки грязные. Не выношу тисненую бумагу.

Генриетта надорвала конверт.

— Не понимаю, — сказала она, — какая-то бессмыслица.

— Ее письма всегда бессмысленны.

— Нет, наверное, оно глупее обычного, — проговорила Генриетта дрожащим голосом. — Знаешь, прочти ты, мама. Я что-то не соображаю.

Миссис Герритон со снисходительным видом взяла письмо.

— Что же тут непонятного? — сказала она через некоторое время. — Что тебя, собственно, приводит в затруднение?

— Смысл... — запинаясь, пробормотала Генриетта.

Воробьи запрыгали вокруг, с интересом разглядывая горошины.

— Смысл совершенно ясен, Лилия помолвлена. Не плачь, милочка, сделай такое одолжение. И вообще ничего не говори. Этого мои нервы не выдержат. Она собирается замуж за какого-то человека, которого встретила в отеле. Возьми письмо и посмотри сама.— Внезапно миссис Герритон на момент потеряла самообладание — казалось бы, из-за мелочи.— Как она посмела не сообщить прямо мне! Как посмела написать сначала в Йоркшир! Неужели же я должна узнавать об этом от миссис Теобалд, из такого наглого, покровительственного письма? Разве не мне должно принадлежать право знать первой? Будь свидетельницей, дорогая,— она задыхалась от негодования,— этого я ей никогда не прощу!

— Ох, что же делать? — простонала Генриетта.— Что делать?

— Во-первых, вот что! — Миссис Герритон порвала письмо на клочки и разбросала по земле.— Затем — телеграмма Лилии! Нет! Телеграмма мисс Каролине Эббот. Она тоже обязана кое-что объяснить.

— Ох, что же делать? — повторяла Генриетта, следуя по пятам за матерью в дом. Перед таким бесстыдством она растерялась. Какой ужас! Что за мерзкий субъект встретился Лилии? «Какой-то человек в отеле», — так говорится в письме. Что за человек? Джентльмен? Англичанин? В письме об этом не упоминалось.

«Телеграфируйте причину задержки Монтериано. Странные слухи», — перечла миссис Герритон и приписала адрес: «Эббот, „Стелла д'Италия“, Монтериано, Италия».

— Если там есть почтовая контора, — добавила она, — мы можем получить ответ сегодня же вечером. Филип возвращается в семь, а поезд восемь пятнадцать как раз поспекает к двенадцатичасовому ночному пароходу в Дувре... Генриетта, отправь телеграмму и возьми в банке сто фунтов пятифунтовыми бумажками.

— Почему?.. Зачем?..

— Ступай, дорогая, не разговаривай. Вот возвращается Ирма. Иди скорей... Ну как, Ирма, милочка, в чьей ты команде сегодня — у мисс Эдит или у мисс Мэй?

Но, поговорив как ни в чем не бывало с внучкой, она сразу пошла в библиотеку и взяла из шкафа большой

атлас, так как хотела знать, что такое Монтериано. Название, напечатанное очень мелким шрифтом, она нашла среди коричневато-бурых клубков, изображавших Предапеннины. Городок находился неподалеку от Сиены, которую она проходила в школе. Рядом с Монтериано шла черная тонкая линия, кое-где зазубренная, как пила,— миссис Герритон знала, что это железная дорога. Но многое карта предоставляла воображению, а оно у миссис Герритон отсутствовало. Она искала местечко в «Чайлд Гарольде», но Байрон там не бывал. Марк Твен в «Простаках за границей» тоже не посетил его. Исчерпав литературные источники, она решила дожидаться Филипа. Мысль о Филипе надоумила ее пойти к нему в комнату. Там она нашла «Центральную Италию» Бедекера, раскрыла справочник впервые в жизни и прочла:

Монтериано (нас. 4800). Отели: «Стелла д'Италия», посредственный, не более; «Глобо», грязный; кафе «Гарибальди». Почта и телеграф на Корсо Витторио Эммануэле, рядом с театром. Фотография у Сегены (во Флоренции дешевле). Дилижанс (1 лира) встречает главные поезда. Основные достопримечательности (осмотр 2—3 часа): церковь Святой Деодаты, Палаццо Публико, церкви Св. Августина, Св. Екатерины, Св. Амброзия, Дворец капуцинов. Гид (2 лиры) необязателен. Ни в коем случае не пропустить прогулки вокруг крепостных стен. Вид со Скалы (небольшие чаевые) прекраснее всего на закате. История: Монтериано, в переводе — гора Риана, в древности — Монс Рианус, чьи прогибеллинские тенденции были подмечены Данте (Чист., XX), решительно отделен от Поджибонси в 1261 году. Отсюда двустийшие: «Поджибонси, посторонись, Монтериано лезет ввысь», до недавнего времени сохранившееся на Сиенских воротах. Оставался независимым до 1530 года, после чего, разграбленный папскими отрядами, стал частью Великого герцогства Тосканского. Ныне потерял свое значение. В городе расположена окружная тюрьма. Жители по сю пору отличаются приятным обхождением. Прямо от Сиенских ворот путешественник следует к коллегиальной церкви Святой Деодаты и осматривает (пятый придел справа) очаровательные фрески...

Миссис Герритон не стала читать дальше. Ей не дано было оценить обаяние бедекера. Некоторые сведения показались ей лишними; все без исключения — нудными. Между тем всякий раз, как Филип читал слова: «Вид со Скалы (небольшие чаевые) прекраснее всего на закате», — у него сжималось сердце. Поставив путеводитель на место, миссис Герритон сошла вниз и с нетерпением

стала вглядываться в даль — не покажется ли на асфальтовых дорожках ее дочь. Наконец она увидела ее в двух кварталах от себя. Генриетта тщетно пыталась отвязаться от мистера Эббота, отца мисс Каролины Эббот. Генриетте вечно не везло. Когда она добралась до дому, распаренная, раздраженная, шелестя банкнотами, Ирма подскочила к ней поздороваться и наступила ей на мозоль.

— Отрастила ножищи! — вскинулась Генриетта, искривившись от боли, и в бешенстве оттолкнула племянницу. Ирма расплакалась, а миссис Герритон рассердилась на Генриетту за то, что та не сумела сдержаться. Ленч прошел отвратительно. Во время пудинга поступило известие, что кухарка по свойственной ей неуклюжести отломилла от плиты какую-то особо важную шишечку.

— Но это же ужасно, — сказала миссис Герритон.

Ирма радостно повторила: «Жужасно», — и получила нагоняй. После ленча Генриетта пожелала достать бедеркер и стала вслух читать оскорбленным тоном про Монтериано, в древности — гору Риана, пока мать не прервала ее:

— Дорогая, нелепо это читать, она ведь выходит замуж не за местного жителя. Очевидно, он турист, остановившийся в отеле. Город тут ни при чем.

— Чего ради они туда поехали? И разве можно в отеле встретить порядочных людей?

— Порядочных или непорядочных, не в том дело, в который раз тебе повторяю. Лилия нанесла оскорбление нашей семье и поплатится за это. Выражаясь об отелях так презрительно, ты забываешь, что я встретила твоего отца в Шамони. В данную минуту, дорогая, ты ничем не можешь помочь, поэтому лучше помолчи. Я иду в кухню поговорить по поводу плиты.

Она не удержалась и наговорила лишнего. И в результате кухарка заявила, что если она не может угодить, тогда лучше она откажется от места. Небольшой предмет, находящийся вблизи, может заслонить большой, отстоящий далеко от нас, так и Лилия, плохо себя ведущая на какой-то там горе в Центральной Италии, была на время заслонена близкими событиями. Миссис Герритон полетела в бюро по найму прислуги, никого не подыскала, помчалась в другое бюро и снова потерпела неудачу. Вернулась домой и услышала от

горничной, что та тоже уходит, раз пошли такие беспорядки. Миссис Герритон выпила чаю и написала шесть писем, после чего явились и кухарка, и горничная, обе в слезах, просили прощения и умоляли взять их обратно. В разгар триумфа раздался звонок в дверь, принесли телеграмму: «Лилия помолвлена выходцем итальянской знати тчк Пишу письмо тчк Эббот».

— Ответа не будет,— сказала миссис Герритон.— Сходите в мансарду, принесите чемодан для мистера Филипа.

Она не собиралась дать себя запугать неизвестностью. Да она уже и знала кое-что. Человек тот, конечно, никакой не аристократ, иначе в телеграмме так бы и говорилось. Телеграмму, вероятно, прислала Лилия. Кто, кроме нее, мог написать такую вульгарную бессмыслицу: «выходец итальянской знати». Она припомнила некоторые фразы из утреннего письма: «Мы очарованы городом... Каролина сама доброта, целиком поглощена рисованием... итальянцы с их простотой и обаянием...» А также примечание бедкера: «Жители по сю пору отличаются приятным обхождением». Теперь эти фразы получили зловещее значение. Если миссис Герритон и не обладала воображением, то обладала более полезным свойством — догадливостью, и составленный ею портрет жениха Лилии не был лишен достоверности.

В результате Филипу, вернувшемуся со службы, преподнесли известие, что через полчаса он выезжает в Монтериано. Он очутился в затруднительном положении: три года он восхвалял итальянцев, но вовсе не рассчитывал получить итальянца в родственники. Он попытался представить для своей матери ситуацию в смягченных красках, но в глубине души согласился с миссис Герритон, когда она сказала:

— Пусть будет кем угодно — герцогом или шарманщиком, не в том дело. Но если Лилия выйдет за него замуж, то оскорбит память Чарлза, оскорбит Ирму и нас. Я запрещаю ей этот шаг. Если она ослушается, мы порываем с нею раз и навсегда.

— Я сделаю все, что могу,— негромко сказал Филип. Впервые ему предстояло что-то сделать. Он поцеловал мать и сестру, чем немало озадачил Ирму. Перед тем, как выйти в вечерний мартовский холод, он оглянулся с порога, и дом показался ему теплым и уютным.

Он пустился в путь неохотно, словно Италия вдруг сделалась чем-то обыденным и скучным.

Перед сном миссис Герритон написала письмо миссис Теобалд, прямо высказав все, что думает о поведении Лилии, и намекнула, что в подобном случае следует выбрать, на чью сторону стать. Она как бы невзначай добавила, что получила письмо от миссис Теобалд только утром.

Поднимаясь по лестнице в спальню, она вспомнила, что так и не присыпала землей посеянный горошек. Это окончательно вывело ее из себя, и, спускаясь обратно, она несколько раз с досадой ударила по перилам ладонью. Несмотря на поздний час, она достала из-под навеса фонарь и вышла в огород. Оказалось, что воробы уже склевали все горошины до единой. Но бесчисленные клочки письма по-прежнему валялись на земле, обезображивая опрятный сад.

II

Высаживаясь на станции Монтериано, турист застывает в растерянности при виде того, что очутился посреди сельской местности. Близ железной дороги всего несколько домиков, усеивают они также равнину и склоны холмов подальше, но города — ни нового, ни средневекового — нет и в помине. Турист должен нанять нечто, метко названное «леньо», что означает «кусок дерева», и проехать великолепной дорогой восемь миль, только тогда он попадет в средние века. Перенестись же туда сразу, как делает бедкер, невозможно и просто кощунственно.

Было три часа пополудни, когда Филип покинул царство здравого смысла. Он так утомился в дороге, что заснул, сидя в поезде. Спутники его, обладавшие типично итальянским даром прозрения, догадались, что ему надо в Монтериано, разбудили и помогли сойти. Ноги у него увязли в расплавленном асфальте перрона, он, как во сне, стоял, провожая взглядом поезд, а носильщик, вместо того, чтобы взять у него чемодан, бежал вдоль путей за поездом, играя с кондуктором в «кто последний запянает». Увы! Филип был сейчас совершенно не в том настроении, чтобы умиляться Италии. Торговля из-за повозки невыразимо раздражила его.

Возница запросил шесть лир. Филип знал, что дорога стоит никак не больше четырех, но тем не менее собирался уже дать вознице, сколько тот хотел, и тем сделать его несчастным и неудовлетворенным до конца дня. От этого неверного шага Филипа удержали громкие крики: поглядев на дорогу, он увидел, что какой-то человек щелкает кнутом, дергает поводьями и бешено погоняет лошадей, а позади него в повозке, растопырив руки и ноги, мелькает женская фигура, наподобие морской звезды цепляющаяся за что попало. То была мисс Эббот, которая только что получила из Милана письмо Филипа, извещавшее о часе его прибытия, и поспешила встретить его.

Он знал мисс Эббот много лет, но так и не составил о ней определенного мнения. Добрая, тихая, скучная, приветливая, она была молода лишь постольку, поскольку ей исполнилось двадцать три года. Ничто в ее наружности или в манере поведения не говорило о пылкой юности. Жила она в Состоне с таким же, как она, скучным, приветливым отцом, ее милое бледное лицо можно было часто видеть на улицах городка, когда она направлялась по своим излюбленным делам добропорядочной благотворительности. Почему она вдруг пожелала оставить эти улицы? Непонятно. Но, как она прямодушно заявила: «Я — Джон Булль до мозга костей, но хочу увидеть Италию. Только один раз. Все говорят, что она изумительна и что книги не дают о ней никакого представления». Приходский священник счел, что год — слишком долгий срок. На что мисс Эббот с пристойной шаловливостью ответила: «Дайте мне перебеситься. Обещаю позволить себе такое сумасбродство только один раз. Зато потом мне будет о чем думать и говорить всю оставшуюся жизнь».

Священник согласился. Мистер Эббот тоже. И вот она стояла посреди повозки одна, покрытая пылью, испуганная, и на столько вопросов ей надо было ответить и за столько провинностей держать ответ, что ей позавидовала бы самая лихая искательница приключений.

Они молча пожали друг другу руки. Она подвинулась, освобождая место Филипу и его багажу, между тем как несостоявшийся возница шумно протестовал. Потребовалось объединенное красноречие начальника станции и станционного нищего, чтобы доказать его неправоту. Пока они не отъехали, Филип молчал. Целых

три дня он обдумывал, что должен сделать, а главное — что сказать. Он сочинил дюжину воображаемых диалогов, в которых его логика и ораторский дар всякий раз одерживали победу. Но как начать? Он находился во вражеской стране, буквально все — жара на солнце, прохлада в тени, бесконечные ряды олив, будто и правильные, но загадочные — все представлялось враждебным уравновешенной атмосфере Состона, где родились его представления о мире. Начал он с уступки: если брак действительно подходящий и Лилия не захочет от него отказаться, то Филип даст свое согласие и постарается употребить свое влияние на мать, чтобы все уладить. В Англии он на такую уступку не пошел бы, но здесь, в Италии, своенравная и глупая Лилия казалась ему почти человеком.

— Поговорим сейчас? — спросил он.

— Конечно, если хотите, — волнуясь, ответила мисс Эббот.

— Давно ли она помолвлена?

Лицо ее приобрело глуповатое выражение. Перепуганная дурочка.

— Недавно, совсем недавно, — пробормотала она, запинаясь, как будто краткий срок служил извинением.

— Я бы хотел знать точно, если вы способны вспомнить.

Она долго производила какие-то сложные подсчеты на пальцах.

— Ровно одиннадцать дней, — наконец ответила она.

— Сколько вы здесь живете?

Новые подсчеты. Филип нетерпеливо постукивал ногой.

— Почти три недели.

— Вы познакомились с ним раньше, до Монтериано?

— Нет.

— Ах так! Кто же он?

— Здешний житель.

Опять молчание. Равнина осталась позади, теперь они взбирались на передние горы и по-прежнему их сопровождали оливы. Возница, веселый толстяк, сошел с повозки, чтобы лошадям было легче, и зашагал рядом.

— Насколько я понял, они встретились в отеле.

— Миссис Теобалд перепутала.

— Я также понял, что он принадлежит к итальянской аристократии.

Она промолчала.

— Могу я узнать его имя?

— Карелла, — шепнула мисс Эббот.

Но возница услышал, и улыбка растянула его рот. В городе о помолвке, очевидно, уже знали.

— Карелла? Граф или маркиз?

— Синьор, — мисс Эббот с беспомощным видом отвела глаза в сторону.

— Быть может, я вам наскучил своими расспросами? Если так, я умолкаю.

— Нет, нет, пожалуйста, спрашивайте. Я здесь для того... я сама так захотела... чтобы сообщить вам все, что вас, естественно... и попытаться... пожалуйста, спрашивайте что угодно.

— Сколько ему лет?

— Совсем молодой. Кажется, двадцать один.

У Филипа вырвалось: «Боже милостивый!»

Мисс Эббот покраснела.

— На вид ему больше.

— Надо полагать, он красив? — Филип вложил в вопрос как можно больше сарказма.

— Очень. — Тон у мисс Эббот стал решительный. — Все черты лица очень хороши, и он прекрасно сложен. Хотя, по английским мерилам, наверное, низковат.

Филипа, чьим единственным физическим преимуществом был высокий рост, раздосадовало ее очевидное равнодушие к этому достоинству.

— Могу я сделать вывод, что вам он нравится?

И снова она ответила решительно:

— Да, на вид он мне понравился.

В эту минуту бричка въехала в невысокий лес, мрачно-бурой полосой пересекавший распаханый холм. Деревья были низкие, без листвы, но зато подножия стволов утопали в фиалках, как скалы утопают в море. Такие поля фиалок попадаются и в Англии, но редко. В живописи они тоже встречаются редко, так как художники не отваживаются писать их. Колеи казались каналями, выбоины — лагунами. Даже сухие, белесые от пыли обочины были забрызганы синим, словно плотина, на которую наступает весенний разлив. Филип придумывал, что спросить дальше, и не обратил на все это внимания. Но глаза его сами собой отметили окружающую красоту, и в следующем марте он вспомнит, что дорога в Монтериано проходила через море цветов.

— Да, на вид он мне понравился,— повторила мисс Эббот после некоторого молчания.

В ее тоне ему послышался вызов, и он моментально сокрушил ее вопросом:

— Позвольте, кто же он? Вы так и не сказали. Каково его социальное положение?

Она открыла рот, хотела что-то сказать, но не могла произнести ни звука. Филип терпеливо ждал. Ее попытка расхрабриться самым жалким образом потерпела неудачу.

— У него нет никакого положения. Как сказал бы мой отец, он бьет баклуши. Дело в том, что он только что отслужил в армии.

— Рядовым?

— Вероятно, да. У них всеобщая воинская повинность. Кажется, он был в берсальерах. Ведь это отборный род войск, если не ошибаюсь?

— Солдаты в эти войска подбираются приземистые, низкорослые. Они должны уметь делать по шесть миль в час.

Она посмотрела на него испуганно, не очень понимая смысл сказанного, но чувствуя, что он проявляет эрудицию. Затем снова принялась защищать синьора Кареллу.

— Сейчас он, как большинство молодых людей, подыскивает себе работу.

— А тем временем?..

— Тем временем, как большинство молодых людей, живет с семьей,— отец, мать, две сестры и маленький брат.

Ему была так отвратительна ее оживленность, что он буквально взбесился и решил поставить ее на место.

— Еще один вопрос. Последний. Кто его отец?

— Его отец...— начала мисс Эббот.— Вряд ли вы сочтете брак удачным. Но не в этом дело. То есть дело в том, что... то есть социальное неравенство... но ведь в конечном счете любовь... разумеется, вы не согласитесь...

Филип стиснул зубы и молчал.

— Джентльмены подчас судят строго. Но я чувствую, что вы и, во всяком случае, ваша мать, такая слазная и добрая, такая бескорыстная... в конце концов, любовь... браки заключаются в небесах...

— Да, да, мисс Эббот, я это слышал. Жажду услышать, на кого пал выбор небес. Вы возбудили мое любопытство. Неужели моя невестка собирается замуж за ангела?

— Мистер Герритон, пожалуйста, не надо... Дантист. Его отец дантист.

Филип издал возглас отвращения и боли. Он содрогнулся всем телом и отодвинулся от спутницы. Дантист! Дантист в Монтериано. Зубной врач в волшебной стране! Вставные зубы, веселящий газ и кресло с откидной спинкой в том городе, который помнил этрусскую лигу, и Рах Романа, и самого Алариха, и маркграфиню Матильду, и средние века с их войнами и святостью, и Возрождение с его войнами и любовью к красоте! Филип и думать забыл о Лилии. Он беспокоился за себя. Он боялся, что романтика для него умерла.

Но романтика умирает лишь вместе с человеком. Пинцетом ее из нас не вытащишь. Однако существует еще ложноромантическое чувство, которое не может устоять перед неожиданностью, перед неуместностью и нелепостью. Достаточно прикосновения, чтобы расшатать это чувство, и чем скорее оно покинет нас, тем лучше. Сейчас оно покидало Филипа, потому-то он и вскрикнул от боли.

— Не понимаю, что происходит! — начал он. — Если Лилия непременно хотела опозорить нас, то могла найти какой-нибудь менее омерзительный способ. Смазливый мальчишка низкого роста, сын дантиста в Монтериано. Я правильно вас понял? Могу я высказать догадку, что у него нет ни гроша за душой? Могу я также предположить, что его положение в обществе равно нулю? Далее...

— Перестаньте! Я больше ничего не скажу!

— Право, мисс Эббот, скрытничать теперь поздно. Вы уже снабдили меня оружием!

— Больше я не скажу ни слова! — вскричала она в испуге. Потом достала платок, словно собираясь заплакать. После долгого молчания, которым Филип хотел показать ей, что разговор исчерпан, он заговорил о других вещах.

Они снова ехали среди олив, лес с его красотой и запущенностью остался позади. Когда они поднялись выше, перед ними открылся простор и — высоко на холме — Монтериано. Зеленая дымка оливковых рощ

доходила до самых его стен, и город словно парил между деревьями и небом, как некий фантастический летучий город-корабль из сновидений. Общий тон города был коричневатый из-за кольца крепостных стен, скрывавших дома; торчали лишь башни, семнадцать башен из тех пятидесяти двух, которые толпились в городе во времена его расцвета. От одних остались лишь обрубки, другие застыли, накренившись под углом и грозя упасть, третьи по-прежнему вздымались в небо прямо, как мачты. Город невозможно было воспеть как прекрасный, но нельзя и заклеймить как безобразный.

Филип между тем говорил без умолку, считая свою болтовню проявлением такта и находчивости. Он хотел показать мисс Эббот, что изучил ее насквозь, но сумел превозмочь свое негодование и усилием разума заставляет себя быть любезным и занимательным, как всегда. Он не подозревал, что болтает много чепухи и что сила его разума порядком ослаблена видом Монтериано и мыслью о зубо врачевании в его стенах.

Город сдвигался над ними то влево, то вправо, то опять влево по мере того, как дорога вилла между деревьями. Башни запылали в лучах заходящего солнца. Подъехав ближе, Филип разглядел головы, торчавшие поверх стен, и представил себе, что там происходит: вот распространилась новость, что показался иностранец; нищих растолкали, и они, выйдя из состояния блаженной спячки, засуетились, прилаживая и пристегивая свои уродства; скульптор побежал за своими изделиями из гипса; официальный гид бросился за форменной фуражкой и двумя рекомендательными карточками — одна от мисс Майды Вейл Макги, другая, менее ценная, от шталмейстера королевы Перу; еще кто-то помчался к хозяйке «Стелла д'Италия» сказать, чтобы та надела жемчужное ожерелье и коричневые башмаки и вынесла помой из свободной спальни, а хозяйка побежала предупредить Лилию и ее нареченного, что грядет их судьба.

Вероятно, Филип напрасно был столь многоречив. Он, правда, чуть не свел мисс Эббот с ума, но зато не оставил себе времени выработать план действий. Совершенно неожиданно настал конец пути: они въехали из-за деревьев на террасу, за спиной у них остался вид на озаренную солнцем половину Тосканы, они свернули к

Сиенским воротам, проехали сквозь них — и путешествие закончилось. Таможенники гостеприимно пропустили их внутрь города, лошади заклацали по темной узкой улочке, и со всех сторон их приветствовали с той смесью любопытства и добродушия, которая всякий раз делает прибытие в Италию таким чарующим.

Филип чувствовал себя оглушенным, не знал, как себя вести. В отеле ему оказали сногшибательный прием. Хозяйка горячо трясла ему руку, кто-то схватил его зонтик, еще кто-то — чемодан. Люди, толкая друг друга, уступали ему дорогу. Толпа забила вход. Лаяли собаки. Свистели свистульки. Женщины махали платками, на лестнице возбужденно горланили дети, а на верхней площадке стояла сияющая Лилия в самой лучшей своей блузке.

— Добро пожаловать! — воскликнула она. — Добро пожаловать в Монтериано!

Филип протянул ей руку, так как не знал, что делать. Толпа одобрительно зашумела.

— Это вы посоветовали мне приехать сюда, — продолжала она, — я этого никогда не забуду. Позвольте мне представить вам синьора Кареллу.

Филип различил в углу за ее спиной молодого человека, который потом, при ближайшем рассмотрении, мог оказаться и красивым, и с хорошей фигурой, но сейчас такого впечатления отнюдь не производил. Наполовину скрытый светло-грязной драпировкой, он нервно выставил вперед руку. Филип пожал ее и почувствовал, что она влажная и грубая. Снизу опять донесся одобрительный шум.

— Кушинькать подано, — сказала Лилия. — Ваша комната дальше по коридору, Филип. Можете не переодеваться.

Он побрел мыть руки, совершенно уничтоженный ее наглостью.

— Милая Каролина! — шепнула Лилия, как только Филип вышел. — Какой вы ангел, что рассказали ему! Он так хорошо все принял. Но вам, наверное, пришлось вытерпеть а *mauvais quart d'heure*¹.

И тут страх, в котором так долго пребывала мисс Эббот, разрядился язвительностью.

¹ Скверные четверть часа (франц.).

— Я ничего не рассказала ему! — отрезала она.— Это предстоит вам. И если вы отделаетесь четвертью часа, то считайте, что вам повезло!

Обед прошел как в страшном сне. В их распоряжение предоставили вонючую столовую. Лилия, очень нарядная и громогласная, восседала во главе стола. Мисс Эббот тоже принарядилась и сидела рядом с Филипом, действуя ему на нервы своим видом наперсницы из трагедии. Благородный отпрыск итальянской аристократии, синьор Карелла, помещался напротив. За его спиной поблескивал аквариум с золотыми рыбками, которые не переставая кружили, таращась на гостей.

Синьор Карелла так гримасничал, что Филип не мог рассмотреть как следует его лица, но руки его видел — нельзя сказать, чтобы чистые, они не делались чище от того, что их обладатель непрерывно приглаживал лоснящиеся пряди волос. Крахмальные манжеты были тоже не первой свежести, а костюм, явно купленный ради смотрин как нечто истинно английское, сидел на нем отвратительно. Носовой платок отсутствовал, но синьор Карелла ни разу о нем и не вспомнил. В целом, он был весьма непрезентабелен, и ему еще повезло, что его отец зубной врач в Монтериано. Каким же образом Лилия, даже Лилия... Но как только подали обед, Филип все уразумел.

Молодой человек проголодался, и его дама сердца положила ему на тарелку спагетти. И вот когда восхитительно скользкие червяки заскользили ему в горло, лицо его потеряло напряженность и сделалось спокойным и отрешенным. Филип сотни раз встречал в Италии такие лица, и они ему нравились. Лицо было не просто красиво, но полно обаяния — неотъемлемое свойство всех, кто родился на итальянской почве. Но видеть это лицо напротив себя за столом Филип не желал. Оно не было лицом джентльмена.

Разговор, если можно это было назвать разговором, велся на смеси английского с итальянским. Лилия пока с трудом объяснялась на итальянском, синьор Карелла еще не научился английскому. Иногда мисс Эббот приходилось выступать в роли толмача между влюбленными, и тогда ситуация становилась донельзя дикой и отталкивающей. Однако малодушие не давало Филипу встать и бесповоротно осудить помолвку. Он решил, что с Лилией ему будет легче справиться наедине, и потому

притворился перед самим собой, будто хочет выслушать ее довод в свою защиту и тогда уже вынести приговор.

Синьор Карелла, вдохновленный спагетти и дерущим горло вином, решил завязать беседу. Глядя на Филипа, он вежливо произнес:

— Англия великая страна. Итальянцы любят Англию и англичан.

Филип, совершенно не расположенный в эту минуту к взаимным заверениям в интернациональной дружбе, поклонился, и только.

— Италия тоже великая страна,— продолжал итальянец несколько обиженным тоном.— Она дала много знаменитых людей, таких, как Гарибальди и Данте. Последний написал «Inferno», «Purgatorio», «Paradiso»¹. «Inferno» из них самый прекрасный.

И самоуверенным тоном человека, получившего солидное образование, он продекламировал вступительные строки:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Chè la diritta via era smarrita².

Он и не подозревал, насколько цитата подходила к случаю.

Лилия быстро взглянула на Филипа — заметил ли он, что она выходит замуж не за невежду. Желая щегольнуть достоинствами своего нареченного, она ни с того ни с сего упомянула паллоне — видимо, он был искусным игроком. Он вдруг застеснялся и самодовольно заухмылялся, точно деревенщина, которого похвалили при незнакомом человеке за ловкую игру в крикет. До сих пор Филипу и самому нравилось смотреть, как играют в паллоне, это чарующее сочетание лаун-тенниса и лапты. Но отныне, он полагал, игра для него испорчена навсегда.

— Ой, посмотрите! — воскликнула Лилия.— Бедненькие рыбки!

¹ «Ад», «Чистилище», «Рай» (итал.).

² Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

(«Ад». Песнь первая. Пер. М. Лозинского.)

Тощая кошка в течение всего обеда клянчила у обедающих кусочки багрового мяса, которое они силились разжевать. Синьор Карелла со свойственной итальянцам жестокостью схватил кошку за лапу и отшвырнул в сторону. Теперь кошка взобралась на аквариум и пыталась выудить рыбешек. На этот раз синьор Карелла встал, прогнал кошку, нашел большую стеклянную крышку и закупорил отверстие аквариума.

— А рыбки не задохнутся?— спросила мисс Эббот. — Они остались без воздуха.

— Рыбе нужна вода, а не воздух,— ответил он важно и сел на место. Судя по тому, что он принялся сплевывать на пол, он явно почувствовал себя непринужденно. Филип взглянул на Лилию, но та и глазом не моргнула. Мужественно проговорив до конца омерзительного обеда, она встала со словами:

— А теперь, Филип, вы, наверное, хотите бай-бай. Встретимся завтра в двенадцать за ленчем, если не увидимся раньше. *Caffè latte*¹ нам подают в комнаты.

Это было уже чересчур, и Филип отчеканил:

— Нет, я бы хотел повидаться с вами сейчас же, у меня в комнате, я приехал в такую даль исключительно по делу.

Он услышал, как мисс Эббот ахнула. Синьор Карелла, закуривавший вонючую сигару, ничего не заметил.

Как Филип и ожидал, оставшись наедине с Лилией, он перестал нервничать. Знакомое ощущение интеллектуального превосходства придало ему сил, и он гладко начал:

— Дорогая Лилия, не будем устраивать сцен. До приезда сюда я думал, что мне придется расспрашивать вас. Теперь такая необходимость отпала. Я знаю все. Кое-что мне рассказала мисс Эббот, остальное я видел собственными глазами.

— Собственными глазами? — повторила Лилия и, как он вспоминал позже, залилась краской.

— Да, что он, вероятно, хам и, уж во всяком случае, плебей.

— В Италии нет плебеев,— быстро возразила она.

Филип прикусил язык. Это были его собственные слова. Она доконала его, прибавив:

— Он—сын зубного врача. Ну и что тут такого?

¹ Кофе с молоком (итал.).

— Благодарю за сообщение. Как я вам уже доложил, мне это известно. Мне известно также, что такое зубной врач в захудалом провинциальном итальянском городке.

Ему не было это известно, но он предположил, что зубной врач — звание достаточно низкое. Лилия, как ни странно, не стала противоречить, однако ядовито заметила:

— Вы меня удивляете, Филип, я всегда думала, что вы за равенство и все такое прочее.

— А я так думал, что синьор Карелла — представитель итальянской аристократии.

— Ну, мы просто написали это в телеграмме, чтобы не шокировать дражайшую миссис Герритон. Но это правда. Просто его семья — младшая ветвь. Всегда ведь семьи разветвляются. В вашей, например, есть кузен Джозеф. — Она как нельзя более находчиво помянула единственного нежелательного представителя клана Герритонов. — Отец Джино — сама любезность. Карьера его идет очень успешно. В этом месяце он как раз переезжает из Монтериано в Поджибонси. Что касается меня, то мое ничтожное мнение таково: важно, каков человек. Но вы, конечно, со мной не согласитесь. Кстати, дядя у Джино, должна вам доложить, священник, все равно как пастор в Англии.

Филип прекрасно знал, чего стоят итальянские священники, и так долго распространялся на эту тему, что Лилия прервала его:

— Ну, хорошо, а его кузен — адвокат в Риме.

— Какой еще адвокат?

— Такой же, как вы, с той разницей, что у него уйма работы, и он не может брать отпуск в любое время, когда захочет.

Она ужалила больно, но Филип постарался не показывать виду. Он переменял тактику и мягким, примирительным тоном произнес следующую тираду:

— Происходящее мне кажется скверным сном. Таким скверным, что дальше некуда. Если бы в этом человеке была хоть одна благородная черта, я бы еще мог тревожиться. А так — я возлагаю надежды на время. Сейчас, Лилия, он вас опутал, обманул, но скоро вы его раскусите. Ведь не может быть, чтобы вы, леди, привыкшая к благовоспитанному обществу, могли долго выносить человека, чье положение не выдерживает сравне-

ния даже... даже с положением сына зубного врача королевской челяди в Англии. Я вас не виню. Виноваты чары Италии. Вы знаете, я сам не раз им поддавался. И еще виновата мисс Эббот.

— Каролина? Почему? При чем тут Каролина?

— Мы ждали, что она...— Филип сообразил, что ответ повлечет за собой неприятное объяснение, и, махнув рукой, продолжал:—Поэтому я уверен, и вы в глубине души согласитесь со мной, что помолвка долго не продлится. Подумайте о своем доме, об Ирме! Я даже скажу: подумайте о нас. Вы же знаете, Лилия, вы для нас не просто родственница. Если вы на это пойдете, я потеряю сестру, а моя мать потеряет дочь.

Она как будто была тронута, во всяком случае, отвернулась и сказала:

— Я уже не могу разорвать помолвку.

— Бедная Лилия,— сказал он, искренне растроганный.— Я знаю, как вам больно. Я приехал спасти вас, и хотя я человек кабинетный, но не побоюсь выступить против наглеца. Он просто-напросто нахальный мальчишка. Думает, будто сможет заставить вас угрозами сдержать слово. Он спасует, когда увидит, что имеет дело с женщиной.

Для того, что за этим последовало, требуется подобрать сравнение — удар, взрыв порохового склада, землетрясение... Филипа подняло в воздух, хлопнуло о землю и утянуло в бездну. Лилия повернулась к своему доблестному защитнику со словами:

— Я буду благодарна вам, если вы, наконец, оставите меня в покое. И ваша мать тоже. Двенадцать лет вы меня воспитывали и мучили, больше я терпеть не желаю. Вы думаете — я дурочка? Думаете, бесчувственная? Как же, помню, когда я пришла в ваш дом совсем молоденькой новобрачной — и смотрели-то вы на меня свысока, доброго слова ни разу не сказали, каждый шаг обсуждали, а потом решили, что бывает и хуже. Ваша мать меня исправляла, ваша сестра делала мне выговоры, вы отпускали шуточки на мой счет, чтобы показать, какой вы умный! Даже когда Чарлз умер, мне все равно пришлось ходить в постромках, чтобы поддерживать честь вашего надутого семейства. Меня заперли в Со-стоне, заставили вести хозяйство, отняли всякую возможность снова выйти замуж. Нет уж, спасибо! Хватит! «Наглец»? «Нахальный мальчишка»? Сами вы наглец и

нахальный мальчишка. Нет, благодарение богу, я теперь не боюсь никого, у меня есть Джино, и на этот раз я выхожу замуж по любви!

Эта грубая и одновременно справедливая отповедь потрясла Филипа. Но нестерпимая дерзость Лилии взвинтила его, и он тоже взорвался:

— А я запрещаю вам выходить за него! Вы, верно, презираете меня, считаете слабым, ничтожным! Ошибаетесь! Вас, неблагодарную, дерзкую, презренную женщину, я все равно спасу, чтобы спасти Ирму и наше доброе имя. Тут в городе я устрою такой скандал, что вы оба пожалеете, что встретились. Я не остановлюсь ни перед чем, кровь во мне кипит. Не советую смеяться. Я запрещаю вам выходить замуж за Кареллу и сейчас же скажу ему об этом.

— Ради бога! — закричала она. — Скажите ему сейчас же, объяснитесь с ним! Джино! Джино! Иди сюда! *Avanti!*¹ Фра Филиппо против нашего брака!

Джино явно слушал под дверью — так быстро он появился.

— У фра Филиппо кипит кровь. Он не остановится ни перед чем. Ах, осторожнее, берегись его!

Она вульгарно раскачивалась, изображая походку Филипа, потом, с гордостью взглянув на широкие плечи своего нареченного, выпорхнула из комнаты.

На драку она их подбивала, что ли? Филип и не думал драться, да и Джино, видимо, тоже: он стоял посредине комнаты, нервно моргая и кривя губы.

— Пожалуйста, сядьте, синьор Карелла, — сказал Филип по-итальянски. — Миссис Герритон очень возбуждена, но я не вижу, почему бы нам не соблюдать хладнокровие. Могу я предложить сигарету? Пожалуйста, сядьте.

Но Джино отверг сигарету и стул и остался стоять, ярко освещенный лампой. Филип укрыл лицо в тени, обрадованный таким преимуществом.

Долгое время он молчал. На Джино это могло произвести впечатление, а ему давало время собраться с мыслями. На сей раз он не совершит ошибки, не станет бушевать, он просто заразился скандальностью от Лилии. Он даст почувствовать свою силу, оставаясь сдержанным.

¹ Войди! (итал.).

Почему же, когда он поднял голову, Джино корчился от внутреннего смеха? Grimаса тотчас исчезла, но Филип стал нервничать и заговорил еще напыщеннее, чем хотел:

— Синьор Карелла, я буду с вами откровенен. Я приехал, чтобы помешать вашему браку с миссис Герритон. Вы оба будете несчастливы, если поженитесь. Она англичанка, вы итальянец. Она привыкла к одному образу жизни, вы — к другому. И, простите мои слова, она богата, а вы бедны.

— Я женюсь на ней не потому, что она богата,— последовал сердитый ответ.

— Я не предполагал этого ни на одну минуту,— учтиво возразил Филип.— Вы честный человек, я в этом уверен. Но правильно ли вы поступаете? Позвольте мне напомнить — она нам нужна дома. Ее маленькая дочь останется сиротой. Наша семья распадется. Если вы согласитесь исполнить мою просьбу, вы заслужите нашу благодарность... и не останетесь без вознаграждения за понесенное разочарование.

— Вознаграждение? Какое? — Джино склонился над спинкой стула и серьезно посмотрел на Филипа. Быстро же они договорились. Бедная Лилия!

— Скажем, тысяча лир,— медленно произнес Филип.

Вся душа Джино излилась в громком возгласе, потом он застыл с приоткрытым ртом. Филип дал бы и вдвое больше. Он ожидал, что тот начнет торговаться.

— Можете получить их сегодня же вечером.

Джино наконец обрел дар речи.

— Слишком поздно.

— Почему?

— Потому что...— голос прервался. Филип следил за его лицом, лицом, лишенным тонкости, но отнюдь не лишенным выразительности. Оно искривилось, одно чувство сменялось другим. На нем отразилась жадность, потом наглость, потом вежливость, и глупость, и хитрость и, будем надеяться, на нем мелькнула и любовь. Но постепенно возобладало одно чувство, самое неожиданное: грудь его начала вздыматься, глаза заморгали, рот растянулся, он внезапно выпрямился и разразился громким хохотом, вкладывая в него всего себя.

Филип вскочил, и Джино, раскинувший сперва руки, чтобы пропустить его величество, взял вдруг Филипа за плечи и затряс его, говоря:

— Потому что мы женаты, женаты, мы поженились, как только услышали, что вы сюда едете. Извещать вас было уже некогда. Ох, ох! А вы-то ехали такую даль, и все зря! Ох! И щедрость ваша ни к чему!

Неожиданно он посерьезнел и сказал:

— Пожалуйста, простите меня, я груб. Я веду себя как мужлан. Я...

Тут он увидел лицо Филипа и не выдержал. Он задохнулся, приснул со смеху, заткнул кулаками рот, затем разразился новым взрывом хохота и отнял руки от лица, бессмысленно пихнул Филипа в грудь и опрокинул его на кровать. Испуганно ахнул, сдался, наконец, кинулся в коридор и, взвизгивая, как ребенок, помчался рассказывать жене, какая вышла смешная шутка.

Филип какое-то время полежал на кровати, притворяясь, будто серьезно ушиблен. От злости он словно ослеп и, выскочив в коридор, налетел на мисс Эббот, которая сразу же разрыдалась.

— Я ночую в «Глобо»,— объяснил он.— Завтра рано утром возвращаюсь в Состон. Он нанес мне оскорбление действием. Я мог бы подать на него в суд. Но не стану.

— Я не могу здесь оставаться,— прорыдала она.— Мне страшно. Возьмите меня с собой!

III

Если выйти из города через ворота Вольтерра, то прямо напротив увидишь очень солидную беленую глинобитную стену, прикрытую покоробленной красной черепицей, предохраняющей стену от разрушения. Можно было бы подумать, что она окружает господский сад, если бы не огромный пролом посредине, расширяющийся после каждого грозового дождя: в него видны прежде всего прислоненные железные ворота, которые, видимо, предназначены прикрывать дыру, а за ними — квадратный участок земли, не совсем голой, но и не совсем заросшей травой; и, наконец, на заднем плане виднеется еще одна стена, каменная, с деревянной

дверью и двумя окошками с деревянными же ставнями — явный фасад одноэтажного дома.

Дом этот больше, чем кажется на первый взгляд, ибо построен на холме, так что два этажа спускаются вниз по невидимому спереди склону, а вечно запертая деревянная дверь на самом деле ведет на чердак. Человек, знакомый с устройством дома, предпочтет обойти его вдоль глинобитной стены по круто идущей вниз тропе, проложенной мулами, и зайти с тыла. Здесь, очутившись на уровне подвала, надо задрать голову и крикнуть. Если по крику решат, что принесли что-то легкое (например, письмо, овощи или букет цветов), то из окон первого этажа спустят корзинку на веревке, куда посыльный положит свою ношу и уйдет. Но если голос сулит что-то тяжелое — дрова, или окорок, или гостя, то посетителя спросят, а тогда уже велят или не велят подняться по лестнице. Подвальный и верхний этажи этого обветшалого дома равно заброшены, обитатели его сосредотачиваются в центральной части, как жизнь в умирающем теле сосредотачивается в сердце. С площадки первого этажа внутрь открывается дверь, и там посетителей ждет вполне сносный прием. На этом этаже несколько комнат, темных и большей частью душных: гостиная, обставленная стульями с сиденьями из конского волоса, мягкими табуретами, вышитыми шерстью, и печью, которую никогда не топят; тут присутствует дурной немецкий вкус, но отсутствует немецкий уют; дальше идет большая семейная комната, где кончается облагораживающее влияние гостеприимства и совершается незаметный переход к спальням; сами спальни и, наконец, лоджия, где можно проводить, если заблагорассудится, весь день и всю ночь, пить вермут и курить сигареты наедине с уходящими вдаль рощами олив, виноградниками и синевато-зелеными холмами.

В этом-то доме прошла недолгая и неизбежно трагическая замужняя жизнь Лилии. Лилия заставила Джино купить дом, так как именно там впервые увидела его, когда он сидел на стене против ворот Вольтерра. Она запомнила, как вечернее солнце освещало его волосы, как он улыбнулся ей сверху, и тогда же она, как женщина сентиментальная, но не тонкая, решила заполучить мужчину и дом вместе. Жизнь в Италии обходится для итальянцев дешево, и хотя сам Джино предпочел бы

дом на Пьяцце, или, еще лучше, в Сиене, или даже (предел мечтаний) в Ливорно, он уступил жене, думая, что, выбрав столь уединенное жилище, она, вероятно, проявила хороший вкус.

Дом был чересчур велик для двоих. Туда стекались родственники, стремившиеся его заполнить. Отец Джино хотел превратить дом в патриархальное предприятие, где каждый член семьи имел бы свою комнату, и все сходились бы за едой. Он готов был отказаться от новой практики в Поджибонси, лишь бы играть роль патриарха. Джино охотно согласился с ним, так как любил своих родных и привык к большой семье, и преподнес это предложение Лилии как приятную новость. Та даже не пыталась скрыть свой ужас.

Тогда он и сам ужаснулся, поняв, сколь чудовищна была идея. Раскаялся, что предложил ее, помчался к отцу сказать, что это невозможно. Отец стал горько советовать на то, что богатство уже портит сына, делает бесчувственным и черствым; мать заплакала, сестры обвинили Джино в том, что он закрывает им путь в общество. Он просил прощения и пресмыкался, пока они не напали на Лилию. Тогда он набросился на них, объявил, что они неспособны понять английскую леди, его жену, и недостойны иметь с ней дело, и что в доме его будет один хозяин — он сам.

Лилия похвалила его, когда он вернулся, приласкала, называла храбрым мальчиком, героем и другими ласкательными именами. Однако он впал в мрачное настроение, когда его клан с большим достоинством покидал Монтериано — достоинством, которое ничуть не убавил врученный им чек. Они забрали чек с собой, но совсем не в Поджибонси, а в Эмполи — оживленный пыльный городок милях в двадцати от Монтериано. Там они с комфортом и обосновались. Но сестры Джино утверждали, будто он их туда загнал.

Чек, естественно, исходил от Лилии, которая постоянно проявляла щедрость и охотно соглашалась водить знакомство со всеми родными, только бы не жить с ними вместе, так как близкие родственники мужа действовали ей на нервы. Больше всего ей нравилось разыскивать каких-нибудь дальних, позабытых свойственников и разыгрывать перед ними госпожу Щедрость. Потом она удалялась, оставляя после себя недоумение и, еще чаще, недовольство. Джино не мог понять, поче-

му все его родственники, прежде такие приветливые, сделались плаксивыми и неприветливыми. Он приписал это величю своей супруги, в сравнении с которой остальные смертные казались заурядными. Деньги быстро таяли, несмотря на то, что жизнь была дешевой. Лилия оказалась даже богаче, чем он ожидал. Он со стыдом вспоминал, как однажды пожалел, что не может взять тысячу лир, предложенную Филипом. Да, то была бы недальновидная сделка.

Лилии понравилась ее жизнь в новом доме: ничего не делать, только отдавать приказания улыбающейся прислуге через преданного мужа, выполняющего роль толмача. Она послала миссис Герритон развязное письмо с описанием своего счастья. Ответила ей Генриетта: а) всякая переписка между ними впредь будет поддерживаться только через поверенных; б) не вернет ли Лилия шкатулку с инкрустацией, данную ей на время (а не подаренную) для платков и воротничков?

— Посмотри, чего я лишаясь, выйдя за тебя замуж! — сказала Лилия Джино. Она никогда не пропускала возможности подчеркнуть, что снизошла до него.

Он думал, что она имеет в виду шкатулку, и посоветовал не отсылать ее обратно.

— Глупый, я говорю про жизнь. У Герритонов очень хорошие связи. Они занимают ведущее положение в состонском обществе. Но к чему мне все это, раз у меня есть мой глупенький мальчик!

Она обращалась с ним, как с ребенком (а он и был ребенком) и как с несмысленным, чего про него никак нельзя было сказать. Свое превосходство над ним она считала столь неоспоримым, что упускала случай за случаем утвердить свою власть. Раз он красив и ленив, значит, неумен, рассуждала она. Беден, значит, никогда не осмелится порицать свою благодетельницу. Страстно влюблен — следовательно, она вольна поступать, как захочет.

«Может, это и не райское блаженство, — думала она, — но все лучше, чем Чарлз».

А тем временем мальчик изучал ее и вырослел. Чарлз напомнил о себе неприятным письмом от поверенного, где ей предлагалось выделить крупную сумму для Ирмы в соответствии с завещанием ее покойного мужа. Вполне в духе недоверчивого Чарлза было

принять меры против вторичного замужества. Джино тоже возмутился, и они вместе сочинили язвительный ответ, который не возымел действия. Джино заявил, что Ирме лучше переехать к ним.

— Воздух здесь здоровый, пища тоже. Ей тут будет хорошо, и нам не придется отдавать деньги.

Но у Лилии не хватило смелости даже заикнуться об этом Герритонам, ее вдруг охватил ужас при мысли, что Ирме или любому другому английскому ребенку придется воспитываться в Монтериано.

Джинно был необычайно удручен письмами поверенного, удручен больше, чем, по мнению Лилии, было уместно. В доме ему уже нечего было делать, и он целые дни проводил в лоджии, облокотясь на парапет или сидя на нем верхом с несчастным лицом.

— Ах ты лодырь!— как-то воскликнула она, ущипнув его за мускулистую шею.— Пойди поиграй в паллоне.

— Я женат,— ответил он, не подняв лица.— Больше я в игры не играю.

— Пойди повидай друзей.

— Теперь у меня нет друзей.

— Глупый ты, глупый! Нельзя же сидеть взаперти весь день!

— Я никого, кроме тебя, не хочу видеть,— он сплюнул на оливковое дерево.

— Перестань, Джино, не говори глупостей. Пойди повидайся с друзьями и приведи их в гости. Мы же с тобой любим общество.

Он озадаченно посмотрел на нее, но дал себя уговорить, ушел, обнаружил, что друзья не забыли его, и вернулся через несколько часов в приподнятом настроении. Лилия поздравила себя с умением обращаться с ним.

— Я уже готова принимать гостей,— сказала она.— Я намерена встряхнуть Монтериано, как встряхнула Со-стон. Приведи сколько хочешь мужчин, а они пусть берут с собой своих жен и сестер. Я собираюсь устраивать чай по-английски.

— Тут есть моя тетка с мужем. Но мне казалось, что тебе не хочется принимать моих родственников.

— Никогда ничего подобного я не...

— Да, но ты была бы права,— возразил он горячо.— Они тебе не компания. Многие занимаются торговлей,

да и наша семья немногим лучше. Тебе нужны люди воспитанные и знатные.

«Бедняжка,— подумала Лилия,— как печально вдруг понять, что твоя родня вульгарна».

И она принялась уверять, что любит дурашку ради него самого. Он покраснел и стал щипать свои усики.

— Но, кроме твоих родственников, я хочу видеть и других людей. Ведь есть же у твоих приятелей жены и сестры?

— Да, конечно, но я едва знаю их.

— Не знаешь жен и сестер своих друзей?

— Ну да. Если они бедны и вынуждены где-то работать, то я еще могу их встретить, а так... Правда, бывали случаи...— Он спохватился и замолчал.

Был такой случай, что его познакомили с одной молодой особой в матримониальных целях. Приданое оказалось недостаточным, и знакомство тем и кончилось.

— Как забавно! Вот я и хочу все изменить. Ты приведишь к нам своих друзей, а я заставлю их привести своих родных.

Он с некоторой безнадежностью взглянул на нее.

— Вот скажи, кто у вас видные люди? Кто возглавляет общество?

Он полагал, что комендант тюрьмы и его помощники.

— Так, а они женаты?

— Да.

— Вот видишь. Ты их знаешь?

— Да... в каком-то смысле...

— Понятно!— негодуяще воскликнула она.— Они относятся к тебе свысока, не так ли?— Он кивнул.— Бедняжка! Но подожди! Я скоро положу этому конец. Ну, еще кто?

— Иногда наезжает маркиз. Потом каноники коллегиальной церкви.

— Женаты?

— Каноники...— начал он, и в глазах его заиграли лукавые огоньки.

— Ах да, я забыла про ваш ужасный обет безбрачия. А в Англии священники стоят в центре всей жизни. Но все равно, отчего бы мне с ними не познакомиться? Может быть, будет проще, если я нанесу всем визиты? Разве не так у вас делается?

Он выразил сомнение в том, что так будет проще.

— Но должна же я быть с кем-то знакома! Что это за люди, с которыми ты сегодня разговаривал?

Люди низкого происхождения. Он и имен-то их не помнит.

— Джино, милый, зачем же ты тогда с ними разговариваешь? Разве тебя не заботит твое общественное положение?

Но Джино теперь заботился только о карманных деньгах и о том, чтобы проводить время в праздности. Выразил он это следующим образом:

— Уф! До чего жарко. Дышать нечем. Я весь вспотел. Умираю. Надо освежиться, а то мне сегодня будет не заснуть.

И, оборвав таким образом разговор, он выбежал в лоджию, растянулся на парапете под безмолвным звездным небом и принялся курить и плевать.

Лилия все-таки сделала вывод, что общество на континенте совсем не так свободно от предрассудков, как она воображала. Да она, собственно, пока и не видела никакого общества. Италия — восхитительная страна, если ты родился мужчиной. Тогда можешь наслаждаться такой утонченной роскошью, как социализм — тот социализм, который основан не на равенстве дохода или репутации, а на равенстве образа жизни. Демократия кафе и улиц разрешила величайший вопрос нашего времени, и братство сделалось реальностью. Но касается это только братства мужского и достигнуто оно за счет братства женщин. Почему бы не познакомиться и не подружиться с соседом в театре, со спутником в поезде, если знаешь, что между вами не встанет ни женское осуждение, ни женская интуиция, ни женское предубеждение? Да подружись вы, как Давид и Ионафан, — все равно вам незачем ходить друг к другу в дом. Всю жизнь вы будете встречаться под открытым небом, единственной крышей на юге, и ваш друг будет плевать куда попало и божиться, а вы — неправильно произносить трудные слова, но хуже вы относитесь друг к другу не станете.

Что же касается женщин, то у них, конечно, есть дом, церковь с прекраснейшими богослужениями, туда они могут ходить сколько душе угодно, и сопровождает их служанка. Вообще же они редко выходят на улицу, ибо ходить пешком неблаговоспитанно, а держать экипаж вы не в состоянии. Изредка вы ведете их в кафе

или в театр, и тогда все ваши прежние знакомые бегут от вас, как от чумы,— все, кроме тех немногих, кто рассчитывает жениться с вашего согласия на ком-нибудь из вашей семьи. Все это довольно невесело. Но остается одно утешение: для мужчины жизнь в Италии — сплошное удовольствие.

До сих пор Джино не мешал Лилии поступать, как она хочет. Она была настолько старше его и богаче, что он смотрел на нее как на существо высшее, подчиняющееся совсем иным законам. Он не особенно удивлялся ее привычкам, так как в Италию через Альпы уже доносились чудные слухи о странах, где у мужчин и у женщин одинаковые развлечения и интересы, и он часто встречал привилегированных маньячек — туристов, совершающих одинокие прогулки. Лилия тоже совершала прогулки в одиночестве, и как раз на этой неделе какой-то бродяга отнял у нее часы. Хотя подобный эпизод считается неотъемлемой принадлежностью Италии, на самом деле это случается в Италии реже, чем на Бонд-стрит. По мере того как Джино узнавал Лилию лучше, он неизбежно утрачивал благоговение перед ней. Надо же быть до такой степени глупой, чтобы дать украсть у себя золотые часы с цепочкой! Сейчас, лежа на парапете, Джино впервые задумался о той ответственности, какую налагает семейная жизнь. Он обязан оберегать жену от опасностей как физических, так и нравственных,— в конце концов, она всего только женщина.

«А я,— размышлял он,— хоть и молод, но мужчина, и знаю, что правильно».

Она все еще сидела в их общей комнате и расчесывала волосы (по природе своей неряшливая, она не считала нужным стесняться Джино)

— Ты не должна гулять одна,— сказал он мягко.— Это опасно. Захочешь погулять — с тобой пойдет Перфетта.

Перфетта, смиренная родственница, вдова без малейших честолюбивых замыслов, жила с ними в качестве доверенной служанки.

— Ну, хорошо, хорошо,— улыбнулась Лилия, как будто обращалась к котенку, вдруг проявившему заботливость. И все же, за одним исключением, она до самой своей смерти больше никогда не гуляла в одиночестве.

Дни шли. Никто, кроме родственников, не навещал ее. Она начала скучать. Неужели он не знаком с городским

головой или с управляющим банком? Она готова была принимать даже хозяйку гостиницы «Стелла д'Италия». Когда Лилия делала выход в город, ее принимали любезно, но людям как-то затруднительно иметь дело с леди, которая не может научиться их языку. А чаепития, благодаря умелым маневрам Джино, все отдалялись и отдалялись.

Он беспокоился, не мучается ли она оттого, что не нашла для себя никакого занятия в доме. Но его утешил нежданно явившийся желанный гость. Как-то во второй половине дня он шел за почтой (почту доставляли и домой, но сходить за письмами занимало куда больше времени). Кто-то в шутку набросил ему на голову плащ, и когда он выпутался, то увидел своего закадычного друга, Спиридионе Тези из таможни в Кьяссо, которого не видел два года. То-то было радости, приветствий! Все прохожие одобрительно улыбались при виде таких проявлений нежной дружбы. Брат Спиридионе служил начальником станции в Болонье, и Спиридионе мог проводить отпуск, путешествуя по Италии за государственный счет. Услыхав, что Джино женился, он по дороге завернул в Монтериано, хотя вообще-то ехал в Сиену, где недавно женился его дядя.

— Все вокруг женятся! — воскликнул он. — Кроме меня! — ему не было еще двадцати трех. — Ну, расскажи еще. Значит, она англичанка. Это хорошо, очень хорошо. Английская жена — это то, что нужно. Она богата?

— Невероятно.

— Блондинка или брюнетка?

— Блондинка.

— Да что ты говоришь?

— Я очень доволен, — простодушно объяснил Джино. — Если помнишь, мне всегда хотелось блондинку.

Подшли еще трое или четверо мужчин и остановились послушать.

— Всем хочется блондинку, — ответил Спиридионе. — Но ты, Джино, заслужил свое счастье, потому что ты хороший сын, храбрый солдат и верный друг. С первой нашей встречи я желал тебе только удачи.

— Прошу тебя, довольно похвал, — остановил его Джино. Он стоял скрестив руки на груди и довольно улыбаясь.

Спиридионе обратился к окружающим, которых видел впервые в жизни:

— Разве не так? Разве он не заслужил богатую блондинку?

— Заслужил! — хором ответили мужчины.

Чудесная страна Италия, как бы вы к ней ни относились.

Писем не оказалось и они, естественно, зашли в кафе «Гарибальди» близ коллегиальной церкви — вполне сносное кафе для такого небольшого городка. Там имелись столики с мраморными столешницами, колонны, терракотовые внизу и золоченые наверху, на потолке фрески, изображающие битву при Сольферино. Прелестное кафе, лучше и желать нельзя. Они заказали вермут и булочки, облитые сахаром, долго выбирали их у прилавка, пощипывая, чтобы убедиться, что они свежие. И хотя вермут — вино и так некрепкое, Спиридионе разбавил его содовой, чтобы оно не бросилось в голову.

Они были в самом отличном расположении духа, то награждали друг друга изысканными комплиментами, то валяли дурака, подталкивая друг друга локтями. Потом положили ноги на сиденья соседних стульев и закурили.

— Скажи мне, — проговорил Спиридионе, — я забыл спросить — она молода?

— Ей тридцать три года.

— Не бывает, чтоб во всем повезло.

— Ты бы не дал ей столько. Скажи она мне — двадцать восемь, я бы поверил.

— *Simpatica*? — Перевести это слово невозможно.

Джино поковырял сахар и, помолчав, ответил:

— Более или менее.

— Это самое главное.

— Она богата, щедра, приветлива, с нижестоящими обращается без высокомерия.

Они опять помолчали.

— Этого недостаточно, — заметил Спиридионе. — *Simpatica* — нечто большее, — он понизил голос. — В прошлом месяце один немец вез контрабандные сигары, предлагал мне. В таможне было темно. Но я отказался, он мне не понравился. Подарки таких людей не приносят удачи. *Non era simpatico*. Он не был симпатичный. Пришлось ему уплатить за каждую сигару отдельно и штраф за обман.

— Много ты зарабатываешь сверх жалованья? — спросил Джино, отвлекшись от прежней темы.

— Пустячных сумм я теперь не беру, не стоит риска. Но с немцем — случай особый. Послушай, Джино, я старше тебя, у меня больше опыта. Когда человек понимает нас с полуслова, никогда нас не раздражает и не наскучивает, когда ему можно излить все наши мысли и желания и не только вслух, но и молча, без слов, — такого человека я называю «simpatico».

— Я знаю, есть такие мужчины, — согласился Джино. — Говорят, есть такие дети. Но где ты найдешь такую женщину?

— Верно. Тут ты оказался умней меня. Sono poco simpatiche le donne¹. А сколько мы тратим на них времени!

Спиридионе сокрушенно вздохнул, словно его обременяло благородство пола, к которому он принадлежал.

— Одну я такую, может быть, и видел, — заметил Джино. — Говорила она мало, но видно, что настоящая леди, не такая, как все. Тоже англичанка, компаньонка моей жены. Но фра Филиппо, деверь жены, увез ее с собой. Я видел, как они уезжали. Он был очень сердит.

Джинно стал рассказывать о своей волнующей тайной женитьбе, и — они посмеялись над незадачливым Филиппом, проехавшим всю Европу, чтобы помешать браку.

— Я только сожалею, — добавил Джино, когда они насмеялись всласть, — что я повалил фра Филиппо на кровать. Он такой высокий, важный! А когда я развеселюсь, я забываю про вежливость.

— Ты его никогда больше не увидишь, — заметил Спиридионе, кладезь житейской мудрости. — Он, наверное, уже забыл про тот случай.

— Бывает, что такие вещи запоминаются надолго. Конечно, я его не увижу, но какая мне польза от того, что он обижен на меня? А если и забыл, то все равно жаль, что я повалил его тогда на кровать.

Так текла их беседа, то полная ребяческой непосредственности и трогательной рассудительности, то чудовищно непристойная. Тени терракотовых колонн удлинились, туристы, пробегавшие через колоннаду Палаццо

¹ Женщины мало привлекательны (итал.).

Публико мимо кафе, могли убедиться, как итальянцы праздно проводят свои дни.

При виде туристов Джино вспомнил еще кое-что.

— Я хочу с тобой посоветоваться, раз уж ты так близко принимаешь к сердцу мои дела. Жена хочет гулять в одиночестве.

Спиридионе был шокирован.

— Но я ей запретил.

— Само собой разумеется.

— Она никак не может понять. Иногда просит меня пойти вместе с ней. Идти гулять без всякой цели, просто так! Ты знаешь, она бы хотела, чтобы я весь день проводил с ней.

— Понятно, понятно, — Спиридионе наморщил лоб, соображая, как помочь другу. — Ее надо чем-нибудь занять. Она католичка?

— Нет.

— Жаль. Надо ее уговорить. Тогда это утешало бы ее, когда она остается одна.

— Я католик, но, конечно, никогда не хожу в церковь.

— Еще бы. Но все-таки для начала ты мог бы сводить ее туда. Именно так поступил со своей женой мой брат в Болонье. Он вступил в секту свободомыслящих, раза два свел ее туда сам, а потом это вошло у нее в привычку, и теперь она ходит без него.

— Превосходный совет, благодарю тебя. Но главное — она хочет приглашать на чай мужчин и женщин, которых она в глаза не видала.

— Какая нелепая затея! Ох уж эти англичане! Вечно у них чай на уме! Килограммами возят его в чемоданах. И до того глупы, что всегда укладывают чай поверх остальных вещей.

— Что же мне делать?

— Ничего не делать! Или пригласить меня!

— Пойдем! — Джино вскочил. — Она будет очень довольна.

Бойкий молодой человек зарделся.

— Я ведь пошутил.

— Знаю. Но она хочет, чтобы я приводил друзей. Пойдем сейчас же! Официант!

— Раз я пойду пить к тебе чай, — запротестовал Спиридионе, — платить по счету должен я.

— Ничего подобного. Ты в моем городе!

Последовал долгий спор, в нем принимал участие официант, предложивший несколько выходов из положения. В конце концов восторжествовал Джино. Счет свелся к восьми с половиной пенсам, да полпенса официанту, итого девять пенсов. Последовал поток благодарных слов с одной стороны и протестов с другой, и вдруг в разгар обмена учтивостями друзья взялись под руку и зашагали по улице, щекоча друг друга соломинками для лимонада.

Лилия была в восторге, Джино давно уже не видел ее такой оживленной. Чай отдавал сеном, они попросили позволения пить его из бокалов и отказались от молока. Но все-таки это было уже на что-то похоже, как она повторила несколько раз. У Спиридионе были очень приятные манеры. Когда его представили, он поцеловал ей руку, и так как благодаря своей профессии немного знал английский, то беседа не прерывалась.

— Вы любите музыку?— спросила она.

— Безумно,— ответил он. — Я не изучал ее серьезно, но люблю ее сердцем.

Так что она поиграла — и притом очень дурно — на расхлябанном пианино, а он спел — причем весьма недурно. Затем Джино принес гитару и тоже запел, сидя в лоджии. Словом, визит удался как нельзя лучше.

Джино сказал, что только проводит друга до его жилья. По дороге он заметил вскользь, просто, без малейшего недоброжелательства:

— Пожалуй, ты прав. Я больше не стану водить в дом людей. Не вижу, почему с английской женой надо обращаться не так, как с итальянской. Ведь мы в Италии.

— Ты очень умно говоришь! — воскликнул приятель. — Очень умно. Чем ценнее собственность, тем тщательнее следует ее охранять.

Они уже достигли дома, где остановился Спиридионе, но потом дошли до кафе «Гарибальди», где засиделись допоздна и восхитительно провели время.

IV

Раскаяние в содеянном иногда нарастает так постепенно, что невозможно сказать: «Вчера я была счастлива, сегодня несчастна». Ни на одну минуту Лилия не заподозрила, что ее замужество — ошибка. И тем не

менее летом и осенью она была несчастлива в той мере, в какой допускал ее характер. Не то чтобы муж обращался с ней плохо, бранил ее. Нет, он просто оставлял ее одну. Утром он уходил по делам. Насколько ей удалось выяснить, «дела» состояли в сидении в аптеке. Обычно он возвращался ко второму завтраку, после чего ложился вздремнуть. Вечером он опять оживал и дышал воздухом на городском валу. Обедал очкастенько не дома и редко возвращался раньше полуночи, а то и позже. Бывало, он надолго уезжал из города — в Эмполи, Сиену, Флоренцию, Болонью. Он обожал путешествовать и повсюду заводил друзей. Лилия не раз слыхала, что он очень популярен.

Она начала сознавать, что должна каким-то образом отстоять свои права, но не знала, как это сделать. Ее самоуверенность, которая помогла ей победить Филипа, постепенно убывала. Когда она покидала этот чужой для нее дом, она попадала в чужой город. Если бы, послушавшись мужа, она отправилась гулять по предместью, то ее окружила бы еще более чужая природа — обширные склоны холмов, покрытые оливковыми рощами и виноградниками, беленые фермы, а вдали снова склоны, оливы и фермы, и на горизонте, на фоне безоблачного неба, — другие провинциальные городишки.

— Какая же это природа? — говорила она. — Да в состонском парке куда больше дикости.

Дикости в этих склонах, действительно, было мало — их возделывали добрых две тысячи лет. Но все равно и такая природа была пугающей и загадочной, и Лилия так нервничала в этом чуждом ей окружении, что, против обыкновения, даже начала размышлять.

Размышляла она, главным образом, о своем замужестве. Церемония венчания была торопливой и дорогостоящей, обряды совсем не такие, как в англиканской церкви. Лилия не была по-настоящему религиозной, но порой ее по несколько часов подряд одолевал самый примитивный страх, она боялась, что вышла замуж «не по-настоящему» и что на том свете ее положение в обществе будет столь же невразумительным, как и в этом мире. Безопаснее было бы проделать все основательно, поэтому в один прекрасный день она последовала совету Спиридионе и приняла католичество или, как она

выразилась, веру в святую Деодату. Джино одобрил ее поступок, тоже считая, что так безопасней. Исповедоваться показалось ей забавно, хотя священник оказался глупый старик, и вообще вся затея явилась пощечиной родным в Англии.

Родные, кстати, отнеслись к этой пощечине очень трезво, да, собственно, мало кого это уже теперь волновало. Герритоны для нее как бы перестали существовать, ей даже не разрешили писать письма Ирме (хотя Ирме позволялось изредка писать матери). Миссис Теобалд все больше впадала в детство и, насколько вообще могла твердо стоять на ногах, твердо стала на сторону Герритонов. Мисс Эббот поступила так же. Ежедневно Лилия кляла свою вероломную подругу, которая сперва сказала, что брак все «образует» и Герритонам придется с ним примириться, а потом, при первом же намеке на противодействие, в панике сбежала в Англию. С мисс Эббот начинался длинный список тех, кому Лилия никогда не будет писать и кого нельзя простить. Чуть ли не единственный, кто в этом списке не значился, был мистер Кингкрофт, который неожиданно прислал ей нежное и участливое письмо. Поскольку Лилия была уверена, что уж он-то никогда не пересечет канал, она дала в ответном письме волю своему воображению.

Сперва она изредка встречалась с англичанами, так как Монтериано ведь не край света. Одна-две из любопытствующих туристок, которые еще в Англии прослышали о ее ссоре с Герритонами, нанесли ей визит. Лилия была очень оживлена, и дамы признали, что она чужда условностям, а он очарователен, так что все сошло превосходно. Но к маю туристский сезон закончился, и до следующей весны англичан не ожидалось. Как не раз справедливо говорила миссис Герритон, у Лилии не было «собственных ресурсов»: она не любила музыки, не любила читать, трудиться. Судьба выпустила ее в жизнь с одним удобным качеством — всегда приподнятым, хотя и неровным настроением, которое, смотря по обстоятельствам, оборачивалось либо недовольством, либо шумливостью. Она была нельзя сказать, чтобы покладиста, а скорее труслива, и Джино со всей возможной мягкостью, которой позавидовала бы и миссис Герритон, заставлял ее делать то, что хотел. Сперва ей даже нравилось подчиняться. Но она почувствовала себя уязвленной, когда поняла, что это не игра, и другим он

быть и не может. Воля у него была вполне сильная, когда он решал пустить ее в ход, и он без колебаний применил бы замки и засовы, чтобы принудить ее к послушанию. В нем скрывалось предостаточно жестокости, и однажды Лилия соприкоснулась с ней.

Речь шла все о тех же одиноких прогулках.

— Я всегда гуляла одна в Англии.

— Здесь Италия.

— Да, но я тебя старше, я и решаю.

— А я твой муж, — ответил он, улыбаясь.

Они как раз покончили со вторым завтраком, и ему хотелось спать. Его было никак не вывести из благодушного состояния. Наконец Лилия, совсем рассердившись, заявила:

— Зато деньги мои.

Вид у него сделался испуганный. Теперь настал момент самоутвердиться. Она повторила ту же фразу. Он встал со стула.

— И изволь быть повежливее, — продолжала она, — а то вряд ли тебе придется по вкусу, если я перестану выписывать чеки.

Она не очень-то умела читать в мыслях, но тут не на шутку встревожилась. Как она потом рассказывала Перфетте: «На нем и одежда вся как-то перекосилась — стала где велика, где мала».

Исказилось не столько лицо, сколько фигура. Плечи пригнулись вперед, так что пиджак на спине пошел складками и рукава сделались коротки. Руки как будто выросли. Он обогнул стол и двинулся к ней, она отпрыгнула и выставила перед собой стул, напуганная до того, что не могла ни убежать, ни заговорить. Он уставился на нее круглыми неподвижными глазами и медленно протянул к ней левую руку.

Послышались шаги Перфетты. Он очнулся и, повернувшись, молча ушел в свою комнату.

— Что с ним? — вскрикнула Лилия, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок. — Он болен... болен.

Перфетта, выслушав неполное описание происшедшего, с подозрением посмотрела на Лилию.

— Что вы ему сказали? — Перфетта перекрестилась.

— Ничего особенного, — ответила Лилия и тоже перекрестилась.

Так обе женщины отдали дань почтения своему разгневанному господину.

Таким образом, Лилии стало ясно, что Джино женился на ней ради денег. Но испуг ее был так силен, что для презрения не осталось места. Раскаяние его тоже было пугающим, он и сам струсил, просил у нее прощения, валялся в ногах, обнимал, бормотал: «Я был не я», пытался определить чувства, которых не понимал. Он не выходил из дому три дня, совершенно больной, разбитый физически. Но раскаяние раскаянием, а он укротил ее, и больше она не повторяла своей угрозы.

Быть может, он держал ее строже, чем того требовали обычаи. Но он был очень молод и не желал, чтобы говорили, будто он не умеет обращаться с леди или справляться с женой. К тому же собственное его положение в обществе было в высшей степени неопределенным. Даже в Англии зубной врач — несносное существо, которое с трудом поддается классификации. Дантист есть что-то среднее между специалистом и ремесленником, он стоит чуть пониже врача, то ли где-то среди аптекарей, то ли еще ниже. Сын итальянского зубного врача прекрасно понимал это. Самому ему было все равно, он заводил знакомства с кем хотел, ибо ему выпала удача родиться великолепным гордым созданием — мужчиной. Но жене его лучше было не общаться ни с кем, чем общаться с кем попало. Уединение — вот что достойно и надежно. Произошла короткая схватка между социальными идеалами севера и юга, и юг победил.

Было бы похвально, если бы он был так же строг к себе. Но он ни разу не задумался о том, чтобы быть последовательным в этом вопросе. Его нравственность ничем не отличалась от нравственности любого заурядного южанина; попав благодаря женитьбе в положение джентльмена, он не понимал, почему бы ему не продолжать вести себя, как южанину. Конечно, будь Лилия иной, утверди она свои права, приberi его к рукам, он, быть может (хотя едва ли), стал бы ей хорошим мужем и хорошим человеком. Во всяком случае, он вполне мог бы усвоить позицию англичанина, чьи нормы поведения выше, чем у итальянца, даже тогда, когда повадки те же. Но будь Лилия иной, она, вероятно, и не вышла бы за него замуж.

Его неверность, которую она открыла по чистой случайности, уничтожила те крохи самоудовлетворения, которые оставила ей жизнь. Это открытие окончательно

сломило ее, она рыдала и билась в объятиях у добро-сердечной Перфетты. Перфетта отнеслась к ней сочувственно, но предупредила, чтобы Лилия остерегалась упрекать Джино, а то он разбушует. Лилия согласилась с ней отчасти потому, что боялась его, отчасти потому, что то был единственный способ сохранить свое достоинство. Ради него она пожертвовала всем: дочерью, родными, друзьями, удобствами и преимуществами цивилизованной жизни. Теперь, если бы она даже нашла в себе мужество порвать с Джино, ее никто не принимал бы. Герритоны постарались так навредить ей в общественном мнении, что все ее друзья постепенно отошли от нее. Оставалось жить смиренно, стараться заглушить в себе все чувства и своей веселостью попробовать исправить отношения. «Может быть, если родится ребенок, — думала она, — Джино изменится. Он так хочет сына».

Лилия вопреки себе поднялась на трагическую высоту, ибо есть ситуации, при которых вульгарность отступает. Лилия сравнялась в наших глазах с Корделией и Имогеной.

Она часто плакала, отчего делалась некрасивой и постаревшей, к немалому огорчению своего супруга. Чем реже он ее видел, тем ласковее вел себя, и она принимала его ласковость без обиды, даже с благодарностью, — такой она стала покорной. Она не испытывала к нему ненависти, как прежде не испытывала любви. Лишь когда она бывала возбуждена, проявлялась видимость того или иного чувства. Ее считали своевольной, но, в сущности, глупость делала ее холодной.

Страдание, однако, мало зависит от темперамента, и едва ли умнейшая из женщин страдала бы больше, чем Лилия.

Что касается Джино, то мальчишеское в нем не исчезало, и он нес свои грехи, как перышко. Излюбленным его высказыванием было: «Э-э, каждый должен жениться. Спиридионе неправ, надо его переубедить. Только когда женишься, по-настоящему оценишь все удовольствия и возможности, которые предоставляет жизнь».

С этими словами он надевал фетровую шляпу, заламывал ее столь же безошибочно в нужном месте, как безошибочно немец заламывает шляпу не там, где надо, и уходил из дому.

Как-то вечером, оставшись опять одна, Лилия не вытерпела. Стоял сентябрь. Состон в это время как раз заполнялся людьми после летних вакаций. Соседи забегали друг к другу. Происходили велосипедные гонки. Обычно тридцатого миссис Герритон устраивала в саду ежегодный базар в пользу церковно-миссионерского общества. И представить себе было невозможно, что где-то существует такая свободная, счастливая жизнь. Лилия вышла в лоджию. Лунное сияние, звезды на бархатисто-лиловом небе. В такую ночь стены Монтериано — великолепное зрелище. Но окна дома выходили на другую сторону. В кухне чем-то гремела Перфетта. Чтобы спуститься вниз, надо было пройти мимо кухни. Но если подняться по лестнице на чердак, куда никогда никто не заглядывал, и отпереть дверь, то попадаешь на квадратную террасу на холме за домом. Там можно было погулять десять минут на свободе в одиночестве.

Ключ лежал в кармане лучшего костюма Джино, того самого, английского покроя, который Джино никогда не надевал. Ступеньки заскрипели, ключ заскрежетал, но Перфетта становилась глуховата. Крепостные стены были прекрасны, но их покрывала тень. Чтобы увидеть их в лунном свете, нужно было выйти на другую сторону города. Лилия с беспокойством оглянулась на дом и — пустилась в путь.

Идти было легко, за валом шла тропинка. Встречные вежливо желали ей доброй ночи. Она не надела шляпы, и ее принимали за крестьянку. И вот она уже очутилась с той стороны, где стены освещались луной и грубые башни превратились в колонны из серебра с чернью, а вал — в жемчужную цепь. Она не очень глубоко чувствовала красоту, но была сентиментальной и потому заплакала, — тут, где высокий кипарис прерывал монотонное кольцо олив, сидела она с Джино мартовским днем, положив ему голову на плечо, а Каролина сосредоточенно рисовала пейзаж. За углом находились Сиенские ворота, оттуда начиналась дорога в Англию. Лилия слышала гроыхание дилижанса, который поспевал к ночному поезду в Эмполи. В следующую минуту дилижанс поравнялся с ней, так как дорога сворачивала сюда перед тем, как начать долгий извилистый путь под уклон.

Возница придержал лошадей и пригласил ее сесть. Он не знал, кто она, и думал, что ей нужно на станцию.
— Non vengo! ¹ — отозвалась она.

Он пожелал ей доброй ночи и стал поворачивать. Она увидела, что дилижанс пуст.
— Vengo... ²

Голос ее прервался, кучер не услышал. Лошади пошли ровным шагом.

— Vengo! Vengo!

Возница запел и не расслышал ее. Она побежала за экипажем, крича, чтобы кучер остановился, что она поедет, но громыхание колес заглушило ее крики, расстояние между нею и дилижансом все увеличивалось. В лунном свете спина возницы казалась черной и квадратной. Обернись он на миг — и она была бы спасена. Она бросилась прямо по склону, срезая поворот, спотыкаясь о крупные, твердые, как камни, комья земли, валявшиеся между неизменными оливами. Лилия опоздала: дилижанс успел с грохотом промчаться мимо, вздымая удушливые клубы пыли. Больше она не кричала, так как вдруг почувствовала дурноту и потеряла сознание. Очнулась она посреди дороги. Она лежала в пыли, пыль набилась ей в глаза, в рот, в уши. Почему-то пыль ночью кажется очень страшной.

— Что я буду делать? — простонала она. — Как он рассердится!

И, окончательно сдавшись, она медленно побрела обратно в плен, отряхивая на ходу платье.

Ей снова не повезло. То был один из редких вечеров, когда Джино явился домой рано. Он бушевал на кухне, выкрикивал бранные слова и швырял тарелки. Перфетта рыдала в углу, накинув на голову фартук. Увидев Лилию, он обрушил на нее поток разнообразных упреков. На этот раз он рассвирепел гораздо больше, чем в тот день, когда молча надвигался на нее из-за стола, но был совсем не так страшен. И на этот раз Лилия почерпнула из своей нечистой совести больше храбрости, чем когда-либо из чистой. Ее охватило возмущение, она больше не боялась его и, видя в нем жестокого, недостойного, лицемерного, беспутного выскочку, не осталась

¹ Не поеду! (итал.).

² Поеду (итал.).

в долгу. Перфетта только вскрикивала, ибо Лилия отвела душу, высказав все — все, что знала о нем и что про него думала. Он стоял пристыженный, разинув рот. Весь его гнев улетучился, он чувствовал себя дураком. Он оказался по всем правилам прижат к стенке. Где это видано, чтобы муж так глупо попался? Когда она кончила, он словно онемел, потому что она говорила правду. Но вдруг до него дошла нелепость его положения, и он — увы! — захохотал, как если бы увидел все это на сцене.

— Тебе... смешно? — запинаясь, выдавила из себя Лилия.

— Ну как тут удержаться? — воскликнул он. — Я-то думал, ты ничего не знаешь, не замечаешь... я обманул-ся... я побежден. Сдаюсь, не будем больше об этом говорить.

И, тронув ее за плечо, как добрый товарищ, от души забавляющийся и в то же время раскаивающийся, он с улыбкой выбежал из комнаты, бормоча что-то себе под нос.

Перфетта разразилась поздравлениями.

— Какая вы храбрая! И какая удача! Он больше не сердится! Он простил вас!

Ни Перфетта, ни Джино, ни сама Лилия так и не поняли, почему же дальше все сложилось столь неудачно. До самого конца он был уверен, что ласковое обращение и немножко внимания с легкостью поправят дело. Жена его была вполне обыкновенная женщина, почему бы ее понятиям не совпадать с его собственными? Никто из них не догадался, что столкнулись не просто разные индивидуальности, а разные нации. Многочисленные поколения предков, и хороших, и плохих, и средних, не позволяли итальянцу рыцарственно относиться к северной женщине, а северянке простить южанина. Все это можно было предвидеть, и миссис Герритон предвидела это с самого начала.

Пока Лилия гордилась своими высокими принципами, Джино простодушно удивлялся, почему она не хочет помириться с ним. Он ненавидел все неприятное, жаждал сочувствия, но не решался жаловаться кому-нибудь в городе на семейные неурядицы, боясь, как бы их не приписали его неопытности. Он поделился своими проблемами со Спиридионе, и тот прислал философское

письмо, помощи от которого было мало. Другой близкий друг, на которого Джино уповал больше, отбывал военную службу в Эритрее или где-то в столь же отдаленном пункте. Было бы слишком долго объяснять ему все в письме. Да и какой прок от писем? Письмо не заменит друга.

Лилия, во многом похожая на своего мужа, тоже жаждала мира и сочувствия. В тот вечер, когда он посмеялся над ней, она в каком-то чаду схватила бумагу и перо и села писать страницу за страницей, разбирая его характер, перечисляя недостатки, пересказывая целиком их разговоры, прослеживая причины своего несчастья... Она задыхалась от волнения, писала почти не думая, еле различая написанное, но тем не менее достигла такого пафоса, такой высоты стиля, что ей мог бы позавидовать опытный стилист. Письмо было написано в форме дневника, и, лишь закончив его, Лилия поняла, для кого писала.

«Ирма, родная Ирма, письмо это тебе. Я чуть не забыла, что у меня есть дочь. Письмо огорчит тебя, но я хочу, чтобы ты знала все. Чем раньше ты об этом узнаешь, тем лучше. Да благословит и сохранит тебя бог, моя драгоценная. Да благословит он твою несчастную мать».

К счастью, письмо попало в руки миссис Герритон. Она перехватила его и вскрыла у себя в спальне. Минута промедления — и безмятежное детство Ирмы было бы отравлено навсегда.

Лилия получила короткую записку, написанную Генриеттой, где матери еще раз запрещалось писать прямо к дочери и в конце выражалось формальное соболезнование. Лилия была вне себя от горя.

— Спокойнее, спокойнее! — уговаривал ее муж. Они сидели вдвоем в лоджии, когда пришло письмо. Он теперь просиживал возле нее часами, озадаченно глядя на нее, но ни в чем не раскаиваясь.

— Пустяки, — она вошла в комнату, порвала записку и села писать другое письмо, очень короткое, суть которого сводилась к «приди и спаси меня».

Не слишком приятно видеть, как жена твоя пишет кому-то письмо и плачет, особенно если сознаешь, что, в общем, обращаешься с ней разумно и ласково. Не очень приятно, заглянув ей случайно через плечо,

увидеть, что она пишет мужчине. И не стоит грозить мужу кулаком, выходя из комнаты и думая, что он целиком поглощен сигарой.

Лилия сама отнесла письмо на почту, но в Италии так легко все уладить. Почтальон был приятелем Джино, и мистер Кингкрофт так и не получил письма.

Она перестала надеяться на перемены, заболела и всю осень пролежала в постели. Джино совершенно потерял голову. Она знала почему: он хотел сына. Ни о чем другом он теперь не мог ни говорить, ни думать. Стать отцом существа, подобного себе,—желание это властно завладело им, но он даже не очень отчетливо сознавал его властность, так как оно было его первым по-настоящему сильным желанием, первой пылкой мечтой. Влюбленность была для него всего лишь таким же преходящим физическим ощущением, какое вызывают солнечное тепло, прохлада воды — по сравнению с божественной мечтой о бессмертии. «Я продолжаюсь». Он ставил свечи святой Деодате, так как в трудные моменты жизни всегда делался религиозным; иногда шел в церковь и молился, обращая к святой Деодате неуклюжие, грубоватые просьбы простой души. Повинуясь порыву, он созвал всех родных, чтобы они скрасили ему это трудное время, и в затемненной комнате перед Лилией мелькали чужие лица.

— Любовь моя! — повторял он. — Бесценная моя, будь спокойна. Я никого не любил, кроме тебя.

И она, зная теперь все, кротко улыбалась, сломленная, не в силах ответить язвительно.

Перед самыми родами он поцеловал ее и сказал: — Всю ночь я молился, чтобы родился мальчик.

Незнакомая нежность вдруг шевельнулась в ее груди, и она ответила слабым голосом:

— Ты и сам мальчик, Джино.

И он проговорил:

— Значит, мы будем братьями.

Он лежал на полу, прижавшись головой к дверям ее комнаты, точно пес. Когда из комнаты вышли, чтобы сообщить ему радостную весть, он был почти без сознания, лицо его было залито слезами.

Кто-то сказал Лилии:

— Превосходный мальчик!

Но она, дав сыну жизнь, умерла.

В то время, когда умерла Лилия, Филипу Герритону было двадцать четыре года, — весть о ее смерти достигла Состона как раз в день его двадцатичетырехлетия. То был высокий молодой человек хилого сложения; для того чтобы он сносно выглядел, пришлось благоразумно подбить плечи у его пиджаков. Он был скорее дурен собой, в лице его странным образом смешались удачные и неудачные черты. Высокий лоб, крупный благородный нос, в глазах наблюдательность и отзывчивость. Но ниже носа — полная неразбериха, и те, кто считал, что судьбу определяют рот и подбородок, глядя на Филипа, покачивали головами.

Будучи мальчиком, Филип остро сознавал эти свои недостатки. Еще в школе, когда, бывало, его дразнили и задирали, он убегал в дортуар, долго изучал свое лицо в зеркале, вздыхал и говорил: «Слабовольное лицо. Никогда мне не пробить себе дороги в жизни». С годами, однако, он стал то ли менее робок, то ли более самодоволен. Он обнаружил, что в мире для него, как и для всех, найдется укромное местечко. Твердость характера могла прийти позднее, а возможно, ей просто не было еще случая проявиться. Он по крайней мере обладал чувством красоты и чувством юмора — двумя весьма ценными качествами. Чувство красоты развилось раньше. Из-за него в двадцатилетнем возрасте Филип носил пестрые галстуки и мягкую фетровую шляпу, опаздывал к обеду оттого, что любовался закатом, и заразился любовью к искусству, начиная с Берн-Джонса и кончая Праксителем. В двадцать два года он побывал в Италии вместе с какими-то родственниками и там вообрал в себя как единое эстетическое целое — оливы, голубое небо, фрески, сельские постоянные дворы, святых, крестьян, мозаики, статуи и нищих. Он вернулся домой с видом пророка, который либо преобразует Состон, либо отвергнет его. Весь нерастраченный пыл и вся энергия довольно одинокой души устремились в одно русло — он стал поборником красоты.

Вскоре все это кончилось. Ни в Состоне, ни внутри самого Филипа ровно ничего не произошло. Он шокировал с полдюжины состонцев, вступал в перебранки с сестрой и спорил с матерью. И пришел к выводу, что сделать ничего нельзя, — он не знал, что любовь к истине

и просто человеческая любовь иногда одерживают победу там, где любовь к красоте терпит неудачу.

Несколько разочарованный, немного утомленный, но сохранивший свои эстетические идеалы, он продолжал жить безбурной жизнью, все более полагаясь на свой второй дар — чувство юмора. Если он и не мог преобразовать мир, то мог хотя бы осмеивать его, достигая таким путем интеллектуального превосходства. Он где-то вычитал, что смех — признак душевного здоровья, и уверовал в это. И он самодовольно смеялся, пока замужество Лилии не разбило в пух и прах его самодовольство. Италия, страна красоты, погибла для него навсегда. Она не в силах была сделать лучше людей, которые там жили, или их взгляды. Более того, на ее почве произрастали жадность, жестокость, глупость и, что еще хуже, вульгарность. На ее почве, под ее влиянием, глупая женщина вышла замуж за плебея. Филип возненавидел Джино за то, что тот погубил его жизненный идеал, и теперь свершившаяся убогая трагедия причинила ему муки — но муки не сочувствия, а окончательной утраты иллюзий.

Разочарование его было на руку миссис Герритон; она радовалась, что в это нелегкое для нее время семья сплотилась.

— Как вы думаете, должны мы надеть траур? — она всегда спрашивала у детей совета, если находила это нужным.

Генриетта полагала, что должны. Она безобразно третировала Лилию, пока та была жива, но считала, что мертвые заслуживают внимания и сочувствия.

— В конце концов, она страдала. После того письма я несколько ночей не спала. Вся эта история напоминает одну из отвратительных современных пьес, где нет правых. Если надеть траур, значит, надо сказать Ирме.

— Естественно, надо сказать Ирме! — вставил Филип.

— Естественно, — подтвердила мать. — Но все же незачем говорить ей о замужестве Лилии.

— Не согласен с тобой. И потом, она не могла чего-то не заподозрить.

— Надо полагать. Но она никогда не любила мать, и, кроме того, девятилетние девочки не умеют рассуждать логически. Она воображает, что мать уехала в длитель-

ную поездку. Важно, очень важно, чтобы девочка не испытала потрясения. Жизнь ребенка зависит от того идеального представления о родителях, какое у него сложилось! Разружьте этот идеал, и все пойдет прахом: нравственность, поведение — буквально все. Абсолютная вера во взрослых — вот на чем строится воспитание. Потому-то я и старалась никогда не говорить плохо о бедной Лилии при Ирме.

— Ты забываешь о младенце. Уотерс и Адамсон пишут, что там родился младенец.

— Надо сообщить миссис Теобалд, но она не в счет. Она дряхлеет с каждым днем. Даже не видится теперь с мистером Кингкрофтом. Я слыхала, что он, слава богу, утешился другой.

— Ведь когда-нибудь девочка должна узнать, — не сдавался Филип, раздосадованный сам не зная чем.

— Чем позднее, тем лучше. Она же все время развивается.

— А вы не боитесь, что все это может плохо сказаться?

— На Ирме? Почему?

— Скорее на нас. На нашей нравственности и нашем поведении. Не уверен, что постоянное утаивание правды повлияет на эти качества благотворно.

— Совершенно незачем все так выворачивать, — недовольно заметила Генриетта.

— Ты права, незачем, — решила мать. — Будем придерживаться главного. Ребенок тут ни при чем. Миссис Теобалд не станет ничего предпринимать, а нас это не касается.

— Но это, несомненно, повлечет разницу в деньгах, — заметил сын.

— Нет, дорогой, почти никакой. Покойный Чарлз предусмотрел в завещании любые случайности. Деньги перейдут к тебе и Генриетте как опекунам Ирмы.

— Превосходно. А итальянец что получит?

— Все деньги жены. Но тебе же известно, какую сумму это составляет.

— Отлично. Значит, наша тактика — не говорить о младенце никому, даже мисс Эббот.

— Вне всякого сомнения, такой путь будет самым правильным, — подтвердила миссис Герритон, заменив слово «тактика» на «путь» ради Генриетты. — И почему, собственно, мы обязаны говорить Каролине?

— Она как-никак замешана в это дело.

— Наивное существо. Чем меньше она об этом знает, тем лучше для нее. Мне ее очень жаль. Вот уж кто страдал и покаялся. Она буквально разрыдалась, когда я ей пересказала самую малость из того ужасного письма. Никогда не видела такого искреннего раскаяния. Простим ей и забудем. Не стоит ворошить прошлое. Не будем ее беспокоить.

Филип не усмотрел логики в рассуждениях матери, но почел за лучшее не поправлять ее.

— Отныне грядет Новая Жизнь. Помнишь мама, так мы сказали, когда проводили Лилию?

— Да, милый. Но сейчас действительно наступает новая жизнь, потому что мы все единокорны. Тогда ты еще был ослеплен Италией. Ее картины и церкви, безусловно, красивы, но судить о стране мы все-таки можем только по людям.

— К сожалению, это верно,— печально ответил он. И поскольку тактика была определена, пошел побродить в одиночестве.

К тому времени, когда он вернулся, произошли два важных события: о смерти Лилии сообщили Ирме, а также мисс Эббот, которая как раз зашла с подпиской в пользу бедных.

Ирма поплакала, задала несколько вполне разумных вопросов и много вполне бестолковых и удовлетворилась уклончивыми ответами. На счастье, в школе ожидалась раздача наград, и это событие вкупе с предвкушением нового траурного платья отвлекло ее от того факта, что Лилия, которой и так давно нет, теперь и вовсе не вернется.

— Что касается Каролины,— рассказывала миссис Герритон,— то я просто испугалась. Она была совершенно убита и ушла вся в слезах. Я утешала ее как могла, поцеловала ее. Теперь трещина между нами окончательно срослась.

— Она не задавала никаких вопросов? Я имею в виду, о причине смерти?

— Задавала. Но она изумительно деликатна. Заметив, что я о чем-то умалчиваю, она перестала спрашивать. Видишь ли, Филип, могу сказать тебе, то, чего не могла при Генриетте: у Генриетты совсем нет гибкости. Ведь мы не хотим, чтобы в Состоне прослышали

о ребенке. Всякий покой и уют будут утрачены, если нам начнут докучать расспросами.

Мать умела с ним обращаться: он горячо с ней согласился.

Несколько дней спустя, едучи в Лондон, он случайно попал в один вагон с мисс Эббот и все время испытывал приятное чувство оттого, что осведомлен лучше ее. В последний раз они вместе совершали путешествие из Монтериано через Европу. От путешествия у него осталось самое отвратительное воспоминание, и теперь, по ассоциации, Филип ожидал повторения того же.

Он был поражен. Мисс Эббот за то время, что они ехали от Состона до Черинг-кросса, обнаружила качества, которых он не мог у нее и заподозрить.

Не будучи по-настоящему оригинальной, она проявила похвальный ум, и, хотя по временам бывала бестактной и даже невежливой, он почувствовал, что перед ним личность, которую стоило бы развивать.

Сперва она раздражала его. Они поговорили, само собой разумеется, о Лилии, потом она вдруг прервала поток общих соболезнующих слов и сказала:

— Все это не только трагично, но и необъяснимо. И самое необъяснимое во всей этой истории — это мое поведение.

Впервые она упомянула о своем недостойном поведении.

— Не будем вспоминать об этом, — сказал он. — Все кончено. Не стоит ворошить прошлое. Из нашей жизни это ушло.

— Потому-то я и могу сейчас говорить свободно и рассказать вам все, что давно хотелось. Вы считали меня глупой, сентиментальной, безнравственной сумасбродкой, но вы и не представляете себе, до какой степени я виновата.

— По правде говоря, я давно об этом не думаю, — мягко возразил Филип.

Он и так знал, что натура она, в сущности, благородная и честная, она могла и не объяснять ничего.

— В первый же наш вечер в Монтериано, — упорно продолжала она, — Лилия ушла прогуляться одна, увидела итальянца в живописной позе на стене и влюбилась. Одежда на нем была поношенная, и Лилия тогда не знала еще и того, что он сын зубного врача. Надо вам сказать, за время нашего с ней путешествия я и

раньше сталкивалась с подобными вещами, раза два мне уже приходилось отгонять от нее поклонников.

— Да, именно на вас мы и рассчитывали,— с неожиданной резкостью проговорил Филип (в конце концов, сама напросилась).

— Знаю, — ответила она так же резко. — Лилия виделась с ним еще несколько раз, и я поняла, что пора вмешаться. Как-то вечером я позвала ее к себе в спальню. Она испугалась, так как знала, о чем пойдет речь и как я умею быть строга. «Вы его любите? — спросила я.— Да или нет?» Она ответила: «Да».— «Почему бы вам не выйти за него замуж, если вы уверены, что будете с ним счастливы?»

— Вот как? Вот как? — взорвался Филип, будто сцена эта произошла лишь накануне.— Вы много лет знали Лилию. Не говоря уже обо всем прочем — разве способна она решить, будет она счастлива или нет?

— А вы хоть раз дали ей решить самой? — вспыхнула мисс Эббот. — Простите, я, кажется, вам нагрубила,— добавила она, стараясь сдержаться.

— Скажем, вы неудачно выразились,— проговорил Филип, всегда прибегавший к сухой саркастической манере, когда бывал сбит с толку.

— Дайте мне кончить. На другое утро я разыскала синьора Кареллу и задала ему тот же вопрос. Он... словом, он изъявил полную готовность. Вот все.

— А телеграмма? — Филип с презрительным видом уставился в окно.

До сих пор голос ее звучал жестко, то ли из самобичевания, то ли из самозащиты. Сейчас в голосе слышалась несомненная печаль.

— Ах да, телеграмма! То был дурной поступок. И виновата тут больше Лилия. Она струсила. Надо было сообщить правду. Но, солгав, я совсем растерялась. На станцию я ехала с намерением открыть всю правду по дороге, но из-за нашей первой лжи у меня не хватило духу. А когда вы уезжали, у меня не хватило духу остаться, и я поехала с вами.

— Вы в самом деле хотели остаться?

— Во всяком случае, на какое-то время.

— А новобрачных такое положение устроило бы?

— Да. Лилия нуждалась во мне... Он же... не могу отделаться от ощущения, что могла бы оказать на него влияние.

— Я в таких вещах профан,— заметил Филип,— но я считаю, что своим присутствием вы не упростили бы создавшегося положения.

Его язвительность пропала втуне. Она с безнадежностью смотрела в окно на густо застроенную, но мало обработанную местность. Потом сказала:

— Ну вот, я все объяснила.

— Простите, мисс Эббот, вы описали, но никак не объяснили свое поведение.

Он ловко поддел ее и ждал, что она смутится и сдастся. К его удивлению, она возразила не без яда:

— Объяснение наскучило бы вам, мистер Герритон, оно затрагивает другие темы.

— Сделайте одолжение!

— Видите ли, я ненавидела Состон.

Он пришел в восторг.

— Так и я тоже! И сейчас ненавижу. Великолепно. Продолжайте.

— Я ненавидела праздность, тупость, респектабельность, суетное бескорыстие.

— Суетную корысть,— поправил Филип. Психология жителей Состона давно являлась предметом его изучения.

— Нет, именно суетное бескорыстие,— возразила она.— Я тогда думала, что все у нас заняты принесением жертв во имя чего-то, чего не уважают, чтобы угождать людям, которых не любят. Они просто не умеют быть искренними и, что не менее скверно, не умеют получать удовольствие от жизни. Так я думала, пока жила в Монтериано.

— Помилуйте, мисс Эббот! Почему вы мне раньше этого не сказали? Продолжайте думать так же! Я во многом согласен с вами. Великолепно!

— Ну вот, а Лилия,— продолжала она,— несмотря на кое-какие, с моей точки зрения, недостатки, обладала способностью наслаждаться жизнью с полной искренностью. Джино мне показался замечательным, молодым, сильным, и сильным не только телом. И тоже искренним, как дитя. Если им хотелось пожениться, почему бы им этого не сделать? Почему бы ей не порвать с той иссушающей жизнью, где она обречена идти по одной и той же колее до самой смерти, делаясь все более и более несчастной, а главное — безучастной? Конечно, я была неправа. Она просто сменила одну

колею на другую — хуже первой. А он... вы знаете его лучше, чем я. Никогда больше не стану судить о людях. И все-таки я уверена: когда мы встретили его, в нем было что-то хорошее. Лилия — и как это у меня язык поворачивается! — вела себя трусливо. Совсем юный, он обещал превратиться в прекрасного взрослого мужчину. Так я считала. Наверное, Лилия испортила его. Единственный-то раз я восстала против общепринятого, и что из этого получилось! Вот вам и объяснение.

— И очень любопытное, хотя мне и не все понятно. Например, вам не приходила в голову разница в их общественном положении?

— Мы как будто с ума сошли, мы были опьянены бунтом. Здравый смысл в нас молчал. А вы, как только вы приехали, так сразу угадали и предугадали все.

— Едва ли, — Филипа покорило, что его похвалили за здравый смысл. Ему вдруг показалось, что мисс Эббот более чужда условностям, чем он.

— Надеюсь, вы понимаете, — закончила она, — почему я беспокоила вас таким длинным рассказом. Женщины, как я слышала на днях из ваших уст, не успокоятся, пока во всеуслышание не покаются в своих прегрешениях. Лилия умерла, муж ее изменился к худшему — и все по моей вине. И это удручает меня больше всего, мистер Герритон: единственный раз я вмешалась в «подлинную жизнь», как говорит мой отец, — и смотрите, что наделала! Прошлой зимой я словно открыла для себя красоту, великолепие жизни и не знаю, что еще. Когда наступила весна, мне захотелось бороться против всего, что я возненавидела: против посредственности, тупости, недоброжелательства, против так называемого «общества». Там, в Монтериано, я дня два буквально презирала общество. Я не понимала, что все эти вещи незыблемы, и если пойти против них, они сокрушат нас. Благодарю вас за то, что выслушали столько чепухи.

— Отчего же, я вполне сочувствую всем вашим мыслям, — ободряюще проговорил Филип. — И это не чепуха, года два назад я сказал бы то же самое. Но теперь взгляды мои переменились, и надеюсь, что и ваши подвергнутся перемене. Общество действительно незыблемо... до какой-то степени. Но ваша подлинная, внутренняя жизнь целиком принадлежит вам, и ничто не может повлиять на нее. Нет такой силы на свете, кото-

рая могла бы помешать вам порицать и презирать посредственность, ничто не может запретить вам укрыться в мир красоты и великолепия, то есть в мир мыслей и взглядов, которые и составляют подлинную жизнь, вашу жизнь.

— Ничего подобного я еще не испытала. Конечно же, я и моя жизнь — там, где я живу.

Типично женская неспособность мыслить философски. Но все-таки она развилась в индивидуальность, надо встречаться с ней почаще.

— Против незыблемой посредственности есть еще одно утешительное средство, — сказал он, — встретить товарища по несчастью. Надеюсь, что сегодня — только первая из наших многочисленных бесед.

Она ответила что-то вежливое. Поезд остановился у Черинг-кросса, они простились, он отправился на утренний спектакль, она — покупать нижние юбки для дородных жен бедняков. Но мысли ее блуждали далеко: пропасть между нею и мистером Герритоном, которая и всегда-то представлялась ей глубокой, теперь показалась и вовсе непреодолимой.

Все эти события и разговоры происходили на рождество. Последовавшая Новая Жизнь длилась около семи месяцев. Затем небольшое происшествие, незначительное, но досадное, положило ей конец.

Ирма коллекционировала открытки с картинками, и миссис Герритон с Генриеттой сперва сами проглядывали почту, чтобы девочке не попалось в руки что-нибудь вульгарное. На этот раз сюжет был совершенно безобидный — какие-то полуразвалившиеся фабричные трубы; Генриетта уже собиралась отдать открытку племяннице, как вдруг в глаза ей бросилась надпись на полях. Генриетта вскрикнула и швырнула открытку в камин. Стоял июль, камин, естественно, не топился, поэтому Ирма подскочила к камину и выхватила открытку.

— Как ты смеешь! — взвизгнула тетка. — Гадкая девочка! Дай сюда!

На ее несчастье, миссис Герритон не было в комнате. Ирма, не очень-то слушавшаяся Генриетту, носилась вокруг стола и читала вслух: «Вид несравненного города Монтериано — от маленького брацца».

Глупая Генриетта поймала племянницу, надрала ей уши и разорвала открытку на клочки. Ирма заревела от боли и принялась негодуяще вопить: «Какой такой

маленький братец? Почему мне ничего не говорили? Бабушка, бабушка! Где мой маленький братец? Где мой...»

Тут в комнату влетела миссис Герритон со словами:

— Пойдем со мной, милочка, я тебе расскажу. Ты уже теперь большая, пора тебе знать.

После разговора с бабушкой Ирма вернулась вся в слезах, хотя, по правде говоря, узнала немного. Но и это немногое полностью завладело ее воображением. Она дала слово соблюдать тайну, почему — непонятно. Но что плохого болтать про брата с теми, кто о нем знает?

— Тетя Генриетта! — повторяла Ирма. — Дядя Фил! Бабушка! Как вы думаете, что братец делает сейчас? Он уже умеет играть? Итальянские детки начинают говорить раньше, чем английские? Или же он английский ребенок, только родился за границей? Ой, как мне хочется его посмотреть, я его научу десяти заповедям и катехизису.

Последнее замечание всякий раз повергало Генриетту в торжественную мрачность.

— Право, Ирма несносна! — воскликнула как-то миссис Герритон. — Бедную Лилию она забыла гораздо быстрее.

— Живой брат интереснее мертвой матери, — задумчиво протянул Филип. — Она может вязать ему носки.

— Нет, хватит! Она им просто бредит. Это становится невыносимым. На днях, ложась спать, она спросила, можно ли ей упоминать его в своих молитвах.

— И ты что?

— Разумеется, разрешила, — холодно ответила миссис Герритон. — Она имеет право молиться о ком хочет. Но сегодня утром она меня вывела из себя, и, боюсь, я не сумела этого скрыть.

— Что же случилось утром?

— Она спросила, можно ли ей молиться за ее, как она выразилась, «нового папу». За итальянца!

— И ты ей позволила?

— Я вышла из комнаты, ничего не ответив.

— Наверное, когда в детстве я пожелал молиться за дьявола, ты испытывала то же самое.

— Он и есть дьявол! — выкрикнула Генриетта.

— О нет, он слишком вульгарен.

— Попрошу тебя не глумиться над религией! — с негодованием отрезала Генриетта. — Подумай о несчастном младенце. Ирма права, что молится за него. Какое вступление в жизнь для ребенка английского происхождения!

— Дорогая сестра, позволь тебя разуверить: во-первых, несносный младенец — итальянского происхождения. Во-вторых, его честь честью крестили в церкви Святой Деодаты, и мощное содружество святых печется о его...

— Не надо, милый. А ты, Генриетта, не будь такой серьезной... когда ты с Ирмой. Она станет еще хуже, если заподозрит, что мы от нее что-то скрываем.

Высокая сознательность Генриетты порой бывала столь же непереносима, что и бунтарство Филипа. Миссис Герритон вскоре устроила так, чтобы ее дочь уехала на шесть недель в Тироль. Они с Филипом остались одни справляться с Ирмой.

Едва им удалось несколько выправить положение, как вдруг несносный младенец опять прислал открытку с картинкой, на сей раз комическую, не слишком приличного свойства. Ирма получила ее, когда взрослых не было дома, и все неприятности начались сначала.

— Не могу постичь, — сказала миссис Герритон, — что побуждает его присылать открытки?

Два года назад Филип ответил бы, что побуждает желание сделать приятное. Нынче он, как и мать, попытался усмотреть в поступках младенца какой-то дурной и коварный умысел.

— Может быть, он догадывается, что мы хотим замять скандал?

— Вполне вероятно. Он знает, что Ирма будет приставать к нам из-за ребенка. Он, возможно, надеется, что мы усыновим ребенка, чтобы успокоить ее?

— Нашел на что надеяться!

— За это время он успеет испортить нравственность девочки, — миссис Герритон отперла ящик, достала открытку и принялась внимательно ее разглядывать. — Он просит Ирму тоже посылать открытки его сыну.

— С нее станет!

— Я ей не велела, но за ней надо тщательно следить, не подавая, разумеется, виду, что мы ей не доверяем.

Филип начинал входить во вкус материнской дипломатии. Его больше не беспокоили собственная нравственность и поведение.

— Кто же будет следить за ней в школе? Она в любой момент может проболтаться.

— Остается рассчитывать на наше влияние,— ответила миссис Герритон.

Ирма проболталась в тот же день. Против одной открытки она еще могла устоять, но не против двух. Новый маленький братец — это для школьницы бесценное приобретение на поприще чувствительности. А подружки ее как раз пребывали в острой стадии обожания младенцев. Какой счастливицей была та девочка, чей дом изобиловал младенцами: она целовала их, уходя в школу, обладала правом извлекать их из колясок и укачивать на сон грядущий! Та же, что благословенна превыше всех, что прячет своего братца в укромном уголке, где он доступен только ей одной,— та могла пропеть ненаписанную песнь Мариам!

Разве могла Ирма промолчать, когда другие девчонки хвастались двоюродными младенцами и гостящими младенцами, а у нее был маленький братец, который присылал ей через своего папочку открытки?! Она пообещала про него ничего не говорить, но причина была ей непонятна, и она проговорила. Девочка передала другой девочке, та — своей маме, и тайна вышла наружу.

— Да, да, очень прискорбная история,— объясняла миссис Герритон.— Моя невестка крайне неудачно вышла замуж, вы, вероятно, слышали. Ребенок, скорее всего, будет воспитываться в Италии. Возможно, его английская бабушка захочет что-нибудь предпринять, но мне об этом ничего не известно. Не думаю, чтобы она забрала его к себе, она не одобряет отца. Для нее это источник страданий.

Миссис Герритон была осторожна и лишь слегка пожурила Ирму за непослушание (восьмой смертный грех, столь удобный для родителей и опекунов). Генриетта — та пустилась бы в ненужные объяснения, начались бы упреки. А так — Ирма устыдилась своего поступка и стала меньше говорить о младенце. Близился конец учебного года, и девочка надеялась получить еще одну награду. Но все-таки камушек покатила она.

Мисс Эббот появилась у них лишь через несколько дней. Миссис Герритон редко встречалась с ней после поцелуя примирения, а Филип — после их совместной поездки в Лондон. По правде говоря, он несколько разочаровался в ней. Похвальная оригинальность больше не проявлялась, он опасался, что мисс Эббот регрессирует. Она пожаловала к ним по поводу сельской больницы (жизнь ее была посвящена скучным актам благотворительности) и, хотя получила уже деньги от Филипа и от его матери, не уходила и продолжала сидеть на стуле с еще более серьезным и деревянным видом, чем обычно.

— Вы, конечно, слышали? — проговорила миссис Герритон, прекрасно понимая, в чем дело.

— Да, слышала. Я пришла спросить вас: предприняты ли какие-нибудь меры?

Филип был неприятно поражен. Он не ожидал столь бестактного вопроса. Он уважал мисс Эббот и теперь подсадовал на такой ее промах.

— В отношении ребенка? — любезно осведомилась миссис Герритон.

— Да.

— Насколько я знаю, никаких. Возможно, миссис Теобалд и решилась на что-нибудь определенное, но мне ничего не известно.

— Я имела в виду вас, решились ли вы на что-нибудь определенное?

— Ребенок нам не родственник, — заметил Филип. — Вряд ли от нас требуется вмешательство.

Мать бросила на него нервный взгляд.

— Бедная Лилия была мне когда-то почти дочерью. Я понимаю, что хочет сказать мисс Эббот. Но обстоятельства теперь изменились. Всякая инициатива должна исходить от миссис Теобалд.

— Разве миссис Теобалд не получала всегда инициативу из ваших рук? — спросила мисс Эббот.

Миссис Герритон невольно покраснела.

— В прошлом я действительно давала ей иногда советы. Нынче я не считаю себя вправе ей советовать.

— Так, по-вашему, для ребенка ничего нельзя сделать?

— Вы необычайно добры, проявляя такой неожиданный интерес к нему, — вмешался Филип.

— Я виновата в том, что ребенок появился на свет,— ответила мисс Эббот.— Неудивительно, что он меня интересует.

— Дорогая Каролина,— заключила миссис Герритон,— не надо слишком много размышлять на эту тему. Кто старое помянет... Ребенок должен волновать вас еще меньше, чем нас. А мы о нем даже не упоминаем. Он принадлежит к другому миру.

Мисс Эббот, ничего не ответив, встала и направилась к двери. Ее необыкновенная серьезность встревожила миссис Герритон.

— Разумеется,— добавила она,— если миссис Теобалд придумает какой-то приемлемый выход, а я, признаться, на это неспособна, то я попрошу у нее позволения присоединиться к ней ради Ирмы и разделить с ней издержки.

— Пожалуйста, в таком случае дайте мне знать, я тоже хочу принять участие в расходах.

— Дорогая моя, зачем вам тратиться? Мы не можем этого допустить.

— Если она ничего не предпримет, тоже, пожалуйста, дайте мне знать. Дайте мне знать в любом случае.

Миссис Герритон сочла себя обязанной поцеловать ее на прощание.

— Девица с ума сошла, что ли?— взорвался Филип, как только та удалилась.— В жизни не видел такой потрясающей наглости. Ее надо бы хорошенько высечь и отослать в воскресную школу.

Мать промолчала.

— Разве ты не поняла? Она же угрожает нам. От нее не отделаешься ссылками на миссис Теобалд, она не хуже нас с тобой знает, что та — пустое место. Если мы не будем действовать, она устроит скандал, станет говорить, что мы бросили ребенка на произвол судьбы и прочее. Это, естественно, ложь, но она все равно будет так утверждать. Нет, у милой, приятной, рассудительной Каролины Эббот положительно винтиков не хватает! Я заподозрил это в Монтериано. В прошлом году в поезде у меня тоже возникли кое-какие подозрения. И вот теперь они подтверждаются. Молодая особа не в своем уме.

Мать по-прежнему молчала.

— Хочешь, сейчас же пойду к ней и задам ей перцу? Я бы с удовольствием.

Тихим, серьезным тоном, каким она не говорила с ним давно, миссис Герритон произнесла:

— Каролина вела себя дерзко. Но в том, что она говорит, есть доля истины. Хорошо ли, чтобы ребенок рос в таком месте и с таким отцом?

Филипа передернуло. Мать явно лицемерила. Когда она бывала неискренна с чужими, Филипа это забавляло, но неискренность по отношению к нему действовала на него угнетающе.

— Будем откровенны,— продолжала она,— на нас все-таки тоже лежит ответственность.

— Не понимаю я тебя. Только что ты говорила прямо противоположное. Что ты замышляешь?

В один миг между ними выросла глухая стена. Они перестали быть согласными единомышленниками. Миссис Герритон заняла какую-то позицию, которая была то ли выше, то ли ниже его понимания.

Его замечание задело ее.

— Замышляю? Я обдумываю, не должна ли я усыновить ребенка. Неужели это недостаточно ясно?

— И эти размышления — результат нескольких идиотских высказываний мисс Эббот?

— Именно. Я повторяю, поведение ее неслыханно дерзко. И тем не менее она указала мне на мой долг. Если мне удастся отнять дитя бедной Лилии у этого отвратительного человека, который сделает из мальчика паписта или язычника и уж непременно развратника, то я этого добьюсь.

— Ты говоришь, как Генриетта.

— Ну и что? — Ее, однако, бросило в краску от этого оскорбления.— Можешь даже сказать — как Ирма. Девочка оказалась проникательнее нас всех. Она мечтает получить брата. И она его получит. На этот раз я действую под влиянием момента, ну и пусть.

Филип не сомневался, что она действует отнюдь не под влиянием момента, но не посмел это высказать. Его пугала материнская властность. Всю свою жизнь он был марионеткой в ее руках. Она позволила ему боготворить Италию и преобразовывать Состон так же, как позволила Генриетте принадлежать к евангелической церкви. Она разрешала Филипу болтать сколько душе угодно. Но когда ей было что-то от него нужно, она своего добивалась.

Она пугала его, но не вселяла к себе почтения. Он видел, что жизнь ее лишена смысла. На что уходила вся ее дипломатия, лицемерие, неисчерпаемые запасы пропадавшей втуне энергии? Сделался ли от этого кто-нибудь лучше или счастливее? Принесло ли это счастье хотя бы ей самой? Генриетта с ее мрачной брюзгливой верой, Лилия с ее погоней за удовольствиями — в конечном счете в них было больше божественного, чем в этом организованном, энергичном, бесполезном механизме.

Сейчас, когда мать ранила его самолюбие, он порицал ее, но бунтовать не смел. Вероятно, он так всегда и будет ей повиноваться. С холодным любопытством следил он за дуэлью между нею и мисс Эббот. Замысел миссис Герритон прояснился постепенно. Он состоял в том, чтобы любыми способами отстранить мисс Эббот от участия в истории с младенцем, но, если только возможно, — самым дешевым. Тщеславие было главной движущей пружиной ее характера. Мысль, что кто-то окажется щедрее и милосерднее ее, была ей невыносима.

— Я придумываю, что можно сделать, — объясняла она знакомым, — и милая Каролина Эббот мне помогает. Нас с ней ребенок, конечно, не касается, но у нас такое чувство, что его нельзя оставить в руках того ужасного человека, мужа Лилии. И это было бы неправильно по отношению к Ирме, ведь он ей все-таки брат. Нет, ничего определенного мы пока не надумали.

Мисс Эббот вела себя тоже вполне дружественно, однако добрыми намерениями умиловить ее было невозможно. Благополучие новорожденного для нее было не просто делом тщеславия или чувствительности, а священным долгом. Только таким образом, по ее мнению, могла она загладить в какой-то мере зло, которое сама выпустила в мир. Монтериано стал для нее своего рода воплощением порока, в стенах Монтериано человек не мог вырасти счастливым или безгрешным. Что и говорить, Состон, его домá на две семьи, снобистские школы, филантропические чаепития и благотворительные базары были ничтожны и скучны, иногда город, с ее точки зрения, заслуживал даже презрения. Но он не был средоточием греха, и именно в Состоне, в семье Герритонов или с нею, должна была протекать жизнь ребенка.

Когда откладывать далее стало невозможно, миссис Герритон написала Уотерсу и Адамсону письмо, которое они и переслали по ее указанию Джино,— письмо в высшей степени странное, Филип потом видел копию. Главную и явную часть занимала жалоба на открытки. В самом же конце, совершенно между прочим, она предлагала усыновить мальчика при условии, что Джино не будет делать попыток видеться с ним и уделит часть денег, оставшихся от Лилии, на воспитание сына.

— Ну, что ты скажешь? — спросила миссис Герритон Филипа.— Я думаю, нельзя дать итальянцу заподозрить, что мы этого очень хотим.

— По письму такого желания не заподозришь никем образом.

— Интересно, какое действие возымеет наше письмо?

— Получив его, он произведет подсчеты. Если окажется, что в конечном итоге выгоднее расстаться с небольшой суммой денег и отделаться от младенца, он расстанется с деньгами. Если решит, что это невыгодно, то прикинется любящим отцом.

— Милый, ты ужасающе циничен.— Помолчав, она добавила: — К чему же приведут его подсчеты?

— Право, не знаю. Если ты хотела получить младенца с обратной почтой, надо было послать ему денег. Нет, я не циничен, просто я исхожу из того, что о нем знаю. Однако я устал от всей этой истории. Устал от Италии. Устал — и кончено. Состон — добросердечный, отзывчивый городок, не так ли? Пойду прогуляюсь по нему, поищу утешения.

Он проговорил эти слова с улыбкой, чтобы не подумали, будто он говорит серьезно. Когда он вышел, мать тоже заулыбалась.

Направился он к Эбботам. Мистер Эббот предложил ему чаю, и Каролина, занимавшаяся в соседней комнате итальянским, присоединилась к ним, чтобы исполнить свои обязанности хозяйки. Филип сообщил, что мать написала синьору Карелле, и отец с дочерью выразили горячие пожелания успеха.

— Очень благородно со стороны миссис Герритон, очень благородно,— одобрил мистер Эббот, который, как и все в городе, не подозревал о провокационной деятельности своей дочери.— Боюсь, что это повлечет

за собой большие расходы. Из Италии ничего не получишь даром.

— Кое-какие расходы наверняка возникнут,— осторожно согласился Филип. Он повернулся к мисс Эббот: — Как вы думаете, доставит нам этот человек затруднения?

— Возможно,— с меньшей осторожностью ответила она.

— Как вы считаете — вы его видели — может он оказаться нежным родителем?

— Я сужу не по его виду, а по тому, что знаю о нем.

— И какой вы делаете вывод?

— Что он, бесспорно, человек порочный.

— Но и порочные люди иногда любят своих детей. Возьмите, к примеру, Родриго Борджиа.

— Подобные примеры мне встречались и в нашем приходе.

С этими словами примечательная молодая особа встала и вернулась к своим занятиям итальянским. Поведение ее оставалось для Филипа загадкой. Еще понятно, если бы она проявляла энтузиазм, но в том-то и дело, что никакого энтузиазма не было. Он бы мог понять простое упрямство, но и на упрямство было непохоже. Борьба за ребенка ей явно не доставляла ни удовольствия, ни выгоды. Зачем же она затеяла ее? Быть может, она лицемерит? Да, пожалуй, такова наиболее вероятная причина. Должно быть, она притворяется, на уме у нее совсем другое. Что — другое, Филип не задумывался. Лицемерие стало для него главным объяснением всего непонятого, будь то даже поступок или высокий идеал.

— Она парирует недурно, — сказал он матери, вернувшись домой.

— А что, собственно, ей приходится парировать? — вкрадчиво спросила она.

Миссис Герритон допускала, что сын разгадал смысл ее дипломатии, но не желала открыто признаться в этом. Она все еще притворялась перед Филипом, будто ребенок ей действительно нужен и был нужен всегда и что мисс Эббот — ее неоценимый союзник.

Поэтому, когда на следующей неделе пришел ответ из Италии, она виду не подала, что торжествует.

— Прочти письмо, — сказала она. — Ничего не вышло.

Джино написал на своем родном языке, но поверенные прислали тщательно сделанный английский перевод, где «*Pregiatissima Signora*»¹ было передано как «достопочтеннейшая сударыня», а каждый тонкий комплимент и деликатная превосходная степень (ибо превосходная степень в итальянском звучит деликатно) свалили бы и быка. На какой-то момент стиль заслонил для Филипа смысл; это нелепое послание из страны, которую он прежде любил, растрогало его чуть ли не до слез. Ему был знаком подлинник этих неуклюжих фраз, он тоже слал когда-то «искренние пожелания», тоже писал письма (кто пишет там письма дома?), сидя в кафе «Гарибальди». «Вот уж не думал, что я так и не пойму, — мелькнуло у него. — Кажется, должен бы понимать, что фокус — в манере выразаться. Плебей останется плебеем — живет ли он в Состоне или в Монтериано».

— Какое разочарование, правда? — сказала мать.

Он прочел, что Джино не может принять их великодушное предложение. Его родительское сердце не позволяет ему отринуть этот символ любви — все, что осталось ему на память от горячо оплакиваемой супруги.

Он безмерно огорчен тем, что доставил неприятность, посылая открытки. Больше он их посылать не станет. Не будет ли так добра миссис Герритон, славящаяся своей любезностью, объяснить это Ирме и передать ей благодарность за те открытки, которые ему прислала эта благовоспитаннейшая мисс?

— Подсчеты дали решение не в нашу пользу, — заметил Филип. — Либо он набивает цену.

— Нет, — решительно ответила миссис Герритон, — причина тут другая. По какому-то непонятному упрямству он не желает расстаться с ребенком. Пойду расскажу бедной Каролине. Ее тоже расстроит эта новость.

Домой она вернулась в небывалом состоянии: лицо покрылось красными пятнами, под глазами обозначились темные круги, она задыхалась.

— Нет, какова наглость! — выкрикнула она с порога. — Чертовская наглость! Ох, я бранюсь... Ну и пусть. Несносная женщина... как она смеет вмешиваться... я...

¹ Драгоценнейшая синьора (итал.).

Филип, дорогой, мне жаль, но ничего не поделаешь. Ты должен ехать.

— Куда? Да сядь же. Что случилось?

Такая вспышка ярости у его благовоспитанной, выдержанной матери уязвила Филипа самым неприятным образом. Он не знал, что она на это способна.

— Она не желает... не желает принять письмо итальянца как нечто окончательное. Ты должен ехать в Монтериано!

— Не поеду! — выкрикнул он в свою очередь. — Я уже ездил и потерпел неудачу. Больше я не хочу видеть Италию. Я терпеть ее не могу!

— Если не поедешь ты, поедет она.

— Эббот?

— Да. Она едет одна. Сегодня же вечером. Я предложила еще раз написать, она ответила: «Слишком поздно!» Слишком поздно! Ты слышишь? Что это значит? Ребенок, Ирмин брат, будет, видите ли, жить у нее, воспитываться в ее доме, можно сказать, у нас под носом. Будет ходить в школу, как джентльмен, на ее деньги! Тебе не понять, ты — мужчина. Для тебя это не имеет значения. Ты можешь смеяться. Но подумай, что скажут люди. Она едет в Италию сегодня же вечером!

Его вдруг осенила блестящая идея.

— Так пусть себе едет! Пусть справляется сама. Так или иначе, ей там несдобровать. Италия слишком опасна, слишком...

— Перестань болтать чепуху, Филип. Я не дам ей осрамить меня. Я добьюсь, чтобы ребенок достался мне. Во что бы то ни стало получу его, хотя бы мне пришлось отдать все мои деньги!

— Да пускай едет в Италию! — повторил он. — Пускай впутывается в эту историю. Она же в Италии ничего не смыслит. Ты погляди на письмо. Человек, который его написал, либо женится на ней, либо убьет, либо как-нибудь да погубит. Он мужлан, но не английский мужлан. Он загадочен и опасен. За ним стоит страна, которая испокон века ставит в тупик все человечество.

— Генриетта! — воскликнула мать. — Генриетта тоже поедет. В таких случаях ей цены нет!

Филип все еще болтал чепуху, а миссис Герристон уже приняла решение и выбирала подходящий поезд.

VI

Италия, всегда утверждал Филип, предстает в своем подлинном виде лишь в разгар лета, когда ее покидают туристы и когда душа ее распускается под прямыми лучами жгучего солнца. Сейчас он получил полную возможность наблюдать Италию в эту наилучшую пору — стояла середина августа, когда он заехал за Генриеттой в Тироль.

— Он нашел сестру в густом облаке на высоте пяти тысяч футов над уровнем моря, промерзшую до костей, умирающую от переедания и скуки и вполне склонную к тому, чтобы ее увезли.

— Конечно, это нарушит все мои планы,— заметила она, отжимая губку,— но что поделаешь, таков мой долг.

— Мать все тебе объяснила? — спросил Филип.

— Да, еще бы! Она прислала мне просто замечательное письмо. Описывает, как мало-помалу у нее созрело чувство, что мы обязаны вырвать бедного ребенка из его ужасного окружения. Пишет, как она пыталась сделать это с помощью письма, но оно ни к чему не привело, в ответ она получила одни фальшивые комплименты и лицемерные слова. Мать пишет: «В таких случаях помогает только личное воздействие, вы с Филипом добьетесь успеха там, где я потерпела неудачу». Она сообщает также, что Каролина Эббот ведет себя изумительно.

Филип удостоверил этот факт.

— Каролину ребенок волнует почти так же, как нас. Очевидно, потому, что она знает, каков отец. Как же он, должно быть, мерзок! Ох, что же я! Забыла уложить нашатырный спирт... Каролина получила суровый урок, но для нее он явился переломным моментом. Мне все-таки радостно думать, что из всего этого зла произрастет добро.

Ни добра, ни красоты от предстоящей экспедиции Филип не ждал, но она обещала быть развлекательной. Он испытывал уже не отвращение, а безразличие ко всем ее сторонам, кроме комической. Возможность посмеяться представлялась отличная: Генриетта, на которую воздействует мать, мать, на которую воздействует мисс Эббот, Джино, на которого воздействует чек,— лучшего развлечения и пожелать нельзя. На этот раз

ничто не могло помешать ему насладиться спектаклем: сентиментальность в нем умерла, беспокойство за фамильную честь — тоже. Может быть, он и марионетка в руках марионетки, но по крайней мере прекрасно знает расположение веревочек.

Они ехали под уклон уже тринадцать часов, ручьи расширились, горы оставались позади, растительность изменилась, люди пили уже не пиво, а вино, перестали быть безобразными и сделались красивыми. Тот же поезд, что на восходе дня выудил их из пустыни ледников и отелей, теперь, на закате, словно вальсируя, огибал стены Вероны.

— Вся эта болтовня про жару — просто вздор, — заметил Филип, когда они отъезжали в кебе от станции. — Если бы мы приехали сюда для приятного отдыха, то приятнее такой температуры и представить нельзя.

— А ты слышал, говорят, будто сейчас еще холодно? — нервно добавила Генриетта. — Какой же это холод?

На второй день, когда они шли осматривать могилу Джульетты, жара поразила их с такой же внезапностью, с какой зажимает рот чужая рука. С этого момента все пошло вкривь и вкось. Они бежали из Вероны. У Генриетты украли альбом для зарисовок. В чемодане у нее взорвался флакон с нашатырным спиртом, залил молитвенник и обезобразил платье синеватыми пятнами. Далее, когда они проезжали через Мантую в четыре утра и Филип заставил Генриетту выглянуть в окошко, так как в Мантуе родился Вергилий, в глаз ей залетела угольная пылинка. А надо сказать, что Генриетта, которой в глаз попала угольная пылинка, — это было нечто невообразимое. В Болонье они сделали остановку на двадцать четыре часа, чтобы отдохнуть. Был церковный праздник, и дети день и ночь дули в свистульки.

— Ну и религия! — возмущалась Генриетта.

В отеле стояла вонь, на постели Генриетты спали два щенка, окно ее спальни выходило на колокольню, и каждые четверть часа бой часов нарушал ее мирный сон. Филип забыл в Болонье трость, носки и бедкер. Зато Генриетта оставила там всего-навсего мешочек для губки. На следующий день они пересекли Апеннины в одном купе с ребенком, которого в дороге укачало, и одной распаренной особой, которая сообщила им, что еще никогда, никогда в жизни она так не потела.

— Иностранцы омерзительны,— заявила Генриетта.— Мне нет дела до того, что в туннелях запрещено открывать окна, открой.

Филип исполнил ее приказание, и в глаз ей опять влетел уголек. Во Флоренции лучше не стало: любое усилие — пережевывание пищи, каждый шаг на улице, даже слово, сказанное раздраженно,— словно погружало их в кипяток. Филип, как человек более сухощавый и менее добросовестный, страдал меньше. Но Генриетта, никогда раньше во Флоренции не бывавшая, с восьми до одиннадцати утра ползала по улицам, как раненый зверь, и от жары хлопалась в обморок перед различными шедеврами искусства. Они брали билеты до Монтериано в весьма накаленном состоянии.

— Брать только туда или сразу обратно? — задал вопрос Филип.

— Мне только туда,— сварливым тоном отозвалась сестра,— живой мне оттуда не вернуться.

— Ах ты мое утешение! — теряя терпение, злобно воскликнул брат.— Много помощи будет от тебя, когда мы наконец доберемся до синьора Кареллы!

— Неужели ты воображаешь,— Генриетта встала как вкопанная посреди водоворота носильщиков,— неужели ты воображаешь, что нога моя ступит в дом этого человека?

— Чего же ради ты вообще сюда ехала, скажи на милость? В качестве украшения?

— Проследить, чтобы ты выполнил свой долг.

— Премного благодарен!

— Так велела мне мама. Да бери же скорее билеты, вон опять та распаренная особа! Еще имеет наглость кланяться.

— Ах, мама велела? Вот как? — прошипел взбешенный Филип. Щель, через которую ему выдали билеты, была такой узкой, что их просунули боком. Италия была невыносима, а железнодорожная станция во Флоренции была центром этой Италии. И все же Филип испытывал странное чувство, что он сам в этом повинен, что, будь в нем самом чуточку больше человечности, страна показалась бы ему не столько невыносимой, сколько забавной. Потому что очарование все равно оставалось,— он ощущал это; очарование настолько сильное, что оно пробивалось, несмотря на носильщиков, шум и пыль. Очарование это таилось в раскаленном синем небе над

головой, в равнине, выбеленной сушью — сушью, сковавшей жизнь крепче, чем мороз, в изнуренных просторах вдоль Арно, в руинах темных замков, которые возвышались на холмах, колыхаясь в жарком воздухе. Все это он замечал, хотя голова у него раскалывалась, кожу сводило, он был марионеткой в чужих руках, и сестра это прекрасно сознавала. Ничего приятного от теперешней поездки в Монтериано он не ждал. Но даже неудобства путешествия нельзя было назвать урядными.

— А люди живут там внутри? — спросила Генриетта. Они уже сменили поезд на леньо, повозка теперь выехала из засохшей рощи, и перед ними открылась конечная цель их путешествия.

Филип, чтобы подразнить сестру, ответил «нет».

— А чем они занимаются? — продолжала допрашивать Генриетта, нахмутив лоб.

— Там есть кафе. Тюрьма. Театр. Церковь. Крепостные стены. Вид.

— Нет, это не для меня, спасибо, — проговорила Генриетта после тяжкого молчания.

— Никто вас и не приглашает здесь оставаться, мисс. Вот Лилию пригласил очаровательный молодой человек с кудрями на лбу и белоснежными зубами, — Филип вдруг переменял тон: — Генриетта, послушай, неужели ты не находишь здесь ничего привлекательного, чудесного? Ровно ничего?

— Ничего. Город уродлив.

— Верно. Но он древний, невероятно древний.

— Единственное мерило — красота, — возразила Генриетта. — По крайней мере, так ты говорил, когда я зарисовывала старинные здания. Очевидно, ты говорил это мне назло?

— Я не отказываюсь от своих слов. И в то же время... не знаю... так много здесь всего происходило... люди жили здесь так тяжело и так великолепно... мне трудно объяснить.

— И не старайся, все равно ничего не получится. Помоему, сейчас не самый подходящий момент разводить италоманию. Я думала, ты от нее излечился. Лучше будь любезен сказать мне, как ты намерен поступить по приезде. Надеюсь, на сей раз ты не попадешься так глупо.

— Прежде всего, Генриетта, я устрою тебя в «Стелла д'Италия» с тем комфортом, какой подобает твоему

полу и нраву. Затем приготовлю себе чаю. После чая пойду с книжкой в Святую Деодату и там почитаю. В церкви всегда так прохладно и свежо.

Мученица Генриетта не выдержала.

— Я не очень умна, Филип, и, как тебе известно, не лезу вон из кожи, чтобы казаться умной. Но я понимаю, когда надо мной издеваются. И различаю зло, когда его вижу.

— Ты имеешь в виду?..

— Тебя! — выкрикнула она, подпрыгнув на подушках и вспугнув рой блох. — На что нужен ум, если мужчина убивает женщину?

— Генриетта, мне слишком жарко. О ком ты говоришь?

— О нем. О ней. Если ты не остережешься, он убьет тебя. И так тебе и надо!

— Ай-ай-ай! Ты бы сразу поняла, как хлопотно очутиться с трупом на руках. — Он сделал попытку обуздать себя: — Я не одобряю этого субъекта, но мы же отлично знаем, что он не убивал ее. Даже в письме, где она написала предостаточно, ни разу не упоминается, что он причинял ей физические страдания.

— Все равно он ее убил. То, что он себе позволял... это даже нельзя произнести вслух...

— Придется произнести, если уж говорить на эту тему. И не придавай таким вещам чересчур большого значения. Если он был неверен своей жене, это не значит, что он отъявленный мерзавец. — Филип бросил взгляд на город. И город словно подтвердил его мысль.

— Но это высшее испытание. Мужчина, который благородно обращается с женщиной...

— Оставь, пожалуйста! Прибереги это для своей Кухоньки. Нашла тоже высшее испытание! Итальянцы отродясь не обращались с женщинами благородно. Если осуждать за это синьора Кареллу, то придется осудить всю нацию в целом.

— Да, я осуждаю всю нацию в целом.

— А заодно и французов?

— И французов тоже.

— Не так-то все просто, — заметил Филип скорее сам себе, чем ей.

Генриетта, однако, считала, что все крайне просто, и поэтому опять напустилась на брата.

— А как насчет ребенка, скажи на милость? Ты наговорил кучу остроумных фраз, свел на нет мораль и религию и не знаю, что еще. Но как насчет ребенка? Ты считаешь меня душой, а я наблюдаю за тобой весь день — ты ни разу не упомянул о ребенке. Значит, ты о нем и не думаешь. Тебе все равно, Филип. Я прекращаю все разговоры с тобой. Ты невозможен.

Она выполнила обещание и не раскрывала рта до конца пути. Но глаза ее горели гневом и решимостью, ибо, будучи женщиной сварливой, она в то же время была прямодушной и храброй.

Филип вынужден был признать, что упрек справедлив. Его ни капли не интересовал ребенок, хотя он и собирался выполнить свой долг и, безусловно, верил в успех. Если Джино готов был продать жену за тысячу лир, то почему бы ему не продать свое дитя за меньшую сумму? Предстоит просто торговая сделка. Чем же она может помешать всему остальному? Глаза Филипа опять были прикованы к башням, как весной, когда он ехал в повозке с мисс Эббот. Но на этот раз мысли его были куда приятнее, так как теперь он был равнодушен к исходу дела. Сейчас он подъезжал к городу в настроении любознательного туриста.

Одна из башен, не менее грубая, чем остальные, с крестом на верхушке, была колокольной коллегиальной церкви Святой Деодаты, святой девы времен средневековья, покровительницы города,— в истории ее жизни странным образом смешалось трогательное и варварское. До того она была святой, что всю жизнь провела лежа на спине в доме своей матери, отказываясь есть, играть с другими детьми, работать. Дьявол, завидуя подобной святости, всячески искушал ее. Развешивал над нею виноградные кисти, показывал заманчивые игрушки, подпихивал мягкие подушки под затекшую голову. Напрасно перепробовав все эти ухищрения, дьявол подставил подножку ее матери, и та скатилась с лестницы на глазах у дочери. Но столь святой была дева, что она не встала и не подняла мать, а продолжала стойко лежать на спине и тем обеспечила себе почетное место в раю. Умерла она всего пятнадцати лет от роду, из чего явствует, какие богатые возможности открыты перед любой школьницей. Те, кто думает, будто жизнь ее прошла бессмысленно, пусть-ка вспомнят победы при

Поджибонси, Сан-Джиминьяно, Вольтерра, наконец, при Сиене: все они были одержаны с именем святой девы на устах. Пусть только взглянут на церковь, выросшую на ее могиле. Грандиозные замыслы создать мраморный фасад остались неосуществленными, по сегодняшней день церковь одета темным неотшлифованным камнем. Но для внутренней отделки призвали Джотто, чтобы он расписал стены нефа. Джотто призвали, но он не приехал, как установлено новейшими немецкими исследованиями. Как бы то ни было, фресками расписаны стены нефа, два придела в левом поперечном нефе, а также арка, ведущая в места для хора. На этом росписи кончились. Но вот во времена расцвета Возрождения прибыл в Монтериано один великий художник и провел несколько недель у своего друга, правителя города. В промежутках между пирами, дискуссиями по этимологии латыни и балами он захаживал в церковь и там, в пятом приделе справа, постепенно написал две фрески, изображающие смерть и погребение святой Деодаты. Вот почему в бедкере против Монтериано стоит звездочка.

Святая Деодата была более удачной спутницей, нежели Генриетта, и продержала Филипа в приятных мечтаниях до той минуты, пока повозка не остановилась у отеля. В отеле все спали, так как в такую пору дня надо быть идиотом, чтобы заниматься какой бы то ни было деятельностью. Даже нищих не было. Кучер снес их саквояжи в вестибюль (тяжелый багаж они оставили на станции) и пошел бродить по дому, пока не нашел комнату хозяйки.

В эту минуту Генриетта произнесла короткое слово «иди».

— Куда? — спросил Филип, кланяясь хозяйке, которая плыла вниз по лестнице.

— К итальянцу. Иди.

— *Buona sera, signora padrona. Si ritorna volontieri a Monteriano. Не глупи. Никуда я сейчас не пойду. Ты мешаешь пройти... Vorrei due camere...¹*

— Иди. Сию минуту. Сейчас. Хватит. Иди.

— Будь я проклят, если пойду. Я хочу чаю.

¹ Добрый вечер, синьора. Всегда приятно возвратиться в Монтериано... Я бы хотел две комнаты (итал.).

— Бранись сколько угодно! — воскликнула Генриетта. — Богохульствуй! Поноси меня! Но пойми, я не шучу.

— Генриетта, не актерствуй. Или играй получше.

— Мы сюда приехали за ребенком, и только для этого. Я не потерплю легкомыслия, увиливания и всякой болтовни про картины и церкви. Подумай о матери: разве за тем она тебя послала сюда?

— Подумай о матери и не стой поперек лестницы. Дай кучеру и хозяйке сойти, а мне подняться и выбрать номера. Отойди.

— Не отойду.

— Генриетта, ты с ума сошла.

— Думай как тебе угодно. Ты не подымешься наверх, пока не повидашь итальянца.

— *La signorina si sente male*, — объяснил Филип. — *È il sole*¹.

— *Poveretta!*² — вскричали вместе хозяйка и возчик.

— Оставьте меня в покое! — злобно огрызнулась Генриетта. — Мне до вас тут никакого дела нет. Я англичанка. Вы не сойдете вниз, а он не поднимется наверх, пока не отправится за ребенком.

— *La prego... piano... piano... è un'altra signorina che dorme...*³

— Генриетта, нас арестуют за скандал. Неужели ты не понимаешь, как это нелепо?

Генриетта не понимала, и в том была ее сила. Она обдумала эту сцену дорогой, и теперь ничто не могло помешать ей. Ни брань спереди, ни ласковые уговоры сзади не действовали на нее. Кто знает, сколько еще стояла бы она, как венчаемый Гораций, запирая собой лестницу. Но в этот миг дверь спальни, выходящей на верхнюю площадку, открылась, и появилась «еще одна синьорина», чей сон они потревожили. То была мисс Эббот.

Когда Филип очнулся, наконец, от столбняка, он ощутил негодование. С него хватит того, что мать управляет им, а сестра застращивает. Вмешательство третьей особы женского пола вывело его из себя до

¹ Синьорина неважно себя чувствует. Это от солнца (итал.).

² Бедняжка! (итал.).

³ Пожалуйста... тише... тише... Здесь есть еще одна синьорина, которая спит (итал.).

такой степени, что он, отбросив вежливость, уже соби-
рался высказать все, что думал, но не успел: при виде
мисс Эббот Генриетта испустила пронзительный крик
радости.

— Каролина, как вы сюда попали?

И, несмотря на жару, она взбежала по лестнице и
наградила свою приятельницу нежным поцелуем.

Филипа осенила блестящая мысль.

— Генриетта, у вас найдется что порассказать друг
другу. А я тем временем послушаюсь твоего совета и
навещу синьора Кареллу.

Мисс Эббот издала не то приветственный, не то ис-
пуганный писк. Филип не отозвался на этот звук и не
подошел к ней. Даже не заплатив извозчику, он улизнул
на улицу.

— Выцарапайте друг дружке глаза! — воскликнул
он, грозя кулаком окнам отеля. — Задай ей перцу, Ген-
риетта! Отучи соваться не в свои дела! Задай ей, Каро-
лина! Научи быть благодарной! Ату, леди, ату!

Случайные прохожие глядели на него с интересом,
но не приняли за сумасшедшего. Подобные сцены в
Италии нередки.

Филип попытался думать о таком обороте событий
как о чем-то забавном, но из этого ничего не получи-
лось. Появление мисс Эббот задело его за живое. Либо
она заподозрила его в бесчестности, либо сама вела
нечестную игру. Он отдал предпочтение последней вер-
сии. Быть может, она уже виделась с Джино и они
вместе придумали, как бы поутонченнее унижить Герри-
тонов. Возможно, Джино шутки ради уже продал ей
младенца задешево — шутка как раз в его духе. Филип
до сих пор помнил смех Джино, которым завершилась
его, Филипа, бесславная поездка в Италию, помнил гру-
бый толчок, поваливший его на кровать. Что бы ни озна-
чало присутствие мисс Эббот, оно портило комедию, —
ничего смешного от нее ждать не приходилось.

Размышляя таким образом, он быстро прошел через
весь городок и очутился у ворот на другом его
конце.

— Где живет синьор Карелла? — спросил он тамо-
женников.

— Я покажу! — пропищала какая-то девочка, воз-
никшая словно из-под земли, как это свойственно италь-
янским детям.

— Она вам покажет,— подтвердили таможенники, одобрительно кивая головами.— Всегда, всегда следуйте за нею, и с вами не случится ничего плохого. На нее можно положиться.

Она моя { дочка
племянница
сестра.

Филип хорошо знал все эти родственные связи. Они разветвлялись в случае надобности по всему полуострову.

— Ты случайно не знаешь, синьор Карелла дома? — спросил он девочку.

Да, он как раз недавно входил в дом, она сама видела. Филип кивнул. Сегодня он с нетерпением ждал свидания; состоится дуэль умов, а противник его не силен в этом виде оружия. Что затевает мисс Эббот? Сейчас он узнает. Пока они там выясняют отношения с Генриеттой, он все выяснит у Джино. Филип следовал за таможенной дочкой вкрадчивой походкой, точно дипломат.

Идти им пришлось недолго, так как они были возле ворот Вольтерра, а дом, как уже известно, стоял прямо напротив. В полминуты они спустились по той самой тропке, проложенной мулами, и очутились у входа в дом. Филип улыбнулся, во-первых, представив себе в этом доме Лилию, а во-вторых, предвкушая победу.

Таможенная племянница набрала в легкие воздуху и закричала что было мочи. Последовала внушительная пауза. Потом наверху в лоджии показалась женская фигура.

— Перфетта,— пояснила девочка.

— Мне надо видеть синьора Кареллу! — прокричал Филип.

— Нету!

— Нету! — удовлетворенно повторила девочка.

— Так чего же ты говорила, будто он дома? — Филип от злости готов был задушить девчонку. Он как раз созрел для свидания: чувствовал в себе должное сочетание негодования и сосредоточенности, когда кровь кипит, а голова холодна. Но в Монтериано вечно все идет вкривь и вкось.

— Когда он вернется? — крикнул он опять. Прекверная история.

Перфетта не знала. Он уехал по делу. Может быть, вернется к вечеру, а может, и нет. Уехал в Поджибонси.

Услыхав слово «Поджибонси», девочка приставила большой палец к носу, растопырила пальцы, помахала ими в сторону равнины и при этом запела, как, вероятно, пели ее прапрапрабабки семьсот лет назад:

Поджибонси, посторонись,
Монтериано лезет ввысь.

Затем она попросила у Филипа монетку. Одна немецкая леди, питающая интерес к прошлому, дала ей весной полпенни.

— Я хочу оставить записку! — крикнул он.

— Сейчас Перфетта пошла за корзинкой, — объяснила девочка. — Когда вернется, спустит ее вниз — вот сюда. Вы положите в нее вашу карточку. Потом она поднимет корзинку — вот так. И тогда...

Когда Перфетта вернулась, Филип вспомнил про младенца и попросил показать его. Младенца пришлось искать дольше, чем корзину, и Филип обливался потом, стоя на вечернем солнце, стараясь не вдыхать сточных ароматов и не дать девчонке снова запеть песенку, поносящую Поджибонси. Оливы во дворе были увешаны выстиранным бельем, накопившимся, должно быть, за неделю, а похоже, и за целый месяц. Какая жуткая цветастая блуза! Где он ее видел? Наконец он вспомнил — на Лилии. Та купила ее «на каждый день» для Состона, а потом увезла в Италию, где «все сойдет». Филип еще пожурил ее за такое отношение к Италии.

— Красавчик, ровно ангел! — завопила Перфетта, протягивая вперед сверток, очевидно, являющийся сыном Лилии. — Но с кем же я разговариваю?

— Спасибо. Вот моя карточка. — Филип вежливо просил у Джино встречи на следующее утро. Но прежде чем положить записку в корзину и выдать себя, он решил кое-что разузнать.

— Не приходила ли на днях молодая леди? Молодая англичанка?

Перфетта извинилась — она стала глуховата.

— Молодая леди, бледная, большая, высокая?

Перфетта не расслышала.

— Молодая леди!

— Перфетта туга на ухо, когда захочет, — заметила таможенная сестра. Пришлось Филипу примириться с

этой особенностью Перфетты и пуститься в обратный путь. Около ворот Вольтерра он отвязался от противной девчонки, дав ей два пятицентовика. Она осталась недовольна, так как получила больше, чем ожидала, и к тому же у него был недовольный вид, когда он давал ей деньги. Проходя мимо ее отцов и дядьев, он подметил, что они перемигиваются. Все в Монтериано словно сговорились дурачить его. Он чувствовал себя усталым, озабоченным, сбитым с толку и уверенным лишь в одном — что он вне себя от злобы. В таком настроении он вернулся в «Стелла д'Италия». Когда он начал подниматься по лестнице, из столовой в первом этаже высунулась мисс Эббот и с таинственным видом поманила его.

— Я хотел, наконец, выпить чаю,— отозвался он, не снимая руки с перил.

— Я была бы вам так признательна...

Он последовал за ней в столовую и прикрыл за собой дверь.

— Понимаете,— начала она,— Генриетта ничего не знает.

— Я знаю не больше ее. Его нет дома.

— При чем тут это?

Он наградил ее иронической усмешкой. Парирует она находчиво, как он уже говорил это раньше.

— Его нет дома. Я так же несведущ, как и Генриетта.

— Что вы имеете в виду? Пожалуйста, мистер Герритон, прошу вас, не будьте так загадочны, сейчас не время. Генриетта может спуститься в любой момент, а мы не решили, что ей говорить. В Состоне — другое дело, там мы притворялись приличий ради. Но здесь мы должны объясниться начистоту, и, мне кажется, в вашей честности я могу быть уверена. Иначе мы так и будем ходить вокруг да около.

— Что ж, давайте объяснимся начистоту.— Филип принялся расхаживать по комнате.— Позвольте для начала задать вам вопрос. В какой роли приехали вы в Монтериано: как шпионка или как предательница?

— Как шпионка! — не колеблясь, ответила она. Она стояла у небольшого готического окна (некогда отель был дворцом) и водила пальцем по оконным переплетам, словно именно на ощупь они были прекрасны и необыкновенны.— Как шпионка,— повторила она, ибо

Филип, не ожидавший так легко вырвать признание, в растерянности молчал.— Ваша мать с самого начала вела себя бесчестно. Ребенок ей совершенно не нужен, и в этом еще нет ничего дурного. Но она чересчур горда, чтобы позволить мне взять его. Она сделала все, чтобы из идеи увезти ребенка ничего не вышло, от вас она кое-что утаила, Генриетте ничего не сказала, обманывала всех и на словах, и на деле. Я больше ей не доверяю. Потому-то я и приехала сюда одна, через всю Европу, никому не сказав ни слова. Отец думает, что я в Нормандии. Приехала, чтобы шпионить за миссис Герритон. Не будем пререкаться! — остановила она Филипа, который почти машинально принялся обвинять ее в дерзости.— Если вы здесь для того, чтобы получить ребенка, я вам помогу. Если для того, чтобы не получить, я добуду его для себя.

— Я не надеюсь, что вы мне поверите,— промямлил Филип,— но, уверяю вас, мы здесь для того, чтобы забрать ребенка, чего бы он нам ни стоил. Моя мать позволила нам заплатить, сколько спросят. Я должен следовать ее инструкциям. Думаю, что вы одобрите их, ведь фактически вы их продиктовали. Я лично их не одобряю. Они нелепы.

Она равнодушно кивнула. Что он скажет, ей было безразлично, главное — чтобы ребенка забрали из Монтериано.

— Генриетта выполняет те же инструкции,— продолжал он.— Но она одобряет их и не знает, что они ваши. Думаю, мисс Эббот, вам лучше взять на себя руководство спасательной экспедицией. Я просил у синьора Кареллы свидания завтра утром. Вы не против?

Она снова кивнула.

— Могу я поинтересоваться подробностями вашей с ним встречи? Они могут мне пригодиться.

Он сказал это на всякий случай. К его великой радости, она вдруг сложила оружие. Рука, гладившая резные переплеты окна, соскользнула вниз. Лицо покраснело, и не только оттого, что его освещало закатное солнце.

— Моей встречи? Откуда вы узнали?

— От Перфетты, если это вас интересует.

— Кто такая Перфетта?

— Женщина, которая вас впустила.

— Впустила куда?

— В дом синьора Кареллы.

— Мистер Герритон! — воскликнула она. — Как вы могли ей поверить? Неужели я, по-вашему, могла войти в дом этого человека после того, что произошло? Странное у вас представление о том, что приличествует леди. Вы, я слыхала, заставляли Генриетту пойти к нему. Она правильно сделала, что отказалась. Полтора года назад я, возможно, и пошла бы туда, но теперь я, смею думать, научена опытом и умею себя вести.

Филип начал постигать следующее: существуют две мисс Эббот — одна, способная проделать самостоятельно путь в Монтериано, и другая, которая не может войти в дом Джино, хотя приехала специально с этой целью. Открытие позабавило его. Которая же отзовется на его следующий выпад?

— Очевидно, я неправильно понял Перфетту. Так где же состоялось свидание?

— Не свидание, нет. Случайная встреча. Простите, я действительно хотела предоставить вам первому увидеть его. Вы сами виноваты. Опоздали на день, хотя должны были прибыть вчера. Я же приехала вчера и, не найдя вас, отправилась на Скалу — знаете, там вас пропускают через садик, дальше лестница ведет на полуразрушенную башню, и вы оказываетесь над всеми другими башнями, над равниной и остальными холмами?

— Еще бы мне не знать Скалу! Я же вам про нее и рассказывал.

— Так вот. Я пошла туда полюбоваться закатом. Больше мне делать было нечего. В саду я увидела его. Оказывается, садик принадлежит его другу.

— И вы поговорили.

— Я чувствовала себя очень неловко. Но пришлось разговаривать, он вынудил меня к этому. Видите ли, он решил, что я приехала как туристка. Он и сейчас еще так думает. Он говорил со мной любезно, и я почла за лучшее быть тоже вежливой.

— О чем же вы беседовали?

— О погоде — говорят, завтра к вечеру ожидается дождь, — о других городах, об Англии, обо мне, немножко о вас, и, представьте, он сам заговорил о Лилии. Совершенно отвратительная сцена. Притворялся, будто любил ее. Предлагал показать ее могилу — могилу женщины, которую убил!

— Дорогая мисс Эббот, он не убийца. Недавно я пытался втолковать то же самое Генриетте. Когда вы узнаете итальянцев, как знаю их я, то поймете, что он был совершенно искренен. Итальянцы обожают мелодраму, смерть и любовь для них — явления театральные. Не сомневаюсь, что он убедил себя в том, что вел и ведет себя безукоризненно — и как муж, и как вдовец.

— Возможно, вы и правы, — согласилась мисс Эббот: впервые слова его произвели на нее впечатление. — Когда я попробовала, так сказать, закинуть удочку, намекнуть, что он вел себя не совсем так, как надо... ничего не получилось. Словом, он меня не понял или не пожелал понять.

Представив себе, как мисс Эббот наставляет Джино на вершине горы в духе благотворительницы прихода, Филип рассмеялся. Настроение у него заметно поднималось.

— Генриетта бы заявила, что у Джино нет чувства греха.

— Боюсь, что Генриетта права.

— В таком случае не означает ли это, что он безгрешен?

Не в характере мисс Эббот было поощрять легкомыслие.

— Мне достаточно знать, что он сделал, — возразила она. — Меня не интересует, что он говорит и что думает.

Ее прямолинейность заставила Филипа улыбнуться.

— Однако что же он сказал про меня? Небезынтересно бы услышать. Готовит он мне восторженный прием?

— Нет, нет, я не говорила ему, что вы с Генриеттой приезжаете. Если пожелаете, можете застать его врасплох. Он просто спросил про вас и пожалел, что так грубо обошелся с вами полтора года назад.

— Стоит ли вспоминать такие пустяки? — Филип отвернулся, чтобы она не увидела, что лицо его расплылось от удовольствия. Извинение, которое было бы неприемлемо полтора года назад, сейчас показалось уместным и приятным.

Она не пропустила его замечание мимо ушей.

— В свое время вы не считали это пустяком. Вы мне сказали, будто он оскорбил вас действием.

— Я потерял самообладание, — ответил Филип беззаботным тоном. Тщеславие его было утолено. Достаточно было лишь проблеска учтивости, чтобы настроение у него переменилось. — А все же... что именно он сказал?

— Что раскаивается в своем поступке — сказал шутливо, как итальянцы всегда говорят такие вещи. Но о ребенке ни разу не обмолвился.

Экая важность — ребенок, когда в мире опять все стало на свои места! Филип улыбнулся, рассердился на себя за эту улыбку и невольно улыбнулся снова, — романтика вернулась в Италию, в стране не было больше плебеев, она сделалась прекрасной, любезной, обаятельной, как прежде. А мисс Эббот... она тоже была в своем роде прекрасна, несмотря на невоспитанность и ограниченность. Она не была безучастна к жизни и старалась прожить ее так, как считала нужным. И Генриетта... даже и та старалась.

В причинах, вызвавших столь превосходную перемену в Филипе, не было, собственно, ничего превосходного, и насмешки людей циничных были бы вполне оправданы. Однако ангелы и прочие практичные личности отнесутся к сей перемене с благоговением и назовут добрым деянием.

«Вид со Скалы (небольшие чаевые) прекраснее всего на закате», — пробормотал Филип как бы про себя.

— О ребенке не обмолвился ни разу, — повторила мисс Эббот. Она опять отошла к окну и опять принялась водить пальцем по изящным изгибам. Филип молча смотрел на нее и открывал в ней прелесть, которой не замечал раньше. Натура ее представляла поистине странную смесь.

— Вид со Скалы — правда ведь, он прекрасен?

— Что здесь не прекрасно? — ответила она мягко. — Но мне бы хотелось быть Генриеттой, — добавила она, вкладывая в эти слова какой-то особый смысл.

— Оттого что Генриетта?..

Она не пояснила свою мысль, но он заключил, что она отдала дань сложности жизни. Для нее-то экспедиция не была ни легкой, ни увлекательной. Красота, зло, обаяние, вульгарность, загадочность — она тоже, хоть и против своей воли, признавала, что все это переплетается в клубок. Ее голос взволновал Филипа, когда она

вдруг прервала молчание словами: «Мистер Герритон, подите сюда, взгляните!»

Она убрала стопку тарелок с готического окна, и они с Филипом высунулись наружу.

Против окна, зажатая внизу захудалыми домишками, вздымается высокая башня. Это — ваша башня. Стоит воздвигнуть баррикаду от башни к отелю, и всякое движение будет перекрыто. Подальше, там, где улица близ церкви пустеет, Мерли и Капоки, ваши родственники, поступают так же: они господствуют над Пьяццей, вы — над Сиенскими воротами. Горе тому, кто посмеет там показаться, он будет немедленно убит либо из луков, либо из арбалетов, либо при помощи греческого огня. И остерегайтесь окон спальни, ибо им угрожает башня Альдебрандески. Не раз бывало, что стрелы вонзались в стену и трепетали над умывальником. Хорошенько следите за этими окнами, а то как бы не повторились события февраля 1338 года, когда на отель неожиданно напали с тыла и тело вашего лучшего друга (вы с трудом признали его) выбросили с лестницы прямо вам под ноги.

— Она уходит вверх до самого неба, — проговорил Филип, — и вниз, прямо в преисподнюю. — Верхушка башни ярко освещалась солнцем, подножие, залепленное объявлениями, оставалось в тени. — Не есть ли она символ города?

Мисс Эббот ничем не показала, что поняла его. Но они продолжали стоять рядом у окна, потому что там было прохладнее, и просто им было приятно так стоять. Филип открыл в своей соседке изящество и легкость, которых не замечал в ней, живя в Англии. Узость взглядов ее была ужасающа, но все-таки она сознавала сложность мира, и это придавало ей трогательное очарование. Он не подозревал, что и в нем самом сейчас тоже больше привлекательности. Мы так тщеславны, что почитаем наш характер неизменным и неохотно признаем, что он изменился, даже когда перемена совершилась к лучшему.

На улицу высыпали жители — прогуляться перед обедом. Некоторые остановились, разглядывая объявления на башне.

— Уж не оперная ли там афиша? — заметила мисс Эббот.

Филип надел пенсне.

— «Лючия ди Ламмермур». Маэстро Доницетти. Единственное представление. Сегодня вечером.

— Опера? Тут?

— Что ж такого? Итальянцы в Монтериано тоже умеют жить. Они хотят иметь все, как у людей, пусть даже это все — плохого качества. Вот таким образом у них и накапливается так много хорошего. Каким бы скверным ни был сегодняшней спектакль, он, по крайней мере, будет полон жизни. Итальянцы не умеют наслаждаться музыкой тихо, как это делают несносные немцы. Публика принимает посильное участие в представлении — иногда более чем посильное.

— А нельзя нам пойти?

Он не удержался и съязвил, но не зло:

— Но ведь мы здесь, чтобы спасти ребенка!

Тут же он проклял себя. Оживление, радость в ее лице потухли, она стала прежней мисс Эббот из Состона, хорошей, добродетельной (уж это не вызывало никаких сомнений), но чудовищно скучной. Скучная, да еще полная раскаяния — что может быть убийственнее подобного сочетания? Он тщетно пытался преодолеть этот барьер, как вдруг услышал звук открывающейся двери.

Они виновато отпрянули от окна, как будто их застали за флиртом. Неожиданный оборот приняло их свидание. Гнев, циничность, непреклонная мораль вылились в дружелюбное чувство друг к другу и к городу, который их принимал. И вот теперь в столовой появилась Генриетта, резкая, цельная, громоздкая — та же, что и в Англии: характер ее не менялся никогда, а настроение — только под большим давлением. Однако даже Генриетте не было чуждо все человеческое, после чая она подобрела и не сделала Филипу выговора (а вполне могла бы) за то, что он не застал Джино. Она осыпала мисс Эббот любезностями и без конца восклицала, что приезд Каролины — удачнейшее совпадение на свете. Каролина не опровергала этого.

— Ты пойдешь к нему завтра в десять, Филип. Да, не забудь чек и не заполняй его заранее. Скажем, час на обсуждение дела. Нет, итальянцы так медлительны. Скажем, два часа. Значит, в двенадцать — ленч. Да. Ехать имеет смысл только вечерним поездом. До Флоренции я с ребенком управляюсь...

— Дражайшая сестра, остановись, пожалуйста. Даже пару перчаток не купишь за два часа, не то что младенца.

— Ну так три, четыре часа, или же заставь его подчиниться английским привычкам. Во Флоренции мы достанем няньку...

— Генриетта,— остановила ее мисс Эббот,— а что если на первых порах он не согласится?

— Таких слов для меня не существует,— веско произнесла Генриетта. — Я сообщила хозяйке, что нам с Филипом нужны комнаты только на одну ночь, и я сдержу слово.

— Надеюсь, что все получится. Но я же вам говорила, человек, которого я встретила на Скале, странный и трудный человек.

— И нагло ведет себя с женщинами, знаю. Но брат наверняка сумеет его образумить. Женщина, которая там живет, Филип, донесет ребенка до отеля. Ей, конечно, надо заплатить. Если удастся, захвати оттуда серебряные браслеты покойной Лилии, они очень славные, неброские и вполне подойдут Ирме. Еще там есть инкрустированная шкатулка для носовых платков. Я дала ее Лилии на время, а не подарила. Большой ценности она не имеет, но сейчас единственный случай получить ее обратно. Не спрашивай про нее, но если увидишь ее где-нибудь в комнатах, скажи просто, что...

— Нет, Генриетта, нет, я попытаюсь добыть младенца, но больше ничего. Обещаю приступить завтра утром и именно таким способом, как ты требуешь. Но сегодня вечером надо развлечься, мы все устали. Необходима передышка. Мы пойдем в театр.

— Ходить по театрам? Здесь? В такой момент?

— Нам вряд ли доставит это удовольствие, когда нас тяготит такое важное свидание,— добавила мисс Эббот, бросив на Филипа испуганный взгляд.

Он не выдал ее, но продолжал настаивать:

— А все-таки, по-моему, лучше пойти в театр, чем сидеть весь вечер и нервничать.

Сестра покачала головой.

— Мать не одобрила бы этого. Совершенно неподходящее занятие, более того — кощунственное. И кроме того, у иностранных театров дурная слава. Помнишь письма в газете «Семья и церковь»?

— Но это опера, «Лючия ди Ламмермур», сэра Вальтера Скотта. Классика, понимаешь?

Генриетта начала поддаваться, на лице ее изобразилось колебание.

— Музыку, конечно, удастся слушать не так уж часто. Правда, зрелище, наверное, никуда не годное. Но все же лучше, чем целый вечер бездельничать. Книж у нас нет, вязальный крючок я потеряла во Флоренции.

— Отлично. Мисс Эббот, вы тоже идете?

— Вы очень любезны, мистер Герритон. В какой-то степени мне, пожалуй, хочется пойти. Но — простите, что напоминаю вам, — вероятно, не следует сидеть на дешевых местах.

— Господи помилуй! — воскликнула Генриетта. — Мне самой в голову это не пришло. Мы скорее всего постарались бы сэкономить на билетах и очутились бы среди совершенно ужасных личностей. Как-то забываешь, что мы в Италии.

— У меня, к сожалению, нет вечернего платья, и если места...

— Ничего, не беспокойтесь, — Филип со снисходительной улыбкой взирал на своих боязливых и щепетильных спутниц. — Мы купим лучшие места, какие достанем, а пойдем — как есть. В Монтериано не так строго соблюдают этикет.

Таким образом, утомительный день, насыщенный решениями, замыслами, тревогами, битвами, победами, поражениями и перемириями, завершился в опере. Мисс Эббот и Генриетта сидели с несколько виноватым видом. Они думали о состонских друзьях, — те считали, что они сейчас сражаются с силами зла. Что бы сказала миссис Герритон, или Ирма, или приходские священники из Кухоньки, если бы застали спасательную экспедицию в этом увеселительном месте в первый же день прибытия с миссией? Филип и то дивился своему поведению. Он обнаружил, что получает удовольствие от пребывания в Монтериано, невзирая на утомительный нрав своих спутниц и собственные противоречивые настроения. Он побывал в этом театре однажды, много лет назад, когда давали «Тетушку Карло». С тех пор театр привели в порядок, он был отделан в свекольно-томатных тонах и вообще делал честь городу. Оркестр расширили, в ложах повесили терракотовые занавеси, над каждой ложей была прикреплена дощечка в аккуратной рамке —

с номером. Имелся также падающий занавес, изображавший лилово-розовый пейзаж, на фоне которого резвилось множество легкомысленно одетых леди, а над просцениумом возлежали еще две, поддерживавшие большие часы с мертвенно-бледным циферблатом. Зрелище было столь роскошным и чудовищным, что Филип еле удержался от восклицания. В дурном вкусе итальянцев есть что-то величественное. В нем нет стыдливой вульгарности англичан или тупой вульгарности немцев. И не то чтобы Италии был свойствен исключительно дурной вкус. Итальянское дурновкусие даже замечает красоту, но проходит мимо. Однако само оно обладает уверенностью подлинной красавицы. Театрик в Монтериано дерзко потягался бы с лучшими из театров, и леди с часами не постеснялись бы подмигнуть молодым людям с потолка Сикстинской капеллы.

Филип попросил сперва ложу, но лучшие места уже разобрали, представление в этот вечер было весьма торжественным, и Филипу пришлось довольствоваться креслами в партере. Генриетта была раздражена и необщительна. Мисс Эббот оживлена и готова хвалить все подряд. Она сожалела только об одном — что не захватила с собой нарядное платье.

— Мы выглядим достаточно прилично,— заметил Филип, которого забавляло ее неожиданное тщеславие.

— Да, я знаю, но ведь нарядное платье занимает не больше места в чемодане, чем будничное. Почему надо приезжать в Италию пугалом?

На сей раз он не ответил: «Но мы же здесь, чтобы спасти ребенка». Ему вдруг представилась очаровательная картина, одна из очаровательнейших, виденных им в жизни: раскаленный театр, снаружи — башни, темные ворота, средневековые крепостные стены. За стенами — рощи олив, озаренные лунным сиянием, белые выющиеся дороги, светляки и nepотревоженная пыль. А посреди всего этого — мисс Эббот, жалеющая, что выглядит как пугало. Она попала в самую точку. Вернее нельзя было и сказать. Эта чопорная провинциалка оттаивала в атмосфере красоты.

— Неужели вам здесь не нравится? — спросил он.

— Страшно нравится.

И, обменявшись столь смелыми репликами, эти двое убедили таким образом друг друга в том, что романтика еще жива.

Тем временем Генриетта зловеще покашливала, созерцая занавес. Наконец занавес поднялся, открыв территорию замка Рэвенсвуд, грянул хор шотландских вассалов. Зрители постукивали ногами, барабанили в такт косточками пальцев и раскачивались под звуки музыки, точно колосья на ветру. Генриетта, в общем, равнодушная к музыке, знала, однако, как ее следует слушать. Она испустила леденящее душу «ш-ш-ш!».

— Перестань,— шепнул брат.

— Надо с самого начала поставить их на место. Они болтают.

— Они, конечно, отвлекают,— пробормотала мисс Эббот,— но, может быть, нам лучше не вмешиваться.

Генриетта затрясла головой и опять зашикала. Зрители стихли, но не потому, что нехорошо разговаривать, когда поет хор, а потому, что угождать гостям естественно. На какое-то время Генриетта усмирила весь зал и теперь с самодовольной улыбкой поглядывала на брата.

Ее триумф вызвал у него раздражение. Он давно усвоил принцип итальянской оперы, стремившейся не создавать иллюзию, а развлекать. Поэтому Филип вовсе не желал, чтобы праздничный вечер превратился в молитвенное собрание. Но как только начали заполняться ложи, власть Генриетты кончилась. Знакомые семьи приветствовали друг друга через весь зал. Сидящие в задних рядах партера окликали братьев и сыновей, поющих в хоре, и громко расхваливали их пение. Когда у фонтана появилась Лючия, раздались бурные аплодисменты и выкрики «Добро пожаловать в Монтериано!».

— Невоспитанные дети!— проговорила Генриетта, откидываясь на спинку кресла.

— Гляди, да это наша распаренная дама с Апеннин! Которая никогда в жизни так не...

— Фу! Прекрати! Сейчас она покажет всю свою вульгарность. По-моему, здесь еще хуже, чем в туннеле. Мы совершенно напрасно...

Лючия запела, и на миг настала тишина. Певица была толста и уродлива, но голос был все еще прекрасен, и зал загудел, как сытый улей. Вся ее колоратурная партия сопровождалась восхищенными вздохами, а верхнюю ноту заглушил всеобщий взрыв восторга.

Так и шло представление. Певцы черпали вдохновение в одобрении публики, и два знаменитых секстета

были исполнены вполне сносно. Мисс Эббот поддалась общему настроению. Она тоже болтала, смеялась, аплодировала, кричала «бис!» и радовалась, обнаружив здесь красоту. Что касается Филипа, то он не только забыл про свою миссию, но вообще забылся. Сейчас он был не просто восторженный чужестранец. Он словно и не уезжал отсюда никогда. Он чувствовал себя как дома.

Генриетта, как в подобном же случае господин Бовари, пыталась разобраться в сюжете. Иногда она толкала своих спутников и спрашивала, при чем тут Вальтер Скотт. По временам она мрачно озиралась вокруг. Публика казалась пьяной, даже Каролина, в жизни не бравшая ни капли в рот, подозрительно раскачивалась. Волны неистового возбуждения, зарождаясь буквально из ничего, захлестывали зал. Кульминации оно достигло в сцене сумасшествия. Лючия, вся в белом, как того требовал ее недуг, внезапно подобрала свои струящиеся волосы и поклонилась публике. В ту же минуту из-за кулис (она притворилась, будто не видит) появилось нечто вроде бамбуковой рамы для сушки белья, сплошь утыканной букетами. Выглядело это преуродливо, цветы по большей части были искусственные, Лючия прекрасно это знала, публика тоже. Все знали, что рама — театральный реквизит и эта штука продлевается из года в год, чтобы раззадорить публику. Тем не менее явление рамы вызвало бурю. С криком радости и изумления певица обняла раму, вытащила два цветка поприличнее, прижала к губам и кинула в ряды поклонников. Те с громкими криками кинули их обратно, голоса их звучали мелодично. Маленький мальчик в одной из лож, расположенных на сцене, выхватил у сестры гвоздики и протянул певице. С криком «*Che carino!*»¹ та бросилась к мальчугану и поцеловала его. Шум поднялся невообразимый.

— Тише, тише! — закричали сзади пожилые зрители. — Пусть богиня продолжает!

Но молодые люди в соседней ложе не унимались и умоляли Лючию оказать им те же милости. Она сделала шутливо-отрицательный жест, отводя просьбу. Один из юношей швырнул в нее букетом. Она оттолкнула букет ногой. Но тут же, поощряемая ревом публики, подобрала цветы и швырнула в зал. Генриетте, как все-

¹ Какой милый! (итал.).

гда, не повезло. Букет попал ей прямо в грудь, из него выпала любовная записочка.

— Это ты называешь классикой? — завопила Генриетта, вскакивая с места.— Сплошное неприличие! Филип, сейчас же уведи меня отсюда!

— Чье это? — закричал ее брат, поднимая кверху в одной руке букет, в другой — записочку.— Чье?

Зал словно взорвался. В одной из лож началось бурное движение, будто кого-то выталкивали вперед. Генриетта двинулась по проходу, мисс Эббот поневоле последовала ее примеру. Филип, не переставая смеяться и выкликать: «Чье это?» — замыкал шествие. Он был пьян от возбуждения. Жара, усталость, восторг бросились ему в голову.

— Слева! — крикнули ему. — *Innamorato*¹ находится слева!

Филип покинул своих дам и юркнул к ложе. Навстречу ему поперек балюстрады вытолкнули молодого человека. Филип протянул ему букет и записку. И вдруг его крепко схватили за руки и горячо их пожали. Филип несколько не удивился, ему это показалось вполне естественным.

— Почему вы не написали? — воскликнул молодой человек.— Зачем такой сюрприз?

— Да нет, я написал, — весело и громко откликнулся Филип.— Я оставил карточку сегодня днем.

— Тише! Тише! — закричала публика, которой все это надоело.— Пусть богиня продолжает!

Мисс Эббот и Генриетта исчезли.

— Нет! Нет! — закричал молодой человек.— Вы от меня не убежите.

Филип вяло пытался высвободить руки.

Приветливые молодые люди перегнулись через барьер и приглашали Филипа к ним в ложу.

— Друзья Джино — наши...

— Друг? — воскликнул Джино.— Нет, родственник! Брат! Это фра Филиппо. Приехать из Англии и даже не предупредить!

— Я оставил записку.

Зрители начали шикать.

— Присоединяйтесь к нам.

— Спасибо... я с дамами... не могу...

¹ Влюбленный (итал.).

В следующую минуту его втащили за руки в ложу. Дирижер, видя, что инцидент исчерпан, поднял палочку. Зал утихомирился, и Лючия ди Ламмермур возобновила арию безумия и смерти.

Филип шепотом знакомился с приятными юношами, которые втащили его,— возможно, сыновьями торговцев, или студентами-медиками, или клерками, служащими у стряпчих, или тоже сыновьями зубных врачей. В Италии трудно распознать, кто — кто. Их гостем на сегодняшней вечер был солдат. Теперь он разделил эту честь с Филипом. Им пришлось стоять впереди рядом, обмениваясь любезностями, а Джино, до восхитительности знакомый, играл роль учтивого хозяина. Порой Филипа охватывал приступ страха, до сознания его доходило, какую кашу он заварил. Потом страх проходил, и Филип опять поддавался чарам веселых голосов, смеха, ни разу не прозвучавшего фальшиво, и легкого похлопывания лежащей у него на спине руки.

Только перед самым концом удалось уйти — в тот момент, когда Эдгар запел, бродя между могил своих предков. Новые знакомцы Филипа пригласили его на следующий вечер в кафе «Гарибальди». Он пообещал прийти, потом вспомнил, что по плану Генриетты он к тому времени уже покинет Монтериано.

— Так, значит, в десять часов, — напомнил он Джино. — Мне надо поговорить с вами наедине. В десять утра.

— С удовольствием! — засмеялся тот.

Мисс Эббот не ложилась и поджидала его. Генриетта, по всей видимости, прямо пошла спать.

— Это был он, да? — спросила мисс Эббот.

— Вы угадали.

— Надо полагать, вы ни о чем не договорились?

— Нет, конечно, до того ли мне было? Вышло так... словом, я был не подготовлен. Но какое это имеет значение? Почему бы нам не обсудить дела, пребывая в хороших отношениях? Он совершенно очарователен, друзья его тоже. Теперь и я ему друг. Утраченный и обретенный брат. Ну и что тут плохого? Уверяю вас, мисс Эббот, в Англии — одно, в Италии — другое. Там мы строим планы, руководствуясь высокими моральными принципами. А здесь убеждаемся, какие мы остолопы, ибо жизнь тут идет сама собой, независимо от нас. Боже, что за ночь! Видели ли вы раньше такое

лиловое небо и такие серебряные звезды? Словом, как я уже говорил, беспокоиться глупо, он непохож на нежного отца. Этот ребенок ему нужен так же, как и мне. Просто он потешался над моей матерью, как потешался надо мной полтора года назад. Но я его прощаю. У него есть чувство юмора, да еще какое!

Мисс Эббот тоже провела восхитительный вечер, она тоже никогда не видела такого неба и звезд. В ушах у нее звучала музыка, а когда она раскрыла окно, в комнату влился теплый, душистый воздух. Она погрузилась в красоту, красота облекала ее снаружи, проникала в душу. Ей не хотелось спать, ее переполняло счастье. Была ли она когда-нибудь так счастлива? Да, однажды, мартовским вечером, именно здесь, когда Джино и Лилия открыли ей свою любовь — тем вечером, когда она сама выпустила на свет зло. Теперь она приехала, чтобы исправить содеянное.

Она вдруг вскрикнула от стыда:

— Опять, в том же городе, все то же самое!

Она принялась гасить ощущение счастья, сознавая, что оно греховно. Она вернулась сюда, чтобы бороться против этого злосчастного города, спасти младенческую душу, пока еще невинную. Она здесь для того, чтобы постоять за нравственность, чистоту и святость английского очага. Той весной она совершила грех по неведению. Теперь она более сведуща.

— Помоги мне! — воскликнула она и закрыла окно, словно наружный воздух источал что-то колдовское. Но музыка продолжала звучать у нее в ушах, и всю ночь напролет ей чудились волны мелодий, аплодисменты, смех и молодые люди, которые задорно выкрикивали строчки из бедекера:

Поджибонси, посторонись,
Монтериано лезет ввысь.

Ей вдруг привиделся Поджибонси — безрадостный, беспорядочно раскиданный городок, населенный притворщиками. Проснувшись, она поняла, что видела во сне Состон.

VII

На другое утро около девяти Перфетта вышла в лоджии, но не для того, чтобы полюбоваться видом, а чтобы выплеснуть грязную воду.

— Scuse tante!¹ — отчаянно завопила она, увидев, что обрызгала высокую молодую леди, которая стучала внизу в дверь.

— Синьор Карелла дома? — спросила молодая леди.

Возмущаться не входило в обязанности Перфетты, а стиль гости требовал гостиной. Поэтому Перфетта отворила в гостиной ставни, обмахнула тряпкой середку одного стула и пригласила леди сделать одолжение присесть (что было бы действительно большим одолжением со стороны гости). Потом бросилась со всех ног в город и забегала по улицам, громко выкликая молодого хозяина в надежде, что тот в конце концов услышит.

Гостиная была посвящена памяти покойной жены. На стене висел глянцевый портрет, по всей вероятности, копия того, что, должно быть, украшал памятник на ее могиле. Над портретом был прибит лоскут черной материи, чтобы придать скорби достойный вид. Но два гвоздика выпали, и лоскут торчал криво, с ухарством, точно шляпка на пьянчужке. На фортепьяно лежала раскрытая негритянская песня, на одном из столиков покоилась бедекеровская «Центральная Италия», на другом — инкрустированная шкатулка Генриетты. Все покрывал густой слой белой пыли, и если пыль сдували с одного сувенира, она тут же оседала на другом. Приятно, когда нас помнят и любят. Не так уж страшно, если забудут совсем. Но если что на свете и кажется нам оскорбительным, так это когда превращают заброшенную комнату в святыню.

Мисс Эббот не села отчасти потому, что в салфеточках могли водиться блохи, а еще потому, что вдруг почувствовала себя дурно и ухватилась за печь, не в состоянии сделать шага. Она изо всех сил боролась с собой, ибо только при условии, что она сохранит хладнокровие, поведение ее можно будет счесть извинительным. Она предала Филипа и Генриетту, собиралась опередить их, сама добыть ребенка. Если ей это не удастся, она не сможет смотреть им в глаза.

«Генриетта и ее брат, — рассуждала она, — не понимают, с кем имеют дело. Генриетта будет груба, агрессивна. Филип будет любезен и ничего не примет всерьез. И оба потерпят неудачу, даже если предложат деньги.

¹ Извините, ради бога! (итал.).

Я же начинаю постигать натуру этого человека. Ребенка он не любит, но может обидеться, что для нас одинаково неудачно. Он обаятелен и отнюдь не глуп; он покорила меня в прошлом году, покорила вчера мистера Герритона и, если я не буду осмотрительна, покорила нас всех сегодня, и тогда ребенок вырастет в Монтериано. Он очень сильный человек, Лилия обнаружила это в полной мере, но помню об этом только я».

Ее приход и приведенные выше доводы явились результатом долгой бессонной ночи. Мисс Эббот пришла к выводу, что лишь ей одной дано справиться с Джино, так как только она разгадала его. Она постаралась как можно деликатнее объяснить это в записке, которую оставила Филипу. Ей было огорчительно писать такую записку, потому что ей с детства привили уважение к мужчине, и, кроме того, после их недавнего странного разговора Филип стал ей очень симпатичен. Однбокость его взглядов со временем должна была пройти, а его пресловутое бунтарство, о котором столько судачили в Состоне, как выяснилось, было сродни собственным ее взглядам. Если только он сумеет простить ей теперешнюю выходку, между ними возможна долгая и полезная для обоих дружба. Но для этого она должна выиграть. Никто ее не простит, если она не добьется успеха. Мисс Эббот приготовилась сражаться с силами зла.

Наконец послышался голос ее противника — Джино пел, не сдерживаясь, во всю ширь своих легких, как профессиональный певец. Тут он отличался от англичан, которые относятся к музыке несерьезно и поют только горлом, как бы извиняясь.

Он взбежал по ступенькам и мимоходом взглянул на раскрытую дверь гостиной, но не заметил мисс Эббот. Он отвернул лицо и, продолжая петь, вошел в комнату напротив. Сердце у нее забилося сильнее, в горле пересохло. Всегда делается не по себе, когда тебя не замечают.

Он не затворил дверь, и мисс Эббот через площадку видела, что там делается. В комнате творился невообразимый кавардак. Еда, простыни, лакированные ботинки, грязные тарелки и ножи валялись вперемешку на большом столе и на полу. Но видно было, что это жилой кавардак, что его создает жизнь, а не запустение. Комната все равно была милее того склепа, где стояла

она,— там широко разливался мягкий свет, очевидно, входящий в какой-то просторный, щедрый проем.

Пение прекратилось.

— Где Перфетта? — спросил Джино.

Он стоял спиной к двери и закуривал сигару. Он обращался не к мисс Эббот, он и не ждал ее. Пространство площадки и две открытые двери удаляли его, но в то же время и выделяли, словно актера на сцене,— одновременно близкого и недоступного. Она так же не могла окликнуть его, как не могла бы окликнуть Гамлета.

— Ты знаешь! — продолжал он.— Но не хочешь сказать. Очень на тебя похоже.— Джино прислонился к столу и выпустил пухлое кольцо дыма.— Почему это ты не хочешь мне назвать цифры? Я видел во сне рыжую курицу — это двести пять. Неожиданно приехал друг — восемьдесят два. На этой неделе я собираюсь в Терно. Так что скажи мне еще какое-нибудь число.

Мисс Эббот не знала про томболу. Она испугалась. На нее напало оцепенение, которое она не могла стряхнуть,— так бывает, когда очень устанешь. Выспись она ночью, она бы окликнула его, как только он вошел. А теперь он находился в другом мире.

Она следила за колечком дыма. Оно медленно уносило прочь от Джино и благополучно вылетело на площадку.

— Двести пять — восемьдесят два. Все-таки я поставлю их на Бари, а не на Флоренцию. Не могу объяснить почему. Просто у меня такое ощущение.

Она хотела заговорить, но кольцо гипнотизировало ее. Оно растянулось в эллипс и вплыло в гостиную.

— Ах, тебе не нужен выигрыш? Ты даже не хочешь сказать «спасибо, Джино»? Сейчас же скажи, а то я сброшу на тебя горячий, раскаленный пепел. «Спасибо, Джино...».

Кольцо протянуло к ней свои голубоватые щупальца. Кольцо окутало ее, словно дыхание из могилы. Она потеряла самообладание и вскрикнула.

В одно мгновение он очутился около нее, спрашивая, что ее напугало, как она сюда попала, почему не позвала его раньше. Он усадил ее. Принес вина, она отказалась. Она не могла произнести ни слова.

— Что случилось? — повторял он.— Что вас напугало?

Он и сам испугался, на загорелой коже выступили капли пота. Не очень-то хорошо, когда за тобой незаметно наблюдают. Все мы раскрываемся, источаем что-то необъяснимо интимное, когда думаем, что одни.

— По делу,— наконец выдавила она.

— Дело — ко мне?

— Очень важное,— побледнев, она безвольно откинулась на спинку пыльного стула.

— Сперва вам надо прийти в себя. Вино отличное.

Она слабо отказалась. Он налил стакан. Она выпила. И тут же опомнилась. Каким бы ни было дело важным, не следовало приходить сюда, а тем более пользоваться его гостеприимством.

— Вы, вероятно, заняты,— проговорила она,— а так как я неважно себя чувствую...

— Значит, уходить вам пока нельзя. Да я и не занят.

Она нервно поглядела на открытую дверь комнаты напротив.

— А-а, теперь понимаю! — воскликнул он.— Я понял, что вас напугало. Почему же вы не заговорили сразу?

Он повел ее в комнату, в которой жил, и показал ей... ребенка. Она столько думала о нем, о его благополучии, о душе, нравственности, будущих недостатках. Но, как для большинства одиноких людей, он был для нее всего лишь словом, подобно тому, как для здорового человека смерть — лишь слово, а не реальное событие. Реальный ребенок, спавший на грязной подстилке, привел ее в замешательство. Он перестал быть отвлекающей проблемой. Перед ней была плоть и кровь, дюймы и унции жизни — восхитительный, не подлежащий сомнению факт, который произвели на свет мужчина и женщина; к нему можно было обращаться, со временем он станет отвечать, а впоследствии может и не отвечать, если ему не захочется, и станет копить где-то внутри себя собственные, одному ему принадлежащие мысли и удивительные переживания. Он-то и был тем механизмом, к которому последние месяцы она и миссис Герритон, Филип и Генриетта заглазно примеряли свои многообразные идеалы: решали, что в свое время он будет двигаться в ту или иную сторону, обязан совершать такие-то, а не другие поступки. Должен принадлежать к евангелистской церкви, обладать высокими устоями, быть тактичным, воспитанным, артистичным —

превосходные идеалы, ничего не скажешь. Но сейчас, когда она увидела младенца, спящего на грязной тряпке, у нее возникло большое желание не навязывать ему ни одного из этих идеалов, не оказывать никакого влияния, разве ровно столько, сколько содержится в поцелуе или в неопределенной, смутной, но искренней молитве.

Но путем длительных упражнений она научилась управлять собой, и ее чувствам и поступкам не полагалось пока совпадать. Для того чтобы восстановить уверенность в себе, она попыталась вообразить, будто находится в своем приходе, и соответственно повела себя.

— Какой замечательный ребенок, синьор Карелла. Как мило, что вы с ним разговариваете. Правда, я вижу, неблагодарное маленькое создание спит! Ему семь месяцев? Нет, восемь, конечно, восемь. Поразительно крупный ребенок для своего возраста.

Невозможно говорить свысока по-итальянски. Поэтому покровительственные слова выговорились искренне и приветливо, и Джино улыбнулся от удовольствия.

— Не стойте. Посидим в лоджии, там прохладно. В комнате такой беспорядок,— добавил он с видом хозяйки, которая просит извинения за то, что на ковре в гостиной оказалась нитка.

Мисс Эббот прошла в лоджию и села на стул. Джино устроился неподалеку, верхом на парапете, так что одна нога у него стояла в лоджии, а другая свешивалась наружу, на фоне пейзажа. Красивый профиль четко обрисовывался на туманно-зеленом фоне холмов. «Позирует! — подумала мисс Эббот.— Прирожденный натурщик».

— Вчера сюда заходил мистер Герритон,—начала она,— но не застал вас.

Он пустился в затейливое грациозное объяснение. Он на один день уезжал в Поджибонси. Почему Герритоны ему не написали заранее, он бы принял их как следует. Поджибонси бы подождал. Правда, дело у него там довольно важное... Угадайте какое!

Ее это не очень интересовало. Не для того она приехала из Состона, чтобы угадывать, зачем он был в Поджибонси. Она вежливо ответила, что не имеет представления, и попыталась вернуться к своей миссии.

— Нет, догадайтесь! — настаивал он, хлопая по парапету ладонями.

Она мягко, но не без яда, предположила, что он ездил туда в поисках работы.

Он намекнул, что дело далеко не столь важно. А искать работу — затея почти безнадежная. «E tanca questo!»¹ Он потер большой палец об указательный, желая показать, что у него нет денег. Затем вздохнул и выпустил еще одно кольцо дыма. Мисс Эббот скрепя сердце решила проявить дипломатичность.

— Дом очень велик...— проговорила она.

— Вот именно,— сумрачно подтвердил он.— И когда умерла моя бедная жена...— он встал, прошел через комнату и площадку и благоговейно прикрыл дверь гостиной. Потом захлопнул дверь своей комнаты ногой и деловито вернулся на место.— Когда умерла моя бедная жена, я думал пригласить сюда родственников. Отец мой готов был отказаться от практики в Эмполи, мать, сестры и две моих тетки тоже охотно соглашались жить здесь. Но это невозможно. У них свои привычки. Когда я был моложе, меня все устраивало. Но теперь я взрослый мужчина, и у меня свои привычки. Понимаете?

— Да,— ответила мисс Эббот, думая о собственном отце, чьи повадки и выходки после двадцати пяти лет совместного житья стали действовать ей на нервы. Она тут же спохватилась, что пришла не для того, чтобы сочувствовать Джино, и, во всяком случае, не для того, чтобы проявлять сочувствие.

— Дом велик,— повторила она.

— Огромен! А налоги! Но здесь будет лучше, когда... Да, но вы так и не отгадали, зачем я ездил в Поджибонси, почему меня не было дома, когда он заходил.

— Я не могу гадать, синьор Карелла. Я пришла по делу.

— Все-таки попробуйте.

— Не могу. Я вас недостаточно знаю.

— Ну как же, мы с вами старые друзья,— возразил он.— Мне будет приятно ваше одобрение. Однажды я заслужил ваше одобрение. Заслужу ли теперь?

— В этот раз я приехала не как друг,— ответила она холодно.— Едва ли я склонна одобрить какой бы то ни было из ваших поступков, синьор Карелла.

¹ Не хватает этого! (итал.).

— Ох, синьорина! — он засмеялся, как будто находил ее пикантной и забавной.— Но ведь вы одобряете брак?

— Когда он по любви,— мисс Эббот пристально на него посмотрела. Лицо его за последний год изменилось, но, как ни странно, не к худшему.

— Когда он по любви,— подтвердил он, из вежливости вторя английскому взгляду на вещи. Он улыбнулся ей, ожидая поздравлений.

— Должна ли я понять, что вы снова намерены жениться?

Он кивнул.

— А я вам запрещаю!

Он озадаченно поглядел на нее, но, приняв ее реакцию за иностранную манеру шутить, засмеялся.

— Я запрещаю вам! — повторила мисс Эббот со страстью, вкладывая в свои слова все негодование женщины и англичанки.

— Почему? — он нахмурился и спрыгнул на пол. Голос его зазвучал пронзительно и нетерпеливо, как у ребенка, у которого отняли игрушку.

— Вы уже погубили одну женщину. Я запрещаю вам губить вторую. Еще не прошло года, как умерла Лилия. Позавчера вы притворялись, будто любили ее. Вы лгали. Вам были нужны только ее деньги. У этой женщины тоже есть деньги?

— Ну да! — ответил он досадливо, не понимая, чего она от него хочет.— Немного есть.

— И вы, надо полагать, станете утверждать, будто любите ее?

— Не стану. Это была бы неправда. А вот мою бедную покойную жену... — он остановился, сообразив, что сравнение вовлечет его в затруднительные объяснения. И в самом деле, ему частенько казалось, что Лилия ничем не лучше других женщин.

Его намерение жениться — последнее оскорбление, нанесенное ее покойной приятельнице,— привело мисс Эббот в совершенную ярость. Она даже порадовалась, что способна так сердиться на этого мальчика. Она метала громы и молнии, язычок ее так и работал. Если бы миссия ее уже была выполнена, она могла бы величественно выплыть из дома. Но с ребенком еще не было улажено.

Джино стоял и задумчиво скреб в затылке. Он уважал мисс Эббот и хотел, чтобы и она уважала его.

— Значит, вы мне не советуете? — с огорчением произнес он. — Но почему вы считаете, что брак будет неудачным?

Мисс Эббот напомнила себе, что перед ней мальчик — мальчик со страстями и властью порочного мужчины.

— Как может он быть удачным, если нет любви? — спросила она серьезно.

— Но она-то меня любит! Я забыл вам сказать.

— Вот как?

— Страстно, — он приложил руку к сердцу.

— В таком случае, помоги ей господь!

Он нетерпеливо топнул ногой.

— Что я ни скажу, синьорина, все вам не нравится. Пусть господь поможет вам, потому что вы очень несправедливы. Вы уверяете, что я плохо обращался с моей дорогой женой. Ни с кем я плохо не обращался. Вы недовольны, что в новом браке нет любви. Я вам доказываю, что любовь есть, а вы еще больше сердитесь. Чего вы хотите? Вы думаете, ей будет плохо? Да она уже рада, что выходит за меня, она будет хорошо выполнять свои обязанности.

— Обязанности! — воскликнула мисс Эббот со всей саркастичностью, на какую была способна.

— Ну конечно. Она знает, зачем я на ней женюсь.

— Чтобы преуспеть в том, в чем не сумела преуспеть Лилия! Чтобы быть вашей экономкой, рабыней, вашей... — слова, которые ей хотелось высказать, были для нее чересчур грубы.

— Чтобы ухаживать за ребенком, вот зачем, — пояснил он.

— За ребенком? — она совсем забыла про него.

— Мой брак будет вполне английским, — гордо продолжал он. — Я не забочусь о деньгах. Она нужна мне ради сына. Неужели вы не понимаете?

— Нет, — ответила мисс Эббот, вконец озадаченная. И вдруг ее осенило. — В этом нет надобности, синьор Карелла. Если ребенок вам в тягость... — Она всегда потом вспоминала, что, к своей чести, сразу поняла свою ошибку. — Я не так выразилась, — добавила она быстро.

— Я понимаю,— вежливо ответил он.— Когда говоришь на чужом языке — а вы так чудесно говорите по-итальянски,— легко ошибиться.

Она взгляделась в его лицо, но не увидела ни намека на иронию.

— Вы хотели сказать, что нам с ним не придется пока быть вместе. Вы правы. Но что делать? Няньку я держать не могу, а Перфетта слишком неумелая. Когда он болел, я ее к нему не допускал. Когда его надо выкупать — приходится же купать его время от времени — то кто его моет? Я. Я кормлю его или решаю, чем покормить. Я сплю с ним и утешаю, когда ночью ему не по себе. Только я разговариваю с ним, только я пою для него. Не будьте же несправедливы — мне нравится все это делать, но все-таки... — голос его прозвучал жалобно,— эти дела отнимают много времени и не очень подходят для молодого человека.

— Очень не подходят,— мисс Эббот утомленно прикрыла глаза. С каждой минутой ситуация становилась все затруднительнее. Если бы только не испытывать такую усталость, ей легче было бы бороться с обуревавшими ее противоречивыми чувствами! Как ей не доставало стойкого и тупого упорства Генриетты или бездуш- ной дипломатичности миссис Герритон...

— Еще вина? — заботливо спросил Джино.

— Нет, нет, благодарю вас. Синьор Карелла, ведь женитьба — очень серьезный шаг. Вы не могли бы найти более простой выход? Например, попросить кого-то из родственников...

— Отдать в Эмполи? Да это все равно что отдать в Англию!

— Так отдайте в Англию.

Он рассмеялся.

— У него там есть бабушка, вы же знаете, миссис Теобалд.

— У него и здесь есть бабушка. Нет, он доставляет много хлопот, но я с ним не расстанусь. Я даже не хочу приглашать сюда отца и мать. Они нас разлучат.

— Каким образом?

— Они разлучат наши мысли.

Она умолкла. Этому жестокому, порочному человеку были ведомы недоступные ей утонченные чувства. Ей в полную силу открылась страшная истина — что скверные люди способны любить. Все ее моральные принципы

были сокрушены. Сласти ребенка, не дать заразе проникнуть в него — вот ее долг, и она по-прежнему собиралась выполнить его. Но приятное сознание превосходства добродетели покинуло ее. Она находилась в присутствии чего-то более великого, чем добро и зло.

Забыв про обязанности хозяина, побуждаемый инстинктом, который она в нем пробудила, он перешел в комнату.

— Просыпайся! — потребовал он, словно будил взрослого приятеля. Он приподнял ногу и легонько нажал мальчику на живот.

— Осторожней! — вскрикнула мисс Эббот. Она не привыкла к такому способу будить грудных младенцев.

— Он не длиннее моего ботинка, правда? Можете вы себе представить, что потом его ботинки будут такой величины, как сейчас — все его тело. И что он тоже...

— Ну можно ли с ним так обращаться?

Он застыл в задумчивости, поставив ногу на тельце ребенка, охваченный вдруг желанием, чтобы сын был похож на него и породил подобных себе сыновей, и те населили землю. Это — сильнейшее из желаний, охватывающих мужчину, если ему вообще дано испытать его, — сильнее любви, сильнее желания личного бессмертия. Им хвалятся все мужчины, уверяя, будто испытывают его, но на самом деле у большинства помыслы сосредоточены на других вещах. Лишь немногим дано осознать, что они вечно могут источать свою телесную и духовную жизнь. Мисс Эббот, несмотря на все свои добродетели, не могла постичь этого чувства, хотя такие тонкости как раз доступнее пониманию женщин. И когда Джино показал сперва на себя, а потом на ребенка и сказал: «Отец — сын», она восприняла его слова как ласковый лепет и машинально улыбнулась.

Ребенок, первенец, проснулся и широко раскрыл глаза. Джино не заговорил с ним, а продолжал излагать свои соображения.

— Эта женщина будет делать все, что я велю. Она любит детей. Опрятна. У нее приятный голос. Красивой ее не назовешь, не буду вас обманывать. Но в ней есть все, что мне нужно.

Ребенок издал пронзительный вопль.

— Пожалуйста, осторожнее! — взмолилась мисс Эббот. — Вы раздавите его.

— Пустяки. Вот если он плачет беззвучно, тогда надо беспокоиться. Просто он думает, что сейчас я буду его купать, и он прав.

— Купать? — поразилась она. — Вы? Прямо здесь?

Такая идиллическая деталь разрушила все ее планы. Добрых полчаса у нее ушло на тонкую подготовку и пробные атаки с высоких нравственных позиций, но ей не удалось ни напугать противника, ни рассердить его, ни хотя бы отвлечь чуть-чуть от домашних занятий.

— Утром я ушел в аптеку, — продолжал он, — и посиживал там в прохладе. И вдруг вспомнил, что Перфетта еще час назад согрела воды — вон она стоит, накрытая подушкой. Я сразу вернулся, надо же его искупать. Извините меня. Откладывать больше нельзя.

— Я задержала вас, — упавшим голосом произнесла она.

Он решительно направился в лоджию и принес оттуда большой глиняный таз, грязный изнутри. Вытер его скатертью. Достал медный чайник с горячей водой, налил ее в таз, разбавил холодной водой. Порылся в кармане и извлек оттуда кусок мыла. Затем взял младенца и, не вынимая сигары изо рта, начал его раскутывать. Мисс Эббот направилась к выходу.

— Зачем вы уходите? Простите меня, но мы можем разговаривать, пока я буду его мыть.

— Мне больше нечего сказать, — ответила она. Ей оставалось только найти Филипа, сознаться в своем постыдном провале и попросить сменить ее на этой стезе — и пожелать ему удачи. Она кляла свое бессилие, рвалась покаяться в нем без самооправданий и без слез.

— Побудьте еще минутку! Вы его не видели.

— Я видела, с меня достаточно, спасибо.

Последнее покрывало было снято, двумя руками Джино протянул ей брыкающееся бронзовое тельце.

— Подержите его!

Она не хотела брать.

— Я уйду сейчас же, — вырвалось у нее: слезы (не те слезы, которых она боялась) навернулись ей на глаза.

— Кто бы поверил, что его мать была блондинкой? Он весь смуглый, до единого дюйма. Нет, поглядите, как он красив! И подумать только — он мой! Мой навечно. Даже если он меня возненавидит, все равно он мой. Это от него не зависит, он сотворен мною, я его отец.

Уходить было поздно. Она не могла объяснить — почему, но поздно. Когда Джино прижался к сыну губами, она отвернулась. Зрелище это было слишком непохоже на умилительную сцену в детской. Этот человек был величествен, он являл собой часть самой Природы. Ни в какой любовной сцене не поднялся бы он на такую высоту. Ибо непостижимые физические узы связывают родителей с детьми, но, по печальной и странной иронии судьбы, не связывают детей с родителями. Если бы мы, дети, могли отвечать на родительскую любовь не благодарностью, а равной любовью, жизнь потеряла бы значительную долю трагизма и убожества, и мы стали бы неизъяснимо счастливы. У Джино, страстно сжимающего сына, у мисс Эббот, благоговейно отводящей глаза,— у обоих были родители, которых они и вполнину так не любили.

— Можно, я помогу вам мыть его? — робко спросила она.

Он молча передал ей сына, они опустились на колени друг подле друга и стали закатывать рукава. Ребенок перестал плакать и в неукротимой радости засучил руками и ногами. Мисс Эббот, как всякая женщина, любила мыть и чистить, а тем более когда дело касалось человеческого существа. Занимаясь в приходе благотворительностью, она приобрела богатый опыт обращения с детьми. Скоро Джино перестал давать ей указания и только благодарил ее.

— Как вы добры,— бормотал он.— И в таком красивом платье. Он уже почти чистый. Удивительно, у меня ушло бы на это все утро! С ребенком куда больше возни, чем можно подумать. А Перфетта моет его так, будто стирает белье. Он потом кричит часами. У моей жены должна быть легкая рука. Ух, как он брыкается! Он вас забрызгал? Простите.

— Готово. Теперь мягкое полотенце,— приказала мисс Эббот, необычайно возбужденная процедурой.

— Сейчас, сейчас! — Он с видом опытного человека шагнул к шкафу. Но он и представления не имел, где взять мягкое полотенце. Обычно он вытирал сына о первую попавшуюся сухую тряпку.

— И немного талька.

Он в отчаянии ударил себя по лбу. Очевидно, запас талька вышел. Она пожертвовала свой чистый носовой платок. Он поставил ей стул в лоджии, которая глядела

на запад и поэтому хранила еще приятную свежесть. Мисс Эббот села спиной к расстилавшимся двадцати милям пейзажа, и Джино положил ей на колени мокрого младенца. Тот сиял здоровьем и чистотой и словно отражал свет, как медная посуда. Точно такого, но только томного младенца Беллини сажает на материнские колени, Синьорелли бросает корчащегося на мраморные плиты, а Лоренцо ди Креди, более почтительный, но менее проникнутый божественным духом, осторожно укладывает на цветы, подсунув ему под голову пучок золотистой соломы. Джино какое-то время созерцал их стоя. Потом, чтобы удобнее было смотреть, опустился на колени возле стула и молитвенно сложил руки.

Так и застал их Филип,— вылитые Дева с Младенцем и поклоняющийся волхв.

— Привет! — воскликнул он, радуясь такой отрадной картине.

Мисс Эббот не ответила на приветствие, неуверенно встала и отдала ребенка отцу.

— Не уходите! — шепнул Филип.— Я получил вашу записку. Я не сержусь, вы совершенно правы. Вы мне действительно нужны, без вас я ни за что бы не справился.

Не проронив ни слова, она прижала руки ко рту, словно испытывая мучительную боль.

— Синьорина, пожалуйста, останьтесь, вы были так добры.

Она вдруг расплакалась.

— В чем дело? — мягко спросил Филип.

Она попыталась что-то сказать и, горько рыдая, убежала из комнаты.

Мужчины уставились друг на друга. Потом, словно сговорившись, бросились в лоджию. Они успели увидеть, как мисс Эббот исчезла за деревьями.

— В чем дело? — повторил Филип. Ответа он не получил, да ответ и не был ему нужен. Произошло что-то странное, что именно — он и не пытался догадаться. Возможно, потом он узнает от мисс Эббот.

— Так какое у вас дело? — недоуменно вздохнув, произнес наконец Джино.

— Мы... мисс Эббот, вероятно, вам рассказала?

— Нет.

— Но ведь...

— Она пришла по делу. Но потом забыла про него, и я тоже.

Перфетта, обладавшая даром не находить тех, кого искала, вернулась и громко сетовала на большие размеры Монтериано и путаницу улиц. Джино поручил ей присмотреть за сыном. Затем предложил Филипу сигару, и они перешли к делу.

VIII

— С ума сошла! — вскричала Генриетта. — Она положительно и бесповоротно сошла с ума!

Филип счел благоразумным не противоречить.

— Зачем она сюда явилась? Ответь-ка. Что она делает в Монтериано в августе месяце? Почему она не в Нормандии? Ответь. Она-то не скажет. Но я скажу: она явилась сюда, чтобы сорвать наши планы. Она пронюхала о материнских замыслах и предала нас. О боже, как болит голова!

Филип имел неосторожность ответить:

— Ну, в предательстве-то она не виновата. Она действует на нервы, это правда, но она приехала не затем, чтобы предать нас.

— Тогда зачем? Отвечай.

Он промолчал. К счастью, сестра была так взволнована, что и не стала ждать ответа.

— Вбежала вдруг сюда заплаканная, бог знает в каком виде. Говорит, виделась с итальянцем. И объяснить толком ничего не может. Якобы переменяла мнение. Какое нам дело до ее мнения? Я вела себя совершенно спокойно. Я сказала: «Мисс Эббот, тут какое-то недоразумение. Моя мать, миссис Герритон...» Ох, господи, голова! У тебя, конечно, ничего не вышло... Не трудись отвечать, я и сама вижу. Где, скажи на милость, ребенок? Разумеется, тебе его не отдали. Милейшая Каролина не позволила тебе его забрать. Да, да, мы, видите ли, должны уехать немедленно и больше отца не беспокоить. Так велит она. Слышишь? Велит! В е л и т!

И Генриетта разрыдалась.

Филип постарался взять себя в руки. Как ни была сестра невыносима, ее возмущение было вполне правомерно. А ведь мисс Эббот вела себя еще хуже, чем думала Генриетта.

— Ребенка я пока не получил, Генриетта, но я вовсе не потерпел неудачу. Мы с синьором Кареллой договорились встретиться сегодня еще раз в кафе «Гарибальди». Он ведет себя абсолютно разумно и вежливо. Если бы ты согласилась пойти со мной, ты бы увидела, что он охотно ведет переговоры. Он очень нуждается в деньгах, а достать их ему негде. Мне удалось это выяснить. Но в то же время он по-своему привязан к ребенку.

Филип не обладал интуицией мисс Эббот, а может быть, ему просто не представилось такого благоприятного случая, как ей.

Генриетта лишь рыдала и обвиняла брата в том, что он оскорбил ее: как можно себе представить, чтобы леди разговаривала с таким чудовищем? Да за одно это Каролину следовало бы заклеить. Бедная, бедная Лилия!

Филип побарабанил пальцами по подоконнику. Он не видел никакого выхода из создавшегося положения. Как ни бодро он говорил про второе свидание с Джино, в глубине души он чувствовал, что оно тоже ничего не даст. Джино был чересчур любезен. Ему, очевидно, не хотелось обрывать переговоры резким отказом и нравилась вежливая и несерьезная торговля. К тому же Джино нравилось водить за нос противника, и делал он это так изящно, что сердиться на него было невозможно.

— Мисс Эббот ведет себя неслыханно,— проговорил наконец Филип.— И тем не менее...

Но сестра не пожелала его выслушать. Она снова ополчилась на Каролину, обвиняя ее в том, что та сошла с ума, лезет не в свое дело и вообще нестерпимо двулична.

— Генриетта, ты должна меня выслушать. Перестань же плакать. Я хочу сказать тебе кое-что важное.

— Не перестану,— возразила сестра. Однако, увидев, что он молчит, утихла.

— Прими во внимание, что мисс Эббот не нанесла нам никакого вреда. Она ничего ему не открыла. Он до сих пор считает, что она действует с ним заодно,— я выяснил это.

— Вовсе не заодно.

— Правильно, но если ты будешь разумна, то она может перейти на нашу сторону. Я истолковываю ее

поведение следующим образом: она отправилась к нему с честным намерением получить ребенка. Так она написала мне в записке, и я не думаю, чтобы она лгала.

— А я думаю.

— Придя туда, она застала трогательную домашнюю сценку между отцом и сыном, и ее захлестнуло волной чувствительности. Если я только что-нибудь смыслю в психологии, скоро наступит реакция, и волна отхлынет.

— Не понимаю я твоих иносказаний. Говори проще.

— Когда волна отхлынет, мисс Эббот будет неоценима, так как произвела на итальянца сильнейшее впечатление. Он не нахвалится ее любезностью. Знаешь, она ведь помогла ему купать младенца.

— Какая гадость!

Самым раздражающим в Генриетте были ее восклицания, но Филип твердо решил не терять терпения. Приступ радостного настроения, овладевший им накануне в театре, не проходил. Филипу никогда еще так не хотелось быть милосердным к человечеству.

— Если желаешь увезти младенца, то будь в мире с мисс Эббот. Стоит ей захотеть, и она поможет тебе гораздо лучше, чем я.

— О мире между нами не может быть и речи,— мрачно отозвалась Генриетта.

— Значит, ты успела...

— О, далеко не все, что хотела. Она ушла, не дав мне кончить — типичная уловка трусливых людей. Ушла в церковь.

— К Святой Деодате?

— Да. Ей как раз туда и надо. Более нехристианского...

Вскоре Филип тоже отправился в церковь; сестра несколько успокоилась и даже была склонна прислушаться к его совету. Что нашло на мисс Эббот? Он всегда считал ее уравновешенной и искренней. Правда, разговор, который произошел у них на прошлое рождество в поезде между Состоном и Черинг-кроссом, должен был послужить ему первым предупреждением. Должно быть, Монтериано вторично вскружил ей голову. Филип не сердился на нее, так как был безразличен к исходу экспедиции, только испытывал любопытство.

Был уже почти полдень, улицы пустели. Но жара вдруг несколько спала, появились приятные предвестия

дождя. Пьяцца с ее тремя достопримечательностями — Палаццо Публико, коллегиальной церковью и кафе «Гарибальди» (мозг, душа и тело города) — выглядела очаровательнее, чем когда-либо. Филип с минуту постоял посередине площади, поддавшись мечтательности, размышляя о том, как, должно быть, восхитительно чувствовать этот город своим, каким бы он ни был захудалым. Однако сейчас Филип был посланцем цивилизации и исследователем характеров, поэтому он со вздохом вошел в церковь Святой Деодаты, чтобы дальше выполнять свою миссию.

Два дня назад прошел праздник, и в церкви все еще стоял запах чеснока и ладана. Малолетний сын ризничего подметал пол придела больше для собственного развлечения, чем из соображений чистоты, и поднимаемые им клубы пыли оседали на фресках и на прихожанах. Прихожан было немного. Сам ризничий, приставив лестницу к центру «Всемирного потопа», украшавшего одну из пазух свода, снимал с колонны окутывавшее ее роскошное одеяние из алого коленкора. Кипы алого коленкора уже лежали на полу (церковь, если захочет, не уступит по великолепию любому театру), и дочка ризничего пыталась сложить материю. На голове у нее красовалась мишурная корона в блестках. Вообще-то корона принадлежала святому Августину, но была ему велика и проваливалась на шею, обхватывая ее воротником. Зрелище получалось смехотворное. Один из каноников снял корону со святого перед началом праздника и отдал дочке ризничего.

— Скажите, пожалуйста,— прокричал Филип, обращаясь к ризничему,— здесь нет английской леди?

Рот у ризничего был набит гвоздиками, поэтому он только кивнул в сторону коленопреклоненной фигуры. Посреди всей этой сутолоки мисс Эббот молилась.

Филип не очень удивился: сейчас как раз и следовало ожидать от нее душевного упадка. Несмотря на то, что Филип стал милосерднее относиться к человечеству, самоуверенность его не совсем прошла, и он чересчур решительно брался предсказывать путь, которым последует раненая душа. Он, однако, не ожидал, что мисс Эббот будет держаться так естественно,— никакой неловкости и кислого вида, какой бывает у людей, только что молившихся на коленях. Таково уж влияние церкви Святой Деодаты, где помолиться богу — все равно

что перемолвиться с соседом, и молитва от этого ничуть не страдает.

— Мне это было совершенно необходимо,— заметила она, и Филип, думавший застать ее пристыженной, смутился и не нашел, что ответить.— Мне нечего вам сказать,— продолжала она.— Просто я полностью переменила мнение. Я понимаю, что обошлась с вами как нельзя хуже, хотя и не нарочно. Я готова поговорить с вами. Только поверьте, что я сейчас плакала.

— А вы поверьте, что я пришел не затем, чтобы бранить вас,— добавил Филип.— Я знаю, что случилось.

— Что же? — спросила мисс Эббот. Она инстинктивно повела его к знаменитому приделу, пятому справа, где Джованни из Эмпольи изобразил смерть и погребение святой. Здесь они могли укрыться от пыли и шума и продолжить объяснение, обещавшее быть таким важным.

— А то, что могло случиться и со мной: он вас убедил, будто любит ребенка.

— Он действительно его любит. И не расстанется с ним.

— Это пока еще не решено.

— И никогда не будет решено.

— Возможно. Так или иначе, я знаю, что произошло, и не браню вас. Но хочу попросить вас пока отстраниться. Генриетта бушует. Она утихомирится, когда поймет, что вы не нанесли и не нанесете нам никакого вреда.

— И не могу нанести,— ответила она.— Но я прямо предупреждаю — я перешла на сторону противника.

— Если вы не сделаете больше того, что уже сделали, нас это устраивает. Обещаете не вредить нашему делу и не говорить с синьором Кареллой?

— Ну конечно. Я и не собираюсь с ним говорить, я больше никогда его не увижу.

— Он очень мил, не правда ли?

— Очень.

— Прекрасно. Вот все, в чем я хотел удостовериться. Пойду порадовать Генриетту вашим обещанием. Думаю, что теперь она успокоится.

Тем не менее он не двинулся с места, так как испытывал все растущее удовольствие от ее общества и сегодня больше, чем когда-либо, находил ее очаровательной. Он уже не размышлял о женской психологии и о женском поведении. Волна чувствительности, которая захлестнула ее, придавала ей еще больше обаяния. Ему

радостно было созерцать ее красоту, приобщаться к нежности и мудрости, которые таились в ней.

— Почему вы не сердитесь на меня? — спросила она после некоторого молчания.

— Потому что понимаю вас. Я всех понимаю — Генриетту, синьора Кареллу, даже мою мать.

— Вы изумительно все понимаете. Вы — единственный среди нас, кто может охватить взглядом весь этот хаос.

Он польщенно улыбнулся. Впервые она его похвалила. Он благожелательно рассматривал святую Деодату, которая умирала в зените своей святости, лежа на спине. В распахнутом окне за ней виднелся точно такой пейзаж, каким Филип любовался утром; на туалете ее вдовой матери стоял такой же, как у Джино, медный чайник. Святая не обращала внимания ни на пейзаж, ни на чайник, ни, тем более, на вдовую мать. Ибо — о чудо! — в этот миг ей предстало видение: голова и плечи святого Августина в виде некоего чудотворного святого пятна скользили вдоль оштукатуренной стены. Какой нужно быть кроткой святой, чтобы удовольствоваться тем, что кончину твою наблюдает только один зритель, и тот — половина другого святого. Немногого же достигла святая Деодата как в жизни, так и в смерти.

— Что вы собираетесь делать? — спросила мисс Эббот.

Филип вздрогнул, на него неприятно подействовал не столько смысл слов, сколько изменившийся тон.

— Делать? — повторил он, нахмурившись. — Днем у меня еще одно свидание.

— Оно ни к чему не приведет. А дальше?

— Ну, так еще одно. Если и тогда ничего не выйдет, пошлю домой телеграмму, попрошу указаний. Допускаю, что мы проиграем, но проиграем с честью.

Она часто проявляла решительность. Но сейчас за ее решительностью проглядывала страстность. Она стала не то что другой, а какой-то более значительной, и он очень огорчился, когда она сказала:

— Но это все равно что не сделать ничего! Сделать — это украсть ребенка или немедленно уехать. А так!.. «Проиграть с честью»! Решить проблему, поставившись отделаться от нее, — такова ваша цель?

— Д-да, пожалуй, — запинаясь, выговорил он. — Раз уж мы говорим откровенно, именно к этому я сейчас

и стремлюсь. А что еще можно поделаться? Если я смогу уговорить синьора Кареллу — тем лучше. Если нет — то сообщу матери о неудаче и отправлюсь домой. Помилуйте, мисс Эббот, не думаете же вы, что я буду следовать за вами во всех поворотах ваших настроений?

— Я не думаю! Но должны же вы избрать какую-то одну, с вашей точки зрения, правильную линию и следовать ей? Хотите вы, чтобы ребенок остался с отцом, который его любит и воспитает скверно, или хотите увезти ребенка в Состон, где его никто не будет любить, но воспитают как надо? По-моему, вопрос поставлен достаточно беспристрастно даже для вас. Решите его. Выбирайте, чью сторону принять. Но только перестаньте твердить про «поражение с честью», эти слова сводятся к полному бездумью и бездействию.

— Если я способен понять точку зрения синьора Кареллы и вашу, это еще не означает...

— Не означает еще ровно ничего. Боритесь так, будто мы не правы. Ну какой толк от вашего беспристрастия, если вы никогда не принимаете самостоятельного решения? Любой может вас оседлать и заставить делать что захочет. А вы всех видите насквозь, смеетесь над всеми — и делаете то, что они хотят. Недостаточно быть проницательным. Я бестолкова и глупа и не стою вашего мизинца, но я пытаюсь делать то, что мне кажется правильным. А вы... вы обладаете блестящим умом, проницательностью, но, даже прекрасно понимая, что правильно, вы ленитесь действовать. Вы как-то сказали мне: судить о нас будут по нашим намерениям, а не по делам. Я тогда восхитилась вашим остроумием. Но все-таки чего стоят наши намерения, если мы не стремимся их выполнить, а твердим о них, сидя на стуле?

— Вы изумительны! — серьезно сказал он.

— Ах, вы воздаете мне должное! — снова вспыхнула она. — Лучше бы вы этого не делали. Вы всем нам воздаете должное и во всех находите что-то хорошее. Но сами вы мертвый, мертвый! Видите? Вы даже рассердиться не можете! — Она подошла к нему совсем близко, настроение ее вдруг переменилось, она взяла его за обе руки. — Вы такой замечательный, мистер Герритон, мне невыносима мысль, что вы пропадаете зря. Невыносима. Она... ваша мать плохо обходится с вами.

— Мисс Эббот, обо мне не беспокойтесь. Некоторые люди рождены, чтобы ничего не делать. Я — один из них. Я ничего не делал в школе, ничего не сделал как адвокат. Я приехал, чтобы предотвратить замужество Лилии,— и опоздал. Приехал с намерением увезти ребенка — и вернусь, «с честью потерпев поражение». Я больше ничего не жду и поэтому никогда не разочаровываюсь. Вы удивитесь, когда услышите, что я считаю крупными событиями в моей жизни: вчерашнее посещение театра, разговор сейчас с вами,— более крупных событий у меня, пожалуй, и не будет. Мне, видимо, суждено пройти сквозь жизнь, не вступив с ней в конфликт и не оставив в мире следа. И, право, не могу вам сказать — хороша или плоха моя судьба. Я не умираю, я не влюбляюсь. Если кто-то и умирает или влюбляется, то не в моем присутствии. Вы совершенно правы: жизнь для меня спектакль, и сейчас он, благодарение богу, Италии и вам, самый прекрасный и воодушевляющий, какой мне выпадало видеть.

— Как я хочу, чтобы с вами что-нибудь произошло, дорогой друг,— произнесла она с грустью,— так хочу.

— Зачем? — улыбнулся он.— Докажите мне, что я не гожусь такой, какой я есть.

Она тоже улыбнулась серьезной улыбкой. Она не могла доказать этого, не могла найти таких аргументов. Их разговор, как ни был он чудесен, окончился ничем; они вышли из церкви, оставшись каждый при своем мнении, собираясь проводить каждый свою линию.

За ленчем Генриетта вела себя грубо, в лицо назвала мисс Эббот перебежчицей и трусихой. Мисс Эббот не обиделась ни на то, ни на другое прозвище: она сознавала, что первое заслужено, да и второе имеет основания. Она постаралась, чтобы в ее ответных репликах не прозвучало ни намек на язвительность. Но Генриетта не сомневалась, что за ее спокойствием именно и кроется издевка. Она распалялась все больше, и Филип в какой-то момент испугался, как бы она не дала волю рукам.

— Пойдите-ка! — воскликнул он, возвращаясь к своей обычной манере.— Довольно препираться, чересчур жарко. Мы все утро провели во встречах и спорах, и днем мне предстоит еще одно свидание. Я требую тишины. Каждая дама удаляется к себе в спальню и садится за книжку.

— Я удаляюсь укладываться,— отрезала Генриетта.— Пожалуйста, Филип, внуши синьору Карелле, что ребенок должен быть здесь сегодня в половине девятого вечера.

— Ну, разумеется, Генриетта. Непременно внушу.

— И закажи для нас экипаж к вечернему поезду.

— Будьте добры, закажите экипаж и для меня,— проговорила мисс Эббот.

— Как? Вы едете? — воскликнул он.

— Конечно,— ответила она, вспыхнув.— Что тут удивительного?

— Да, разумеется, я забыл. Значит, два экипажа. К вечернему поезду,— Филип безнадежно поглядел на сестру.— Генриетта, что ты задумала? Нам ведь до вечера не успеть.

— Закажи нам экипаж к вечернему поезду,— повторила Генриетта, выходя из комнаты.

— Ну что ж, придется. И еще придется идти на свидание с синьором Кареллой.

Мисс Эббот слегка вздохнула.

— Почему вы против? — спросил Филип.— Неужели вы предполагаете, что я могу хоть немного на него повлиять?

— Нет, не думаю. Но... не буду повторять всего, что говорила в церкви. Вам бы не следовало с ним больше встречаться. Следовало бы запихать Генриетту в экипаж, и не вечером, а прямо сейчас, и немедленно увезти ее.

— Возможно, что и так. Но какое это имеет значение? Что бы мы с Генриеттой ни делали, результат будет один. Я так и представляю себе эту картину со стороны, она великолепна... и даже комична: Джино сидит на вершине горы со своим малышом. Мы приходим и просим отдать ребенка. Джино — сама любезность. Мы опять просим. Джино сохраняет любезный тон. Я готов хоть целую неделю торговаться с ним, но в конце концов не сомневаюсь, что спущусь с горы с пустыми руками. Конечно, было бы куда внушительнее, если бы я принял окончательное решение. Но я отнюдь не внушительная личность. Да от меня ничего и не зависит.

— Быть может, я слишком требовательна,— проговорила она робко.— Я пыталась управлять вами, как делает ваша мать. Но я чувствую, что вы должны были довести борьбу с Генриеттой до конца. Сегодня каждый пустяк кажется мне необъяснимо важным, и когда вы

говорите «от меня ничего не зависит», ваши слова звучат кощунственно. Невозможно знать — как бы это выразить?.. Невозможно знать, от какого из наших действий или какого из бездействий будет зависеть все дальнейшее.

Он согласился, хотя воспринял ее высказывание только слухом. Он не был готов воспринять его сердцем.

Всю середину дня он отдыхал, слегка озабоченный, но не подавленный предстоящим свиданием. Все как-нибудь уладится. Возможно, мисс Эббот и права: младенцу лучше оставаться там, где его любят. И вполне возможно, что так и предначертано судьбой. Филип оставался безучастным к исходу предприятия и сохранял уверенность в своем бессилии.

Неудивительно поэтому, что встреча в кафе «Гарибальди» ничего не дала. Ни тот, ни другой не принимали этой войны всерьез. Джино очень скоро уловил слабость позиции собеседника и принялся немилосердно дразнить его. Филип сперва делал вид, что обижен, но потом не выдержал и рассмеялся.

— Вы правы! — сказал он.— Всем действительно управляют женщины.

— Ах эти женщины! — вскричал тот и повелительно, точно миллионер, велел подать две чашечки черного кофе, настояв на том, чтобы угостить друга в знак окончания тяжбы.

— Ну, я сделал что мог,— произнес Филип, обмакивая в кофе длинный кусочек сахара и наблюдая, как он пропитывается коричневой жидкостью.— Я предстану перед матерью с чистой совестью. Будете свидетелем, что я сделал все от меня зависящее?

— Конечно, дружище! — Джино сочувственно положил руку Филипу на колено.

— И что я...— сахар весь потемнел, и Филип нагнулся, чтобы взять его в рот. При этом взгляд его упал на противоположную сторону площади, и он увидел там Генриетту. Она стояла и наблюдала за ними.— *Mia sorella!*¹ — воскликнул он.

Джино, которого это известие очень позабавило, шутливо забарабанил кулаками по мраморному столику.

¹ Моя сестра! (итал.).

Генриетта отвернулась и принялась мрачно созерцать Палаццо Публико.

— Бедняжка Генриетта! — Филип проглотил сахар.— Еще одно горькое разочарование — и все для нее будет кончено. Вечером мы уезжаем.

Джино огорчился.

— А ведь вы обещали вечером быть здесь. Вы уезжаете все трое?

— Все трое,— ответил Филип, утаивший факт их раскола,— вечерним поездом. Таково намерение моей сестры. Так что, боюсь, мне не придется быть с вами вечером.

Они посмотрели вслед удаляющейся Генриетте и приступили к прощальному обмену любезностями. Горячо попрощались за обе руки. Джино взял с Филипа обещание приехать на следующий год и предупредить о приезде заранее. Он представит Филипа своей жене (Филип уже знал о женитьбе), Филип будет крестным отцом следующего ребенка. Джино не забудет, что Филип любит вермут. Он попросил Филипа передать поклон Ирме. А миссис Герритон... может быть, ей тоже следует передать нижайшее почтение? Нет, пожалуй, это ни к чему.

Итак, молодые люди расстались в наилучших отношениях, притом вполне искренних. Языковой барьер подчас приходится как нельзя более кстати, ибо пропускает лишь хорошее. Если же выразить это по-иному, менее цинично,— мы бываем лучше, когда говорим на свежем, новом для нас языке, чьи слова не загрязнены нашей мелочностью или пороками. Филип, по крайней мере, говоря по-итальянски, жил добрее и лучше, так как итальянский язык располагает к доброте и ощущению счастья. Филип с ужасом думал об английском языке Генриетты, у которой каждое слово было жестким, отчетливым и шершавым, как кусок угля.

Генриетта, однако, говорила мало. Она уже своими глазами убедилась, что брат опять потерпел неудачу, и с необычным для нее достоинством восприняла сошедшее положение. Она упаковала вещи, внесла записи в дневник, завернула в оберточную бумагу новый бедкер. Филип, видя ее такой покладистой, попытался было обсудить дальнейшие планы. Но она ответила только, что ночевать они будут во Флоренции, и велела заказать телеграммой номера. Ужинали они вдвоем.

Мисс Эббот не вышла в столовую. Хозяйка сообщила, что заходил синьор Карелла, хотел попрощаться с мисс Эббот, но она, хотя и была у себя, не смогла принять его. Хозяйка известила их также, что начинается дождь. Генриетта вздохнула, но дала понять брату, что это не его вина.

Экипажи подали приблизительно в четверть девятого. Дождь пока шел небольшой, но вокруг было на редкость темно, и один из возниц хотел выехать сразу, чтобы не спешить. Мисс Эббот сошла вниз и сказала, что готова и может ехать первая.

— Да, прошу вас,— отозвался Филип, стоявший в вестибюле.— А то теперь, когда мы в разладе, нелепо спускаться с горы процессией. Итак, до свиданья. Все кончено, произошла еще одна перемена декораций в моем спектакле.

— До свиданья, встреча с вами доставила мне большое удовольствие. В этом отношении декорации не переменяются.— Она сжала его руку.

— Я слышу уныние в вашем голосе,— заметил со смехом Филип.— Не забывайте, что вы возвращаетесь победительницей.

— Да, как будто,— ответила она еще более уныло и села в экипаж. Филип заключил, что она боится, как то ее примут в Состоне. Молва, несомненно, опередит ее. Как поведет себя миссис Герритон? Она может наделать массу неприятностей, если найдет нужным. Она может счесть нужным смолчать, но как быть с Генриеттой? Кто обуздает Генриеттин язычок? Мисс Эббот придется нелегко между двумя такими противниками. Ее репутация в смысле постоянства и высокой нравственности погибнет навеки.

— Не повезло ей,— подумал он.— Она очень славная. Постараюсь ей помочь чем могу.

Дружба между ними возникла недавно, но он тоже надеялся, что тут не произойдет перемены. Он полагал, что знает ее теперь хорошо, а она успела повидать его в наихудшем свете. Что, если со временем... в конце концов... Филип покраснел, как мальчик, глядя вслед ее кебу.

Потом направился в столовую за Генриеттой. Генриетты там не оказалось. В спальне тоже. От нее остался лишь лиловый молитвенник, лежавший в раскрытом виде на постели. Филип машинально взял его и прочитал:

«Благословен господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои — брани». Филип сунул молитвенник в карман и погрузился в размышления на более плодотворные темы.

На Святой Деодате пробило половину девятого. Багаж уже стоял в вестибюле, но Генриетты не было и в помине.

— Будьте уверены, — сказала хозяйка, — она пошла к синьору Карелле проститься с маленьким племянником.

Филип усомнился в этом. Они обошли весь дом, выкрикивая имя Генриетты, но не обнаружили ее. Филип забеспокоился. Он чувствовал себя беспомощным без мисс Эббот. Ее милое серьезное лицо вселяло в него удивительную бодрость, даже когда выражало недовольство. В Монтериано без нее стало грустно, дождь усилился, из винных лавок неслись приглушенные обрывки мелодий Доницетти. Напротив виднелось подножие большой башни, обклеенное свежими объявлениями о гастролях каких-то шарлатанов.

С улицы вошел человек и подал записку. Филип прочел: «Выезжай немедленно. Захватишь меня за воротами. Заплати посыльному. Г. Г.».

— Вам дала записку дама? — спросил Филип.

Человек пробурчал что-то неразборчивое.

— Отвечайте же! — приказал Филип. — Кто вам ее дал? Где?

Снова никакого ответа, лишь мычание и пузырящаяся на губах слюна.

— Будьте терпеливы, — сказал кучер, оборачиваясь со своего места. — Это бедный слабоумный.

Хозяйка вышла из отеля на улицу и подтвердила:

— Бедный слабоумный. Он не умеет говорить. Его все посылают с поручениями.

И тут Филип разглядел, что посыльный — безобразное лысое существо с гноящимися глазами и серым подергивающимся носом. В другой стране его держали бы взаперти, здесь же считали общественным достоянием и неотъемлемой деталью Природы.

— Уф! — англичанин содрогнулся. — *Signora padrona*¹, попробуйте расспросить его. Записка написана моей сестрой. Что это значит? Где он видел сестру?

¹ Синьора хозяйка (итал.).

— Бесплезно,— отозвалась хозяйка.— Он все понимает, но объяснить не может.

— Ему бывают видения святых,— подхватил кучер.

— Но что с сестрой? Куда она ушла? Каким образом встретила его?

— Она пошла погулять,— заверила его хозяйка. Вечер был отвратительный, но хозяйка теперь разбиралась в англичанах.— Погулять, а может быть, проститься с маленьким племянником. Она предпочла вернуться другим путем, вот и послала вам записку с бедным слабоумным и ждет вас за Сиенскими воротами. Многие мои постояльцы так поступают.

Филипу ничего другого не оставалось, как выполнять приказание сестры. Он пожал руку хозяйке, дал посыльному монетку и сел в кеб. Через десяток ярдов кеб остановился. За ним, издавая бессвязные звуки, бежал слабоумный.

— Поехали! — закричал Филип.— Я дал ему достаточно.

Безобразная рука пихнула ему в колени три сольдо. Помешательство идиота отчасти заключалось в том, что он брал за услуги по справедливости. Теперь он сунул Филипу сдачу с его монетки.

— Поехали! — заорал Филип и швырнул деньги на дорогу. Эпизод напугал его, все вокруг приобрело оттенок нереальности. Он с облегчением вздохнул, когда они выехали за ворота. На минуту они задержались на террасе. Ни малейших признаков Генриетты. Кучер окликнул таможенников. Никакой английской леди они не видели.

— Что мне делать? — воскликнул Филип.— Сестра никогда не опаздывает. Мы пропустим поезд.

— Давайте поедem медленно,— предложил кучер.— Вы будете звать ее.

Они начали спускаться по склону, Филип кричал: «Генриетта! Генриетта! Генриетта!» И вдруг увидел ее: она ждала под дождем на первом же повороте.

— Генриетта, почему ты не отвечала?

— Я слышала, что вы подъезжаете,— она скользнула в экипаж. Только тут он разглядел, что в руках у нее сверток.

— Что там у тебя?

— Тише!

— Да что это такое?

— Ш-ш-ш, он спит.

Генриетта преуспела там, где мисс Эббот и Филип потерпели поражение: в руках у нее был младенец.

Она не дала Филипу говорить. Ребенок, повторила она, спит. Она раскрыла над собой и над мальчиком зонтик, чтобы уберечься от дождя. Ну что ж, Филип услышит все потом, а пока придется вообразить самому, как прошла невероятная встреча — встреча Южного полюса с Северным. Вообразить это было нетрудно: Джино спасовал перед убежденностью Генриетты. Вероятно, его в лицо назвали негодяем, и он уступил своего единственного сына, быть может, за деньги, быть может, просто так. «Бедный Джино,— заключил Филип.— В конечном счете он не сильнее меня». Но тут он вдруг подумал о мисс Эббот, чей экипаж спускался в темноте милях в двух перед ними, и почувствовал, как несерьезно его самообвинение. Она тоже обладала убежденностью, он испытал это на себе и испытает позже, когда она узнает о неожиданном и мрачном завершении этого дня.

— Какая ты скрытная, — упрекнул он сестру, — могла бы хоть теперь что-нибудь рассказать. Что мы должны уплатить за него? Все, что у нас есть?

— Тише! — ответила Генриетта, усердно качая сверток. Она выглядела как некое костлявое орудие рока — такая Юдифь, Дебора или Иаиль. В прошлый раз он видел младенца на коленях у мисс Эббот, сияющего, голого; позади него на двадцать миль расстилался пейзаж, рядом стоял коленапреклоненный отец. Воспоминание это в сочетании с Генриеттой, темнотой, идиотом и бесшумным дождем вселило в Филипа печаль и предчувствие горя.

Монтериано давно остался позади, лишь изредка вырисовывался мокрый ствол очередной оливы, на которую падал свет их фонаря. Они теперь ехали быстро, так как их возница не боялся быстрой езды в темноте и опрометью мчался под уклон, делая крутые и опасные зигзаги.

— Послушай, Генриетта,— сказал наконец Филип.— Мне как-то не по себе. Я хочу взглянуть на ребенка.

— Ш-ш-ш!

— Ну разбуджу его, эка важность. Я хочу на него посмотреть. Я тоже имею права на него, как и ты.

Генриетта сдалась. Но темнота была такая, что Филипу не удалось разглядеть личико ребенка.

— Погоди,— прошептал он и, прежде чем сестра остановила его, чиркнул спичкой под прикрытием зон-та.— Да он не спит!— воскликнул он. Спичка погасла.

— Значит, паинька, спокойный мальчик.

Филип нахмурился.

— Знаешь, у него что-то не так с лицом.

— Что не так?

— Оно какое-то сморщенное.

— Немудрено, тут такие тени, тебе показалось.

— Ну-ка приподними его еще раз.

Она послушалась его. Филип зажег спичку, она быстро погасла, но он разобрал, что младенец плачет.

— Глупости,— резко возразила Генриетта.— Мы бы услышали, если бы он плакал.

— И все-таки он сильно плачет, мне и в тот раз показалось, а теперь я убедился.

Генриетта коснулась личика. Оно было мокро от слез.

— Должно быть, ночная сырость,— заметила она,— или попал дождь.

— Слушай, а ты не сделала ему больно? Или, может, держала как-нибудь не так? Уж очень жутко: плачет — и ни звука. Надо было дать Перфетте донести его до отеля, а не связываться с посыльным. Чудо, что он и записку-то принес.

— Нет, он вполне понимает,— Филип ощутил, как она вздрогнула.— Он хотел нести ребенка.

— Но почему не Джино и не Перфетта?

— Филип, перестань разговаривать. Сколько раз тебе повторять? Молчи. Ребенок хочет спать. — Она принялась хрипло баюкать его и время от времени вытирала слезы, беспрестанно катившиеся из детских глаз.

Филип отвернулся. Он и сам моргал глазами. Ему казалось, будто в карете скопилась вся скорбь мира, будто вся загадочность и неизбывное горе сосредоточились в одном этом источнике. Дорога дальше размокла, экипаж подвигался теперь вперед бесшумно, но ничуть не медленнее, он быстро скользил длинными зигзагами в темноту. Филип знал здесь наизусть все ве-хи: тут развилка, откуда дорога отходит на Поджибонси. А если бы сейчас было посветлее, с этого места они в последний раз увидели бы Монтериано. Вскоре они

доберутся до роши, где весной так буйно цвели фиалки. Жаль, что погода переменилась: холоднее не стало, но воздух пропитался сыростью. Вряд ли это полезно для ребенка.

— Надеюсь, он дышит и всякое такое? — спросил он.

— Разумеется,— негодующим шепотом отозвалась Генриетта.— Ты опять его разбудил. Уверена, что он спал. Ведь я просила тебя помолчать, из-за тебя я нервничаю.

— Я тоже нервничаю. Лучше бы он громко кричал. А так делается жутко. Бедный Джино! Мне ужасно его жаль.

— Неужели?

— Потому что он тоже слаб, как и большинство из нас. Сам не знает, чего хочет. У него нет хватки. Но он мне нравится, и мне его жалко.

Она, естественно, ничего не ответила.

— Ты презираешь его, Генриетта, и меня презираешь. Но лучше ты этим нас не делаешь. Нам, простофилям, нужен кто-то, кто поставил бы нас на ноги. Предположим, какая-нибудь действительно порядочная женщина поддержала бы Джино... думаю, Каролина Эббот вполне способна на это... не исключено, что он стал бы другим человеком.

— Филип,— прервала его Генриетта, пытаюсь говорить небрежным тоном,— нет ли у тебя спичек? Если есть, то, пожалуй, взглянем на него еще раз.

Первая спичка потухла сразу, вторая тоже. Филип предложил остановить кеб и взять у возницы фонарь.

— Нет, нет, не стоит устраивать такую возню! Попробуй снова.

Они как раз въезжали в лесок, когда ему удалось зажечь третью спичку. Генриетта удачно пристроила зонтик, и они целых пятнадцать секунд вглядывались в личико в колеблющемся свете пламени. Внезапно слышался крик, раздался громкий треск. Они очутились в грязи, в кромешной темноте. Экипаж перевернулся.

Филип пострадал довольно сильно. Он сел и начал раскачиваться взад и вперед, поддерживая ушибленную руку. Он едва различал очертания экипажа над собой и контуры подушек и багажа, валявшихся в грязи. Несчастье произошло в лесу, поэтому вокруг было еще темнее, чем раньше, на открытом месте.

— Ты цела? — выдавил он с трудом. Генриетта пронзительно кричала, лошадь лягалась, возница ругал кого-то постороннего.

Филип разобрал, наконец, что кричит Генриетта:

— Ребенок... ребенок... упал... выскользнул у меня из рук! Я украла его!

— Господи, помоги! — пробормотал Филип. Рот ему стянуло ледяным кольцом, он потерял сознание.

Когда он очнулся, светопреставление продолжалось. Лошадь лягалась, ребенок не найден, Генриетта вопила как помешанная:

— Я его украла! Украла! Украла! Он выскользнул у меня из рук!

— Не двигайтесь! — приказал Филип вознице. — Все оставайтесь на местах. Мы можем наступить на него. Не двигайтесь!

Они повиновались. Филип пополз по грязи, трогая, что подворачивалось под руку, по ошибке схватил подушку, и все это время прислушивался — не укажет ли какой-нибудь звук, в какую сторону ползти. Он сделал попытку зажечь спичку, держа коробок в зубах, а спичку в здоровой руке. Наконец ему это удалось, и свет упал на узелок, который он искал.

Узелок скатился с дороги в лес и лежал поперек глубокой рывины. Сверток был так мал, что, упади он вдоль рывины, он провалился бы на дно, и Филип так бы его и не заметил.

— Я его украла! Я и слабоумный, дома никого не было.

Генриетта захохотала.

Филип уселся и положил сверток себе на колени. Потом стал стирать с личика грязь, капли дождя и слезы. Рука у Филипа, как он полагал, была сломана, но все же он мог слегка шевелить ею, да и на какой-то момент он забыл про боль. Он прислушивался, пытаясь уловить не плач, нет, но биение сердца или легчайший трепет дыхания.

— Где вы? — услышал он голос. То была мисс Эббот, на чей экипаж они натолкнулись. Она зажгла один из погасших фонарей и теперь пробиралась к Филипу.

— Тихо! — закричал снова Филип, и снова все затихло. Он тряс сверток, дышал на него, расстегнул пиджак и сунул сверток себе за пазуху. Потом опять прислушался, но не услышал ничего, кроме шума дождя,

фырканья лошадей да хихиканья Генриетты где-то в темноте. Мисс Эббот подошла к Филипу и взяла у него сверток. Личико похолодело, но благодаря стараниям Филипа не было мокрым от дождя и слез. Да и мокрым от слез оно уже не могло быть никогда.

IX

Подробности преступления Генриетты выяснить так и не удалось. Во время болезни она больше твердила про шкатулку с инкрустацией, которую она дала Лилии на время (а не подарила), чем про недавние трагические события. Судя по всему, она отправилась повидать Джино, а, не застав никого дома, поддалась причудливому искушению. Но до какой степени поступок проистекал из дурного характера, а до какой ее толкнула на него религиозность, где и каким образом она встретила слабоумного — на эти вопросы ответа они так и не получили. Да все это и не очень интересовало Филипа. Так или иначе, их неминуемо задержали бы во Флоренции, или в Милане, или на границе. Теперь же судьба остановила их иным способом, опрокинув их карету в нескольких милях от города.

Пока еще Филип не мог посмотреть на случившееся со стороны. Событие было чересчур грандиозным. На итальянском младенце, умершем на грязной дороге, сосредоточились сильные страсти и большие надежды. Все лица, причастные к его судьбе, были неправы или злонамеренны, никто, кроме самого Филипа, не остался равнодушен. Теперь ребенка не стало, но приведенная им в движение сложная система гордости, жалости и любви продолжала действовать. Ибо мертвецы, уносящие, казалось бы, с собой так много, на самом деле не уносят с собой ничего — все наше остается при нас. Чувства, которые они возбуждали, продолжают жить, пусть преображенные, перенесенные на другой объект, но почти неистребимые. Филип сознавал, что путешествует все по тому же величественному, полному опасностей морю, и по-прежнему над его головой солнце сменяется облаками, а под ним — приливы отливами.

Уверен был Филип только в одном — в своем следующем шаге. Он и никто иной должен сообщить о слу-

чившемся Джино. Легко говорить о преступлении Генриетты, легко обвинять нерадивую Перфетту или миссис Герритон, сидящую дома, в Англии. Причастны были все — даже мисс Эббот и Ирма. При желании катастрофу можно было счесть результатом их совместных усилий или делом рук судьбы. Но у Филипа не было такого желания. Вина была его и проистекала от всеми признанной слабости его характера. А потому именно он должен был сообщить о случившемся Джино.

Ничто ему не препятствовало. Мисс Эббот возилась с Генриеттой; откуда-то из темноты возникли люди и взялись отвести их к ближайшему жилью. Филипу нужно было только сесть в тот экипаж, который не пострадал, и приказать кучеру везти себя обратно. Так он и сделал. Он достиг Монтериано через два часа после того, как покинул его. Перфетта на этот раз была дома и весело его приветствовала. Филип отупел от боли, физической и душевной, и плохо соображал. Он не сразу понял, что Перфетта так и не хватилась ребенка.

Джинно все еще отсутствовал. Перфетта отвела Филипа в гостиную, как утром мисс Эббот, и обмахнула тряпкой сиденье одного из стульев. Уже стемнело, поэтому она оставила гостю небольшую лампу.

— Постараюсь управиться побыстрей,— сказала она.— Но в Монтериано много улиц, его не всегда сразу отыщешь. Утром я его не нашла.

— Пойдите сперва в кафе «Гарибальди»,— посоветовал Филип, вспомнив, что именно этот вечерний час назначили для свидания его вчерашние друзья.

Он посвятил то время, что оставался один, не раздумьям — раздумывать больше было не о чем, предстояло просто сообщить факты — а попыткам устроить перевязь для сломанной руки. Поврежден был локоть, и, если бы удалось закрепить его в неподвижном положении, Филип мог бы держаться как ни в чем не бывало. Но воспаление уже началось, и любое движение причиняло острую боль. Филип не успел еще приладить перевязь, как, перескакивая через ступеньки, наверх взбежал Джино.

— Так вы вернулись! Как я рад! Мы все ждем...

Филип пережил слишком много, чтобы сейчас нервничать. Тихим, ровным голосом он рассказал, что произошло, и Джино, тоже абсолютно спокойно, выслушал его до конца. В наступившей затем тишине Перфет-

та крикнула снизу, что забыла купить на вечер молока ребенку и сейчас пойдет за ним. Когда она ушла, Джино взял молча лампу, и они перешли в другую комнату.

— Моя сестра больна,— сказал Филип,— мисс Эббот не виновата. Я бы хотел, чтобы вы их не беспокоили.

Джино, наклонившись, ощупывал место, где раньше лежал его сын. Иногда он морщил лоб и взглядывал на Филипа.

— Виноват я,— продолжал тот.— Это случилось оттого, что я вел себя трусливо и нерешительно. Я пришел узнать, как вы поступите.

Джино оставил тряпку и принялся как слепой ощупывать стол. Это было так жутко, что Филип вмешался.

— Спокойнее, Джино, спокойнее, его здесь нет.

Он подошел и тронул Джино за плечо. Тот отшатнулся и стал быстрее трогать вещи — стол, стулья, пол, стены, насколько хватало роста. Филип сначала не думал его утешать, но напряжение достигло такого предела, что пришлось сделать такую попытку.

— Расслабься, Джино, расслабься. Кричи, ругайся, дай себе волю. Надо расслабиться.

Ответа не было, руки не переставали двигаться, трогать, ощупывать...

— Дай волю своему горю. Расслабься, а то заболешь, как моя сестра. Ты сойдешь...

Итальянец обошел всю комнату. Перетрогал в ней все, кроме Филипа, и сейчас подходил к нему. Лицо у Джино было такое, словно он потерял смысл жизни и теперь ищет новый.

— Джино!

Тот на момент остановился. Потом опять стал двигаться. Филип не отступил.

— Делай со мной что хочешь, Джино. Твой сын умер. Он умер у меня на руках, помни это. Это не оправдывает меня, Джино, но все-таки он умер у меня на руках.

Левая рука Джино медленно-медленно протянулась вперед. Она маячила перед Филипом, как насекомое. Затем она опустилась и сжала его сломанный локоть.

Филип что было силы ударил здоровой рукой. Джино молча, без крика, без единого слова упал.

— Скотина! — вскрикнул англичанин.— Убей меня, если хочешь! Но не смей трогать больную руку!

Тут же его охватило раскаяние, он опустился подле своего недруга и стал приводить его в чувство. Он ухитрился приподнять его и прислонить к себе. Обнял его здоровой рукой. Филипа переполняла жалость и нежность. Он без страха ждал, когда Джино очнется, уверенный, что теперь оба они в безопасности.

Неожиданно Джино пришел в себя. Губы его шевельнулись. На миг показалось, что он, слава богу, сейчас заговорит. Но вот он с трудом поднялся, вспомнил все и двинулся... но не к Филипу, а к лампе.

— Делай что хочешь, но подумай...

Лампа пролетела через всю комнату, через лоджию и разбилась о дерево внизу. Филип, очутившись в темноте, начал звать на помощь.

Джино подошел к нему сзади и больно ткнул его в спину. Филип с воплем закрутился на месте. Всего только тычок в спину, но Филип догадывался, что ему уготовано. Он отмахнулся от Джино в темноте, призывая этого дьявола драться, убить его, Филипа, но только не мучить. Потом, спотыкаясь, бросился к двери. Дверь оказалась открытой. Вместо того чтобы бежать вниз, Филип, потеряв голову, кинулся через площадку в комнату напротив. Там он лег на пол и забился между печкой и плинтусом.

—
Все чувства его обострились. Он услышал, как Джино крадется на цыпочках по комнате. Он как бы видел, что творится у того в мозгу — вот сейчас он потерял след, а сейчас воспрял духом; теперь колеблется, раздумывая, не спаслась ли жертва бегством вниз. Джино резко взмахнул над ним рукой, послышалось тихое ворчанье, похожее на собачье, — Джино обломал себе о печку ногти. Физическую боль переносить почти невозможно. Мы кое-как терпим ее, когда она постигает нас нечаянно или для нашей же пользы (как это большей частью происходит в наши дни, если не считать школьных лет). Но когда ее причиняет злая воля взрослого мужчины, ничем не отличающегося от нас по облику, мы утрачиваем над собой власть. Единственным желанием Филипа было вырваться из комнаты любой ценой, поступившись своей гордостью и достоинством.

Джино шарил теперь около столиков на другом конце комнаты. Внезапно инстинкт пришел ему на помощь. Он быстро пополз туда, где притаился Филип, и схватил его прямо за локоть.

Всю руку у Филипа обожгло огнем, сломанная кость заскрежетала в суставе, посылая разряды мучительной боли. Другая рука оказалась пригвождена к стене. Джино втиснулся за печку и прижал своими коленями ноги Филипа к полу. С минуту Филип вопил — и вопил во всю силу своих легких. Потом у него отняли и это утешение мук: рука, влажная и сильная, сжала ему глотку.

Сперва Филип обрадовался, так как решил, что пришла, наконец, смерть. Однако началась новая пытка. Быть может, Джино унаследовал этот способ от своих предков — простодушных разбойников, сбрасывавших друг друга с башен. Как только дыхание у Филипа перехватило, рука отпустила его горло, и Филип почувствовал, что дергают больной локоть. А когда он был на грани обморока и надеялся получить возможность забыться, дергать перестали, и он опять начал сопротивляться сжимавшей горло руке.

В мозгу, пробиваясь сквозь боль, вспыхивали яркие картины: Лилия, умирающая в этом самом доме несколько месяцев назад; мисс Эббот, склонившаяся над ребенком; мать, читающая сейчас вечернюю молитву прислуге. Филип почувствовал, что слабеет, в голове помутилось, боль несколько притупилась. Несмотря на все старания, Джино не мог бесконечно оттягивать конец. Крики Филипа, судорожные хрипы в горле сделались механическими — скорее реакция мучимой плоти, чем выражение возмущения и отчаяния. Что-то со страшным грохотом упало, руку его рванули сильнее прежнего — и вдруг все стихло.

— Ведь ваш сын умер, Джино. Умер ваш сын, милый Джино. Сын умер.

В комнате было светло, мисс Эббот держала Джино за плечи, прижимая его к спинке стула, на котором он сидел. Она устала от борьбы, руки ее дрожали.

— Какой смысл еще в одной смерти? Какой смысл в новой боли?

Джино тоже начал дрожать. Он повернул голову и с любопытством посмотрел на Филипа, чье лицо, измазанное грязью и пеной, виднелось из-за печки. Мисс Эббот дала Джино встать, но продолжала крепко держать его. Джино издал странный громкий крик — вопросительный крик, если можно так сказать. Внизу слышались шаги Перфетты, возвратившейся с молоком для ребенка.

— Подойдите к нему,— мисс Эббот показала на Филипа. — Поднимите его, обращайтесь с ним бережно. Она отпустила Джино, и он медленно приблизился к Филипу. В глазах его появилась тревога. Он нагнулся, как бы желая осторожно поднять его.

— Помогите! Помогите! — простонал Филип. Тело его уже вынесло столько мучений от рук Джино, что больше не хотело, чтобы они его касались.

Джино как будто понял это. Он застыл, согнувшись над Филипом. Мисс Эббот сама подошла к ним и, обняв своего друга, приподняла его.

— Подлый негодяй! — застонал Филип — Убейте его! Убейте!

Мисс Эббот с нежностью уложила его на кушетку и обтерла ему лицо. Затем серьезно сказала, обращаясь к обоим:

— На этом надо остановиться.

— *Latte! latte!*¹ — раздался крик Перфетты, шумно поднимавшейся по лестнице.

— Помните, — продолжала мисс Эббот, — мстить никто не должен. Я не допущу, чтобы свершилось намеренное зло. Мы больше не должны сражаться друг с другом.

— Я никогда ему не прощу, — выдохнул Филип.

— *Latte! latte freschissimo! bianco come neve!*² — Перфетта внесла еще одну лампу и небольшой кувшинчик.

Джино впервые подал голос.

— Поставь молоко на стол, — приказал он. — В той комнате оно не пригодится.

Опасность миновала. Сильное рыдание сотрясло все его тело, за ним последовало еще одно, и вдруг с пронзительным горестным воплем он кинулся к мисс Эббот и приник к ней, как дитя.

Весь этот день мисс Эббот казалась Филипу богиней, сейчас это впечатление усилилось. Многие люди в минуты душевных потрясений кажутся моложе и доступнее. Но есть и такие, что кажутся старше, отчужденнее. Филипу не приходило в голову, что между нею и мужчиной, прижавшимся головой к ее груди, почти нет разницы в возрасте и что они созданы из одинаковой плоти.

¹ Молоко! молоко! (итал.).

² Молоко! парное молоко! белое как снег! (итал.).

Глаза ее были раскрыты и полны бесконечной жалости и бесконечного величия, словно они различали пределы скорби и за ними — невообразимые дали. Такие глаза Филип видел на картинах великих мастеров, но никогда не видел в жизни. Руки ее обнимали страдальца и легонько поглаживали его, ибо даже богини не могут сделать больше этого. И казалось вполне уместным, что она наклонилась и коснулась губами его лба.

Филип отвел взгляд, как отводил его от картин великих мастеров, когда ему начинало казаться, что форма все равно неспособна выразить заложенную в ней суть. Он был счастлив. Он убедился, что величие в мире существует. Он преисполнился чистосердечного желания быть лучше — по примеру этой хорошей женщины. Отныне он постарается быть достойным того важного, что она ему открыла. Спокойно, без истерических молитв и барабанного боя он обратился в другую веру. Он спасся.

— Не надо, чтобы молоко пропало зря, — сказала она. — Возьмите его, синьор Карелла, и уговорите мистера Герритона выпить.

Джино послушно отнес молоко Филипу. И Филип тоже послушно стал пить.

— Осталось там?

— Немножко, — ответил Джино.

— Так допейте, — она считала, что ничто в мире не должно пропадать зря.

— А вы не хотите?

— Я не люблю молока, допивайте.

Джино допил молоко, а потом, то ли нечаянно, то ли в приступе горя, разбил кувшин об пол. Ошеломленная Перфетта вскрикнула.

— Неважно, — сказал он. — Неважно. Он больше не понадобится.

Х

— Ему придется на ней жениться, — сказал Филип. — Сегодня утром, когда мы покидали Милан, я получил от него письмо. Он зашел слишком далеко, чтобы идти на попятный. Это обошлось бы ему чересчур дорого. Не знаю уж, насколько он расстроен, подозреваю, что меньше, чем мы думаем. Но в письме нет ни слова упрека нам. По-моему, он и в душе не сердится на нас. Я никогда еще не получал такого полного прощения.

С той минуты, как вы помешали ему убить меня, не прекращалась видимость идеальной дружбы. Он выхаживал меня, солгал ради меня на дознании, он плакал на похоронах, но можно было подумать, будто это у меня умер сын. Правда, он поневоле излил всю доброту на одного меня — он огорчен до глубины души тем, что так и не познакомился с Генриеттой и почти не виделся с вами. В письме он снова это повторяет.

— Поблагодарите его, пожалуйста, когда будете писать, — попросила мисс Эббот, — и передайте от меня наилучшие пожелания.

— Да уж непременно.

Филип поразился тому, с какой легкостью она отошла от Джино. Сам он оказался связанным с ним тесными, почти угрожающими его душевному спокойствию узами. Джино обладал типично южным умением завязывать дружбу. Между делом он вытаскивал из Филипа его внутренний мир, выворачивал его наизнанку, перекраивал на новый лад и давал советы, как употребить его лучшим образом. Ощущение получалось приятное, так как хирург он был вкрадчивый и искусный. Но уезжал Филип с таким чувством, будто в нем не осталось ни одного тайного уголка. В последнем письме Джино опять умолял Филипа во избежание домашних неурядиц «жениться на мисс Эббот, даже если приданое невелико». Но вот как мисс Эббот после столь трагических взаимоотношений могла так легко вернуться к условностям и невозмутимо посылать формальные заверения и пожелания — не укладывалось в его мозгу.

— Когда вы в следующий раз увидите с ним? — спросила она.

Они стояли в коридоре поезда, неторопливо взбиравшегося вверх к Сен-Готардскому туннелю, увозя их из Италии.

— Надеюсь, будущей весной. Возможно, мы поквитимся в Сиене денька два на деньги его новой жены. Это один из решающих доводов в пользу того, чтобы жениться на ней.

— У него нет сердца, — осуждающе проговорила она. — Он вовсе не горюет о сыне.

— Нет, вы ошибаетесь, очень горюет. Он несчастен, как и все мы. Просто он не считает нужным притворяться, как это делаем мы. Он был уже однажды счастлив и думает, что можно повторить то же еще раз.

— Он говорил, что никогда больше не будет счастлив.

— Говорил в порыве отчаяния. А потом успокоился. Мы, англичане, делаем такие заявления в спокойном состоянии, то есть когда сами в это больше не верим. Джино не стыдится быть непоследовательным. Вот одна из черт, которые мне в нем нравятся.

— Да. Я не права. Это верно.

— Он гораздо честнее перед самим собой, чем я,— продолжал Филип, — и для этого ему не нужны никакие усилия, и он не гордится собой. А вы, мисс Эббот? Приедете вы в Италию следующей весной?

— Нет.

— Жаль. Когда же вы сюда вернетесь?

— Думаю, никогда.

— По какой же причине? — он уставился на нее, как на заморское чудо.

— Теперь я понимаю эту страну. Ехать сюда мне больше незачем.

— Понимаете Италию? — воскликнул он.

— Вполне.

— Ну, а я нет. И не понимаю вас,— пробормотал он себе под нос, отходя в другой конец коридора. Он уже очень любил ее и страдал, когда чего-то не понимал в ней. Он пришел к любви духовным путем: сперва его тронули ее мысли, ее доброта, благородство, теперь они преобразили всю ее, жесты, движения. Красоту внешнюю, которая обычно сразу бросается в глаза, красоту волос, голоса, рук он заметил в последнюю очередь. Джино, не имевший понятия о многообразии путей, ведущих к любви, бесстрастно похвалил эти ее качества.

Почему она так загадочна? Одно время он так много знал с ней — что она думает, чувствует, мотивы ее поступков. А сейчас он знал только, что любит ее. Между тем как раз знание это сейчас так пригодилось бы ему. Почему она не хочет приезжать в Италию? Почему избегала его и Джино с того вечера, как спасла им жизнь? Пассажиров было мало. Генриетта дремала в отдельном купе. Филип должен задать эти вопросы сейчас. Он быстро вернулся назад по коридору.

Мисс Эббот встретила его вопросом:

— А вы решились на что-нибудь?

— Да. Я не могу жить в Состоне.

— Вы сообщили об этом миссис Герритон?

— Написал из Монтериано. Пытался объяснить — почему. Но она меня все равно не поймет. С ее точки зрения, дело уладилось. Уладилось печальным образом, поскольку ребенок умер, но тем не менее с этой историей покончено, и наш семейный круг может больше себя не тревожить. Она даже на вас не будет сердиться. В конечном итоге вы никакого ущерба нам не нанесли. Если, конечно, не вздумаете рассказывать о Генриетте и затевать скандал. Итак, мои планы — Лондон и работа. А ваши?

— Бедная Генриетта! — заметила мисс Эббот. — Как будто я имею право осуждать ее! Или кого бы то ни было.

И, не ответив на вопрос Филипа, она пошла навестить больную.

Филип удрученно поглядел ей вслед и так же удрученно уставился в окно. Все волнения прошли — дознание, недолгая болезнь Генриетты, его собственный визит к хирургу. Он выздоравливал телом и душой, но выздоровление не принесло ему радости. В зеркале, висевшем в конце коридора, он видел свое осунувшееся лицо, ссутулившиеся плечи, стянутые перевязью. Жизнь была грандиознее, чем ему казалось раньше, но еще менее наполнена. Раньше он видел спасение в напряженной работе, в стремлении к справедливости. А теперь понял, как мало они помогут.

— Поправляется Генриетта? — спросил он. Мисс Эббот уже вернулась.

— Скоро она станет прежней Генриеттой, — последовал ответ.

После острой вспышки болезни и раскаяния Генриетта быстро возвращалась в свое нормальное состояние. На какое-то время она, по ее выражению, была «абсолютно выведена из равновесия», но очень скоро ей стало казаться, что, кроме смерти бедного малютки, все в полном порядке. Уже она говорила о «несчастном случае», возмущалась тем, что, «когда хочешь сделать лучше, то непременно ничего не удастся». Мисс Эббот устроила ее поудобнее и ласково поцеловала. Но ушла от нее с ощущением, что Генриетта, как и ее мать, считает дело законченным.

— Мне ясно видится дальнейшая жизнь Генриетты и, частично, моя собственная, но как будете жить вы?

— Состон и работа, — ответила мисс Эббот.

— Нет.

— Почему? — спросила она, улыбаясь.

— Вы для этого слишком много повидали. Вы видели столько же, сколько я, а сделали несравненно больше.

— Какое это имеет значение? Конечно же, я поеду в Состон. Вы забываете о моем отце. И даже если бы не было его, меня держат сотни других связей: мой приход, я его бессовестно забросила, вечерние классы, Сент-Джеймс...

— Какая чушь! — взорвался он, чувствуя потребность высказаться наконец. — Вы слишком хороши для этого, вы в тысячу раз лучше меня. Вы не должны жить в этой дыре. Ваше место среди людей, которые способны понять вас. Я забочусь и о себе: я хочу видеть вас как можно чаще, снова и снова.

— Разумеется, мы будем встречаться в каждый ваш приезд в Состон. Надеюсь, вы будете наезжать часто.

— Этого недостаточно. Кому они нужны — отвратительные встречи, когда вокруг куча родственников? Нет, мисс Эббот, этого мало.

— Мы можем переписываться.

— Вы будете мне писать? — воскликнул он в порыве радости. Иногда мечты казались ему такими реальными...

— Непременно.

— Все равно, и писем недостаточно... Да вы и не можете вернуться к прежней жизни, как бы ни хотели. Слишком многое пережито.

— Я знаю, — печально ответила она.

— Не только боль и горе, но и чудесные события. Башня на солнце, помните? И все, что вы мне тогда говорили. Даже театр. И следующий день — в церкви. И наши свидания с Джино.

— Все чудесное кончилось, — возразила она. — Ничего не вернешь.

— Не верю. Во всяком случае, для меня не кончилось. Самое чудесное, быть может, впереди.

— Чудесное кончилось, — повторила она и с такой тоской посмотрела на него, что он не посмел ей возражать. Поезд вползал на последний подъем, приближаясь к колокольне Айроло и входу в туннель.

— Мисс Эббот, — пробормотал он торопливо, словно их откровенный разговор должен был вот-вот оборваться, — что с вами? Мне казалось, я вас понимаю, на

самом же деле — нет. Те два первые восхитительные дня в Монтериано я понимал вас так же ясно, как вы понимаете меня и по сей день. Я догадывался, почему вы приехали, почему перешли на другую сторону, я и после наблюдал ваше необыкновенное мужество и страдание. А сейчас вы то откровенны со мной, как раньше, то отгораживаетесь от меня. Ведь я обязан вам слишком многим — жизнью и не знаю еще чем. Мне тяжела ваша неоткровенность. Вы не можете опять замкнуться, снова стать загадочной. Я приведу ваши собственные слова: «Не будьте так загадочны, сейчас не время». И еще: «Я и моя жизнь там, где я живу». В Состоне вы жить не должны.

Он наконец расшевелил ее. Она быстро прошептала как бы сама себе: «Большое искушение...» Эти два слова повергли его в бурную радость. Какое искушение она имеет в виду? Неужели все-таки сбудется самое прекрасное на свете? Быть может, Юг, который вызвал сначала долгое отчуждение между ними, вовлек в трагические события, под конец свел их вместе? Этому способствовал смех тогда в театре, серебряные звезды на лиловом небе, фиалки прошлой весной; способствовало горе и даже нежность, испытанная по отношению к другим.

— Большое искушение,— повторила она,— не быть загадочной. Мне несколько раз хотелось рассказать вам, но я не посмела. Никому другому я не могла бы открыться, и уж, во всяком случае, не женщине. Я думаю, вы — единственный, кто может понять и не возмутиться.

— Вы чувствуете себя одинокой? — прошептал он.— Это вы имеете в виду?

— Да.

Поезд словно подтряхнул его ближе к ней. Филип решил, что непременно обнимет ее, сколько бы пассажиров на них ни глядело.

— Я страшно одинока, иначе я не заговорила бы. Вы, наверное, и сами догадываетесь — о чем.

Лица у обоих вспыхнули, словно их смутила одна и та же мысль.

— Может быть, и догадываюсь.— Он сделал к ней еще шаг.— Может быть, начать следовало мне. Но если вы скажете все прямо, то не пожалеете. Я буду благодарен вам всю мою жизнь.

Она сказала прямо:

— Я люблю его.

И тут же не выдержала. Тело ее затряслось от плача, и она прорыдала, так что уже не оставалось сомнений: «Джино! Джино! Джино!»

Он услышал свой голос:

— Ну как же! Я его тоже люблю! Когда удастся забыть, что он со мной вытворял в тот вечер. Хотя каждый раз, как мы пожимаем друг другу руки...

Должно быть, один из них отступил на шаг, на два, ибо следующие свои слова она проговорила, стоя уже несколько поодаль.

— Вы меня растревожили.— Усилием она подавила нечто, подозрительно похожее на истерику.— Я-то думала, что уже справилась с этим. Вы не так меня поняли. Я влюблена в Джино — не отмахивайтесь — влюблена в самом прямом и грубом смысле слова. Вы знаете, что я хочу сказать. Так что смейтесь надо мной.

— Смеяться над любовью?

— Да. Разберите ее по косточкам. Скажите, что я сумасшедшая, или хуже — что он плебей. Повторите все, что говорили, когда в него влюбилась Лилия. Именно такой помощи я жду от вас. Я осмеливаюсь сказать вам все это потому, что хорошо отношусь к вам и потому, что вы — человек без страстей, вы смотрите на жизнь как на спектакль. Вы не участвуете в ней, а лишь находите ее смешной или прекрасной. Поэтому я и доверяюсь вам в надежде, что вы излечите меня. Мистер Герритон, ну разве это не смешно? — Она было засмеялась, но испугалась и заставила себя остановиться.— Он — не джентльмен, не христианин, в нем нет ни одного хорошего качества. Он не делал мне комплиментов и не проявлял особой почтительности. Но он красив, и этого оказалось достаточно. «Сын итальянского зубного врача, мальчик со смазливый личиком». — И она опять повторила, словно произнося заклинание против страсти: — Ах, мистер Герритон, разве это не смешно! — Потом, к его облегчению, расплакалась. — Я люблю его и не стыжусь. Я люблю его, но еду в Состон, и, если мне не удастся хоть изредка поговорить о нем с вами, я умру.

Выслушав столь дикое признание, Филип сумел в этот момент думать не о себе, а о ней. Он не стал сокрушаться, не стал даже говорить с ней участливым тоном, ибо видел, что она этого не вынесет. Требовался легкомысленный ответ, она сама просила — легкомысленный и насмешливый. Да он и не в силах был дать другой.

— Быть может, это и зовется в книгах «мимолетным увлечением»?

Она покачала головой. Даже такой вопрос причинил ей страдание. Насколько она знала себя, ее чувства, однажды разбуженные, оставались неизменными.

— Если бы я видела его постоянно, быть может, я и помнила бы, что он такое на самом деле,— возразила она.— Или же постепенно он состарился бы. Но я не решусь пойти на такой риск, поэтому теперь ничто не изменит меня.

— Что ж, если увлечение пройдет, дайте мне знать.— В конце концов, почему бы ему не сказать то, что он хотел?

— О да, вы-то узнаете сразу.

— Но прежде чем запереться в Состоне... так ли уж вы уверены?..

— В чем? — она перестала плакать. Он обращался с ней именно так, как ей было нужно.

— Что вы и он...— Филип горько усмехнулся, представив их вместе. Опять жестокая и коварная шутка античных богов, какую они, например, проделали когда-то с Пасифаей. Прошли века культуры и благородных устремлений — а миру все равно не избежать таких ловушек.— Я хотел сказать — что у вас с ним общего?

— Ничего. Кроме тех случаев, когда мы были вместе.

Опять лицо ее залилось краской. Филип отвернулся.

— Каких же это случаев?

— Когда я считала вас слабым и равнодушным и сама отправилась за ребенком. Тогда все и началось, если я вообще могу установить начало. А может быть, началось в театре, когда он слился для меня с музыкой и светом. Но поняла я это только наутро. Только когда вы вошли к Джино в комнату, я поняла, почему была так счастлива. Позже, в церкви, я молилась за всех нас, не за что-то новое, а чтобы все осталось как есть — он не разлучался бы с сыном, которого любит, а вы, я и Генриетта благополучно выбрались бы оттуда, и чтобы мне больше никогда не пришлось видеть его или разговаривать с ним. Тогда я еще могла преодолеть свое чувство, оно только надвигалось, как кольцо дыма, оно еще не окутало меня.

— Но по моей вине,—серьезно проговорил Филип,— он разлучен с ребенком, которого любил. А из-за того,

что моя жизнь подвергалась опасности, вы вернулись и снова увидели его и говорили с ним.

Чувство ее было даже значительнее, чем она воображала. Никому, кроме него, не было дано охватить всего происшедшего целиком. А для этого ему пришлось глядеть со стороны, удалившись на громадное расстояние. Филип даже сумел порадоваться, что однажды ей довелось держать любимого в объятьях.

— Не говорите о «вине». Вы ведь теперь мне друг навеки, мистер Герритон. Только не занимайтесь благотворительностью и не вздумайте перекладывать вину на себя. Перестаньте считать меня утонченной. Вас это все время смущает. Перестаньте так думать.

При этих словах она вся словно преобразилась, и уже неважно было — утонченна она или нет. В постигшей Филипа катастрофе ему открылось нечто нерушимое, чего она, источник этого «нечто», отнять уже не могла.

— Повторяю, не занимайтесь благотворительностью. Если бы он захотел, я бы, вероятно, отдалась ему телом и душой. И на том кончилось бы мое участие в спасательной экспедиции. Но он с самого начала принимал меня за существо высшее, за богиню,— это меня-то, которая боготворила все в нем, каждое его слово. И это меня спасло.

Глаза Филипа были прикованы к колокольне Айроло. Но видел он прекрасный миф об Эндимионе. Эта женщина осталась богиней до конца. Никакая недостойная любовь не могла ее запятнать, она стояла выше всего, и грязь не могла ее коснуться. Событие, которое она считала столь низменным и которое для Филипа обернулось катастрофой, было поистине прекрасным. И на такую Филип поднялся высоту, что без сожаления мог бы сказать ей сейчас, что он тоже боготворит ее. Но какой смысл говорить? Все чудесное уже совершилось.

— Благодарю вас,— вот все, что он позволил себе сказать.— Благодарю за все.

Она взглянула на него с нежностью, ибо он скрасил ей жизнь. В эту минуту поезд вошел в Сен-Готардский туннель. И они поспешили в купе, чтобы закрыть окно, а то, чего доброго, Генриетте попадет в глаз уголек.

РАССКАЗЫ



НЕБЕСНЫЙ ОМНИБУС

I

Мальчик, который проживал в Сербитоне на улице Бекингом Парк-роуд в доме № 28 под названием Агатокс-лодж, всякий раз терялся в догадках, когда ему попадался на глаза старый указатель, стоявший почти напротив их дома. Мать мальчика объяснила ему, что это шутка — глупая шутка каких-то молодых людей, которым много лет назад вздумалось поозорничать, и что полиции давно следовало бы указатель убрать. Поражали в нем две несообразности: во-первых, стрелка указывала в тупиковый переулок, во-вторых, на ней полустершимися буквами было выведено: «На небо».

— А кто были эти молодые люди?

— Помнится, твой отец говорил, будто один из них писал стихи, его исключили из университета и вообще он плохо кончил. Но с тех пор прошло много лет. Можешь сам спросить у отца. Он подтвердит тебе, что это просто шутка.

— Выходит, надпись ничего не означает?

Она велела ему идти наверх переодеться, к чаю ждали Бонзов, а на обязанности мальчика было обнести гостей сладким пирогом.

Натягивая тесный парадный костюмчик, он вдруг подумал: надо спросить у мистера Бонза про столб, как это ему сразу не пришло в голову. Отец был очень добрый, но всегда потешался над ним; стоило ему или кому-то из детей открыть рот, задать вопрос, как отец начинал оглушительно хохотать. А мистер Бонз тоже был добрый, но еще и серьезный. У него был красивый дом, он давал читать книги, был церковным старостой и кандидатом в Совет графства; и он очень много жертвовал на библиотеку; и председательствовал в Литературном обществе; и в гости к нему приезжали даже члены парламента — словом, умнее его никого на свете

не было. Но и мистер Бонз лишь подтвердил, что надпись на стрелке — шутка, шутка человека по имени Шелли.

— Видишь, дорогой! — воскликнула мать мальчика.— То же самое говорила тебе и я; вот как его звали.

— Ты что ж, никогда не слыхал этого имени?

— Нет,— ответил мальчик и опустил голову.

— Как! В доме нет Шелли?

— Что вы, мистер Бонз! — вскричала взволнованная дама.— За кого вы нас принимаете? Целых два. Свадебный подарок и еще один, с мелким шрифтом, в комнате для гостей.

— У нас по крайней мере семь Шелли,— проговорил мистер Бонз со сдержанной улыбкой. Потом он смахнул с живота крошки, и они вместе с дочерью поднялись, собираясь уйти.

Мальчик, повинувшись знаку, который глазами подала ему мать, проводил их до самых ворот; когда они скрылись из виду, он еще немного помедлил и оглядел уходившую вправо и влево от него Бекингом Парк-роуд.

Родители его жили в респектабельной ее части, после № 39 дома становились все менее благоустроенными, и в № 64 не было даже отдельного хода для прислуги. Но в эту минуту Бекингом Парк-роуд вся была хороша: солнце в полном своем великолепии только что зашло, и неравенства квартирной платы тонули в его шафранном отблеске. Чирикали птички; поезд, привозивший из города служащих, мелодично просвистел, проходя через вырубку — чудесную вырубку, которая, казалось, притянула и сосредоточила в себе всю прелесть Сербитона, облекшись, наподобие горной долины, в убор из пихт, берез и лиственниц. Эта вырубка впервые пробудила в мальчике томление; томление по чему-то, а по чему, он и сам не знал, но каждый раз, когда все вокруг было вот так освещено солнцем, томление снова пробуждалось в мальчике, пробегало по нему как дрожь вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз и наконец мальчика охватывало непонятное чувство, от которого хотелось плакать. В этот вечер он повел себя совсем глупо, помчался почему-то через дорогу к столбу с указателем и от него пустился во весь дух по тупиковому переулку.

Справа и слева от мальчика мелькали высокие ограды — ограды садов вилл «Айвенго» и «Belle Vista», и в

воздухе разлит был какой-то едва уловимый запах. Так как весь переулок, включая и поворот в конце, был не больше двадцати ярдов длиной, то не удивительно, что мальчик вскоре застыл на месте. «Противный Шелли! Дать бы ему хорошенько!» — воскликнул он и от нечего делать скользнул глазами по прикрепленному к ограде листку бумаги. Что-то в нем было странное, и, прежде чем повернуть к дому, мальчик внимательно его прочитал. Вот что там было написано:

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ

С. и Н. Д. А. К.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Компания с прискорбием извещает, что из-за недостатка пассажиров она вынуждена отменить ежедневные рейсы, сохранив только омнибусы,

ОТБЫВАЮЩИЕ В ЧАС ВОСХОДА И В ЧАС ЗАКАТА,
которые будут ходить как обычно. Компания выражает надежду, что новое расписание, установленное исключительно для удобства публики, найдет у нее поддержку. В качестве дополнительного поощрения компания впервые вводит

ОБРАТНЫЕ БИЛЕТЫ

(действительные в течение одних суток), которые можно приобрести у кучера омнибуса. Пассажирам еще раз напоминают, что на конечной остановке билеты купить нельзя и что никакие жалобы на этот счет не будут приниматься во внимание. Кроме того, компания не несет никакой ответственности за действия пассажиров, продиктованные неосторожностью или глупостью, а также за Град, Молнию, Потерю Билетов и другие проявления Божьей воли.

Дирекция

Мальчик видел это объявление впервые и никак не мог сообразить, куда направляется омнибус. С.— это, конечно, Сербитон. Д. А. К. означает Дорожная автобусная компания. Но что такое Н.? Может быть, Нотингем или, пожалуй, Норидж? Все равно им не выдержать конкуренции с Юго-Западной автобусной компанией. Даже ему было ясно, что дело ведется из рук вон плохо. Почему нельзя приобрести билеты на конечной станции? А время отправления — ну и ну! И тут ему вдруг пришло в голову, что если все это не обман, омнибус, должно быть, отошел как раз в тот момент, когда он прощался с Бонзами. Напрасно в сгущающихся сумерках всматривался он в землю, — то, что он там видел, можно было с равным успехом принять за следы колес и за

какие угодно другие следы. К тому же из переулка омнибус ни разу не выезжал. И вообще мальчику никогда не попадались омнибусы на Бекинге Парк-роуд в такой час. Все это, конечно, обман, как и указатель, как волшебные сказки, как сны, от которых вдруг просыпаешься среди ночи. Глубоко вздохнув, он вышел из темного переулка и угодил прямо в объятия отца.

До чего же отец над ним потешался! «Бедный, бедный глупсик! Просто-просто-простофиля, верит, что он скок да скок и на небикус прискок!» На пороге Агатокслодж появилась мать мальчика, она покатывалась со смеху: «Ой, перестань, Боб! — удалось ей наконец выговорить. — Вот несносный! Ой, да я просто умру со смеху! Ну, оставь ты его в покое!»

Но весь вечер над мальчиком продолжали подтрунивать. Отец умолял взять его с собой. А это не очень утомительная прогулка? А ноги там надо вытирать, прежде чем войти? С тоской и обидой на сердце отправился мальчик спать, за одно лишь благодаря судьбу, что ни словом не обмолвился про омнибус. Конечно же, все это обман. Но во сне омнибус почему-то становился все более и более настоящим, зато улицы Сербитона казались мальчику все более обманными и призрачными. Проснулся он очень рано, вскрикнув во сне, когда вдали мелькнула конечная станция.

Он зажег спичку, и она осветила не только часы, но и календарик, и мальчик увидел, что до рассвета остается еще целых полчаса. Тьма стояла непроглядная, ночью туман спустился из Лондона и окутал Сербитон. Но мальчик вскочил и принялся одеваться, потому что намерен был раз и навсегда установить, что же, в конце концов, настоящее — омнибус или улицы: «Надо узнать, а то все так и будут надо мной потешаться». И вот он уже на дороге, дрожит под газовым фонарем, охраняющим вход в переулок.

Не легко ему было туда шагнуть, на это требовалось изрядное мужество. Темно было, хоть глаз выколи, и он окончательно понял, что не может омнибус отправляться отсюда. Если бы не шаги полицейского, приближавшегося к нему в тумане, он так и не решился бы войти в переулок. Но вот он решился, и, конечно, его ожидало разочарование. Ничего! Ничего, кроме темного переулка да глупого мальчишки, уставившегося на слякоть под ногами. Все сплошной обман. «Расскажу об

этом папе и маме,— пробормотал он,— пусть знают. Поделом мне! Таким дурачкам, как я, не место на белом свете». И он повернул назад, к Агатокс-лодж.

Дойдя до ворот, он вдруг вспомнил, что у него спешат часы. Солнце еще не взошло — до восхода оставалось две минуты. «Быть может, омнибус точнее моих часов»,— не без вызова подумал мальчик и свернул в переулок. Перед ним стоял омнибус.

II

В упряжке была пара коней, разгоряченных, в мыле; сквозь туман два огромные фонаря освещали ограды, преображая мох и паутину в золотые ткани волшебного царства. Кучер, сидевший спиной к мальчику, был укутан в плащ с капюшоном. Прямо перед ним высилась глухая стена. Как удалось ему с такой точностью, так бесшумно въехать в переулок, наряду со многим другим навсегда осталось для мальчика загадкой. И он совсем уже не мог себе представить, как омнибус оттуда выедет.

— Скажите, пожалуйста,— раздался в гнилом тумане его дрожащий голос,— скажите, пожалуйста, это и есть омнибус?

— Omnibus est¹, — отозвался, не поворачивая головы, кучер.

Последовало молчание. Кашляя, прошествовал в конце переулка полицейский. Мальчик притаился в тени, он не хотел, чтобы его здесь видели. К тому же он не сомневался, что перед ним пиратский омнибус. Ни один рейсовый омнибус, убеждал он себя, не станет выезжать из такого неподходящего места в такой неподходящий час.

— А когда вы примерно отправляетесь? — спросил он как бы невзначай.

— В час восхода.

— Далеко ли вы едете?

— До места назначения.

— А можно взять обратный билет, чтобы вернуться назад?

— Можно.

¹ Это омнибус (лат.).

— Знаете, пожалуй, я поеду.

Кучер ничего на это не ответил. Наверное, солнце уже взошло, потому что он взял в руки вожжи. И не успел мальчик вскочить в омнибус, как омнибус тронулся с места.

Но каким образом? Повернул? Повернуть там было негде. Поехал вперед? Впереди была глухая стена. Тем не менее они мчались — мчались бешеным аллюром сквозь туман, который из коричневого становился желтым. При мысли о теплой постели и горячем завтраке мальчик приуныл. Он жалел, что поехал. Родители тоже, конечно, будут недовольны. Если бы не погода, он вернулся бы назад. Никогда еще ему не было так бесконечно одиноко: он оказался единственным пассажиром. И в омнибусе, на вид таком внушительном, было холодно и пахло затхлым. Мальчик поплотнее запахнул пальто, при этом рука его случайно коснулась кармана, там было пусто. Он забыл взять с собой кошелек.

— Стойте! — закричал он. — Стойте! — А так как мальчик он был по натуре вежливый, то посмотрел на табличку, чтобы обратиться к кучеру по имени. — Мистер Браун! Пожалуйста, остановите!

Мистер Браун не стал останавливать лошадей. Он приоткрыл маленькое окошечко и посмотрел на мальчика, который никак не ожидал увидеть перед собой такое доброе и благообразное лицо.

— Мистер Браун, я оставил дома кошелек. У меня с собой нет ни гроша. Мне нечем заплатить за билет. Возьмите у меня, пожалуйста, часы. Просто не знаю, как мне теперь быть.

— Билеты на этой линии сообщения, — проговорил кучер, — будь то в один конец или в оба, ни за какие монеты земной чеканки купить нельзя. А хронометр, хоть он и скрашивал бдения Карла Великого и отмерял часы сна Лауре, не переделать в лепешку для приманки беззубого небесного цербера. — С этими словами он вручил мальчику обратный билет и, услышав от него «спасибо», продолжал: — Мне ли не знать, что притязание на титул есть пустое тщеславие. Но, легко сорвавшийся с улыбчивых уст, он будет встречен благосклонно и может послужить к пользе, ибо в двоящемся, хотя и одноименном мире надо как-то отличать двуногих друг от друга. Посему можешь называть меня сэром Томасом Брауном.

— Ой, так вы сэр? Простите, я не знал.— Мальчик где-то слышал о таких кучерах-джентльменах.— Я очень признателен вам за билет. Но если вы так ведете дело, неужели омнибус приносит вам доход?

— Разумеется, нет. Он и не должен приносить доход. Много изъянов в моем экипаже: он слишком причудливо составлен из разных древесных пород, сиденья его не столько предназначены для отдыха, сколько для того, чтобы услаждать эрудицию. И кони мои вскормлены не на вечнозеленых пастбищах быстротекущего, а на высушенных злаках и клеверах латыни. Но приносить доход — этим он не грешит! Во всяком случае, ничего подобного не было в замыслах, и потому не было достигнуто.

— Еще раз простите меня,— сказал, упав духом, мальчик.

Сэр Томас помрачнел — ему стало грустно, оттого что слова его хоть на минуту кого-то омрачили. Он предложил мальчику пересесть к нему на козлы, и они вместе продолжали путешествие в тумане, который из желтого постепенно становился белым. Дома им по пути не попадались, так что скорее всего это была Патнейская пустошь или Уимбилдонский выгон.

— Скажите, вы всегда были кучером?

— Было время, когда я занимался врачеванием.

— А почему вы бросили это занятие? У вас не очень хорошо получалось?

— Как врачеватель тела я не преуспел, с полсотни моих пациентов опередили меня. Но как врачеватель душ я преуспел сверх ожиданий и превыше заслуг. Ибо хотя микстуры мои были составлены не тоньше и не лучше, чем у других, но благодаря искусно изготовленным фиалам, в коих они предлагались, томящаяся душа не раз спешила пригубить их и освежиться.

— Томящаяся душа,— тихо повторил мальчик.— Когда солнце садится за деревьями и с тобой делается что-то непонятное — это и есть томящаяся душа?

— Тебе это знакомо?

— О да.

Помолчав, сэр Томас рассказал мальчику немного, совсем немного о конечной цели их путешествия. Но дорогой они почти не разговаривали, потому что мальчик, когда находился в обществе человека, который ему нравился, любил помолчать, и, как оказалось, сэр Томас

Браун был того же склада, как, впрочем, и многие другие, с кем мальчику предстояло еще познакомиться. Все же он кое-что узнал о молодом человеке по имени Шелли, который теперь прославился и имеет собственную карету, и о других кучерах, находившихся на службе у Компании.

Между тем светлело, хотя туман и не рассеялся. Он больше напоминал теперь густую пелену и то и дело наплывал на них облаком. Все время они ехали в гору. Непрерывающийся подъем продолжался вот уже более двух часов, при том, что лошади всю дорогу бежали; даже если это был Ричмонд-хилл, им давно пора уже было добраться до вершины. Конечно, это мог быть Ипсом или Северный Даунс, но тогда холод не пронизывал бы до костей. И сэр Томас хранил молчание насчет места их назначения.

Гр-р-р-ох!

— Гром! Вот так так! — сказал мальчик. — И грянуло где-то совсем близко. Слышите, какое эхо! Совсем как в горах.

У него промелькнула мысль об отце и матери. Без особого волнения он представил себе, как они садятся завтракать, едят сосиски, прислушиваясь к грозе. Увидел и свое пустующее место. Сейчас последует обмен вопросами, опасениями, предположениями, шутками, утешениями. Они будут ждать его ко второму завтраку. Но ко второму завтраку он не вернется, как не вернется и к чаю. Он вернется к обеду, на этом кончится день его празднования. Будь у него с собой кошелек, он привез бы родителям подарки, если бы только знал, что им купить.

Гр-р-р-ох!

Гром грянул одновременно с молнией. Туча содрогалась как живая, мимо них пронеслись клочья тумана.

— Ты не боишься? — спросил его сэр Томас.

— Чего же здесь бояться? А нам еще далеко?

Кони встали как вкопанные, вверх взлетел огненный шар и взорвался с таким оглушительным и чистым звуком, точно в кузнице кто-то ударил молотом. Тучу разнесло в клочья.

— Ой, слушайте, сэр Томас Браун! То есть смотрите! Наконец-то мы что-то видим. Нет, я хотел сказать, слушайте. Звенит, как радуга.

Звон стих до тишайшего шелеста, но вслед за ним издали возник шорох; он неуклонно рос, изгибаясь ду-

гой, которая, не меняя тона, раскидывалась все шире, шире. И в распахнувшейся аркаде стала разливаться радуга — от копыт коней и дальше, в редяющий туман.

— Как красиво! Какие краски! Где же она остановится? Совсем как во сне — радуга, по которой можно ходить.

Звук и свет нарастали одновременно. Радуга повисла мостом над необъятной расселиной. Туда ринулись облака; пронзая их, радуга разливалась и побеждала мрак; наконец она уперлась во что-то более твердое с виду, чем облако.

Мальчик привстал.

— Что там такое на другом конце? — крикнул он. — На чем она держится?

Позади расселины сиял в утреннем солнце крутой обрыв или то был замок? Кони ступили на радугу и двинулись по ней.

— Ой, смотрите! — закричал мальчик. — Слушайте! Это пещера или может быть, ворота? Смотрите вон туда, на уступы, там, у скал. Я вижу людей! Я вижу деревья!

— Не забудь взглянуть вниз, — шепнул сэръ Томас Браун, — не отнесись с небрежением к вещему Ахерону.

Мальчик бросил взгляд вниз, мимо радуги, которая пылала, чуть касаясь колес. Расселина теперь вся расчистилась, и внизу в глубине текла река вечности. На нее упал луч солнца, и сразу же вспыхнула зеленую вода, и на поверхность выплыли три девы; они пели и играли чем-то блестящим, как кольцо.

— Вы, те, что внизу, в реке! — окликнул их мальчик.

Они отозвались:

— Ты, тот, что наверху, на мосту! — Ворвался вихрь музыки. — Ты, тот, что наверху, на мосту, счастливого тебе пути! Истина в глубинах. Истина на высотах.

— Вы, те, что внизу, в реке, чем вы там забавляетесь?

— Играют золотом, которым они поработаны, — ответил сэръ Томас Браун, и тут омнибус прибыл.

III

Мальчик навлек на себя родительский гнев. Его заперли в детской в Агатокс-лодж и в наказание заставили учить стихи. «Вот что, мой милый, — сказал ему отец, —

я могу простить все, кроме лжи». И он высек мальчика, при каждом ударе приговаривая: «Не было никакого омнибуса, никакого кучера, никакого моста, никакой горы; ты бездельник, ты дрянной мальчишка, ты врун». Мать упрашивала его повиниться. Но мальчик не мог, это был великий день в его жизни, неважно, что он закончился поркой и стихами.

Он вернулся точно в час заката — привез его не сэр Томас Браун, а исполненная тихого веселья молодая дама, и дорогой они говорили об омнибусах и четырехместных ландо. Каким далеким казался теперь ее нежный голос! А ведь прошло всего три часа, как они распрощались в переулке.

За дверью раздался голос матери:

— Дорогой, спустись вниз и захвати с собой стихи.

Он сошел вниз и увидел там мистера Бонза, который сидел с отцом мальчика в курительной комнате. Оказывается, в этот день у них обедал мистер Бонз.

— Полюбуйтесь на этого путешественника,— хмуро сказал отец.— Изволите ли видеть, раскатывает в омнибусах по радугам под пение молодых девиц.

Он расхохотался, придя в восторг от собственного остроумия.

— Ну, нечто подобное можно найти у Вагнера,— с улыбкой сказал мистер Бонз.— Поразительно, как в абсолютно невежественных умах натыкаешься иногда на крупницы истинной поэзии. Любопытный случай. Я позволю себе заступиться за преступника. Кто из нас в свое время не отдал дань романтике!

— Как вы добры, мистер Бонз! — воскликнула мать мальчика, а отец сказал:

— Пусть прочтет свой стишок, и дело с концом. Во вторник он едет к моей сестре, она быстро вылечит его от переулочного зуда. (Смех.) Читай свой стишок.

Мальчик начал:

Стою в неведенье!..

Отец снова захохотал во все горло:

— «Стою в неведенье!» Ну, это в самую точку! Прямо про тебя. Выходит, эти поэты иногда говорят дело. Бонз, стихи по вашей части. Погоняйте-ка его, а я пока схожу за виски.

— Да, уж предоставьте Китса мне,— сказал мистер Бонз.— Где книга? Ну читай же.

Так просвещенный муж и невежественный мальчик остались ненадолго вдвоем в курительной комнате.

Стою в неведенье — и не могу
Прийти к твоей Кикладской стороне.
Нет, не попасть, томясь на берегу.
К дельфинам и...¹

— Все правильно. Не попасть к дельфинам и еще к чему?

К дельфинам и кораллам в глубине... —

сказал мальчик и разрыдался.

— Ну перестань, перестань! Почему ты плачешь?

— Потому что... потому что раньше мне просто нравилось красивое звучание, а теперь, после того как я там побывал, эти слова — я сам.

Мистер Бонз отложил Китса. Случай оказался куда более любопытным, чем он ожидал.

— Ты? — воскликнул он. — Этот сонет — ты?

— Да, и смотрите дальше:

И берег мрака озаряет свет,
Травой несмятой манит крутизна.

Все так и есть, сэр. Все чистая правда.

— Никогда в этом не сомневался, — сказал, полускрыв глаза, мистер Бонз.

— Значит... значит, вы верите мне? Верите в омнибус, в кучера, в грозу и в обратный билет, который мне дали бесплатно?

— Стоп, стоп, мой мальчик! Хватит сочинять небылицы. Я хотел сказать, что никогда не сомневался в истинности Поэзии. Когда-нибудь, прочитав много книг, ты поймешь, о чем я сейчас говорю!

— Но, мистер Бонз, так оно и есть. Свет озаряет берег мрака. Я видел это своими глазами. Там свет и ветер.

— Глупости, — сказал мистер Бонз.

— Зачем только я там не остался! Они манили меня, советовали выкинуть билет: ведь без билета назад не вернуться. Они уговаривали, кричали мне с реки, и я почти поддался им. Мне было так хорошо среди этих крутых обрывов, я еще никогда не был так счастлив. Но я вспомнил о маме и папе и подумал: надо взять их сюда. А они ни за что не соглашаются ехать, хотя дорога

¹ Перевод С. Сухарева.

начинается прямо от нашего дома. Сбылось все, что мне предсказывали: мистер Бонз, как и другие, не поверил мне, меня высекли, и я никогда больше не увижу гору.

— Что ты там такое болтаешь про меня? — выпрямившись, вдруг спросил мистер Бонз.

— Я говорил им о вас, какой вы умный и сколько у вас книг, а они мне на это сказали: «Мистер Бонз, конечно, не поверит тебе».

— Что за чушь! Ты как будто вздумал дерзить мне, мой милый? Я... вот что... я сам во всем разберусь. Отцу ни слова. У меня ты быстро излечишься. Завтра вечером я найду за тобой, возьму тебя прогуляться и, как только солнце сядет, мы свернем с тобой в переулок и поищем там твой омнибус. Ну и глупый же ты мальчик!

Но улыбка сошла с его лица, когда мальчик, ничуть не обескураженный, стал носиться по комнате, распевая: «Какое счастье! Какое счастье! Говорил я им, что вы мне поверите. Мы вместе поедem по радуге. Говорил я им, что вы приедете!»

В конце концов, не мог же мальчик выдумать все от первого слова до последнего? Вагнера? Китса? Шелли? Сэра Томаса Брауна? Чрезвычайно любопытный случай!

На другой день вечером, хотя дождь лил как из ведра, мистер Бонз не преминул явиться в Агатокс-лодж.

Мальчик уже дожидался его, от возбуждения он не мог усидеть на месте и, к немалой досаде председателя Литературного общества, прыгал по комнате. Они прошли несколько раз взад-вперед по Бекингом Парк-роуд и, улучив минуту, когда поблизости никого не было, свернули в переулок. И поскольку солнце только что зашло, то, естественно, они увидели перед собой омнибус.

— Благое небо! — воскликнул мистер Бонз.— Благое небо!

Это был не тот омнибус, в котором мальчик ехал в первый раз, и не тот, в котором он возвратился. Впереди, в упряжке, стояло три коня: вороной, серый, белый — особенно хорош был серый. Услышав слова «благое» и «небо», кучер повернулся, обратив к ним землистого цвета лицо с ужасающе острым подбородком и запавшими глазами. Как бы узнав его, мистер Бонз вскрикнул и задрожал с головы до ног.

Мальчик вскочил в омнибус.

— Возможно ли это? — вскричал мистер Бонз. — Неужели невозможное возможно?

— Садитесь! Пожалуйста, садитесь, сэр! Прекрасный омнибус. А вот и табличка с именем кучера — Дан... какой-то Дан...

Мистер Бонз вскочил в омнибус, и тотчас же порыв ветра с такой силой захлопнул дверцу, что сорвались вниз и защелкнулись оконные шторы, у которых, видимо, от времени ослабели пружины.

— Дан... постой, я сам хочу взглянуть. Боже милостивый! Мы как будто едем!

— Ура! — прокричал мальчик.

Мистер Бонз был в полной растерянности. Он никак не предполагал, что его куда-то увезут. Он попытался нащупать дверную ручку, приподнять шторку, но потерпел неудачу. В омнибусе не было видно ни зги, а когда наконец мистер Бонз зажег спичку, то оказалось, что за окном спустилась ночь. Лошади мчались во весь опор.

— Поразительное, незабываемое приключение, — сказал мистер Бонз, оглядывая огромный, поместительный превосходной работы омнибус, где все было чрезвычайно соразмерно. Надпись над дверью (ручка ее оказалась снаружи) гласила: «Lasciate ogni baldanza voi che entrate»¹. Так, по крайней мере, было написано, но мистер Бонз сказал, что это претенциозные и какие-то там еще потуги, что правильно «speranza»², а «baldanza»³ — это ошибка. Голос у него был как в церкви.

Мальчик тем временем попросил у кучера с мертвенным лицом два обратных билета, которые тот вручил ему без единого слова. Мистер Бонз, прикрыв лицо рукой, снова дрожал:

— Знаешь, кто это? — прошептал он, как только окошечко захлопнулось. — Перед нами невозможное!

— Сэр Томас Браун нравился мне больше, но я не удивлюсь, если окажется, что этот еще почище сэра Томаса.

— «Еще почище!» — от возмущения мистер Бонз топнул ногой. — Благодаря случайности ты совершил

¹ Оставь самомнение всяк, сюда входящий (итал.).

² Надежда (итал.).

³ Самомнение, высокомерие (итал.).

эпохальное открытие — и все, что ты можешь сказать об этом: «Еще почище»! Помнишь, в моей библиотеке переплетенные в кожу книжечки с вытисненными на них красными лилиями? А теперь замри и приготовься, ты услышишь нечто из ряда вон выходящее. Эти книжечки написал он.

Мальчик сидел, как ему было велено.

— Интересно, увидим ли мы там миссис Гэмп? — спросил он, из вежливости немного помолчав.

— Миссис...?

— Миссис Гэмп и миссис Херрис. Я встретился с ними совсем случайно. Мне так нравится миссис Херрис. Миссис Гэмп чуть не растеряла на радуге свои картонки, у них донышки отвалились, и две шишечки от ее кровати упали в поток.

— Нас везет человек, который написал мои переплетенные в кожу книги, а ты мне толкуешь про Диккенса и миссис Гэмп! — обрушился на него мистер Бонз.

— Я очень хорошо знаю миссис Гэмп, — оправдывался мальчик, — как же мне было не обрадоваться ей? Я узнал ее по голосу. Она рассказывала миссис Херрис про миссис Приг.

— И ты весь день провел в столь облагораживающем обществе?

— Нет, что вы, я бегал наперегонки. Ко мне подошел молодой человек и отвел меня на беговую дорожку. По этой дорожке бежишь, а за ней, в море, дельфины.

— Вот как! А не запомнил ли ты случайно имени этого молодого человека?

— Ахилл. Нет, Ахилл был потом. Том Джонс.

Мистер Бонз тяжело вздохнул:

— Ты самым жалким образом все перепутал, любезный. А ведь мог же на твоём месте оказаться образованный человек, который знает всех этих литературных героев, знает, что каждому из них сказать. Он не стал бы попусту тратить время с какими-то там миссис Гэмп и Томом Джонсом. Он беседовал бы только с героями Гомера, Шекспира и того, кто нас везет. И бегать наперегонки он не стал бы. Он бы задавал умные вопросы.

— Но, мистер Бонз, — сказал мальчик смиренно, — вы и есть этот образованный человек. Я им так и сказал.

— Вот именно! Вот именно! И смотри не опозорь меня, когда мы туда приедем. Не вздумай болтать и бегать взапуски. Сам ни с кем не заговаривай, жди, пока Бессмертные к тебе обратятся. Кстати, дай-ка мне сюда билеты, а то ты их еще потеряешь.

Мальчик безропотно отдал билеты, но ему было немного обидно. Как-никак это он нашел сюда дорогу. Трудно стерпеть, когда сначала тебе не верят, потом тебя же поучают. Дождь тем временем прекратился, и в омнибус сквозь все щелочки прокрадывался лунный свет.

— Неужели не будет радуги? — воскликнул мальчик.

— Не отвлекай меня, — напустился на него мистер Бонз. — Ты мешаешь мне размышлять о прекрасном. Хотел бы я, чтобы рядом со мной был человек понимающий, почтительный.

Мальчик закусил губу. Он преисполнен был благих намерений. Он постарается во всем подражать мистеру Бонзу. Постарается не смеяться, не петь, не бегать, вести себя как подобает; наверное, в тот раз он произвел отвратительное впечатление на своих новых друзей. И еще он постарается правильно выговаривать их имена и не забыть, кто с кем знаком. Например, Ахилл не был знаком с Томом Джонсом — по крайней мере так утверждает мистер Бонз. А герцогиня Мальфи старше миссис Гэмп — так по крайней мере утверждает мистер Бонз. Он будет сдержан, молчалив, благовоспитан и не станет никому кидаться на шею. Однако, когда при случайном прикосновении его головы оконная шторка взлетела вверх, от всех его благих намерений и следа не осталось. Омнибус въехал на вершину освещенного лунной холма, и там была расселина, а за ней, омываемые рекой вечности, дремали знакомые крутые обрывы.

— Гора! — закричал мальчик. — Послушайте, плеск воды рождает мелодию! Посмотрите, по ущельям рассыпаны огни костров.

Но мистер Бонз, едва взглянув, сразу же его осадил:

— Вода? Костры? Что за дичь ты несешь! Лучше помолчи. Там ничего нет.

Между тем прямо у них на глазах разливалась радуга, сотканная на этот раз не из грозы и солнца, а из лунных лучей и брызг. Кони ступили на радугу. Мальчик подумал, что прекраснее этой радуги он ничего в жизни не видел, но сказать этого вслух не осмелился, ведь мистер Бонз утверждал, что там ничего нет. Мальчик

высунулся в окно омнибуса — оно распахнулось — и начал подпевать полусонным водам.

— Увертюра к «Золоту Рейна»? — вдруг сказал мистер Бонз. — Откуда ты знаешь ее лейтмотив?

Он выглянул из окна, а потом повел себя в высшей степени странно. Крикнув что-то сдавленным голосом, он отпрянул назад, сполз с сиденья и стал биться в судорогах. Лицо у него позеленело.

— У вас кружится голова от высоты? — спросил мальчик.

— Кружится голова! — прохрипел мистер Бонз. — Я хочу домой. Скажи кучеру, пусть поворачивает.

Кучер только покачал головой.

— Мы почти приехали, — сказал мальчик. — Они еще спят. Позвать их? Они будут очень вам рады, я столько им про вас рассказывал!

Мистер Бонз стонал. Они ехали по лунной радуге, которая истаивала, лишь только колеса переставали ее касаться. Кругом стояла полная тишина. Интересно, кто там на часах у входа?

— Я вернулся! — забыв про все свои благие намерения, прокричал мальчик. — Я вернулся! Это я, мальчик!

— Мальчик вернулся! — отозвался чей-то голос. — Мальчик вернулся! — подхватили другие голоса.

— Я привез с собой мистера Бонза.

Молчание.

— Наверное, правильнее сказать, что мистер Бонз привез меня с собой.

Гробовое молчание.

— Кто на часах?

— Ахилл.

На скалистом гребне, почти там, где начинался радужный мост, он увидел юношу с удивительным щитом в руке.

— Мистер Бонз, вот Ахилл в своих доспехах.

— Я хочу домой, — сказал мистер Бонз.

Последний клочок радуги растаял, колеса вкатились на еще не отвердевшую скалу, и дверца распахнулась. Мальчик не в силах был противиться, он тут же выскочил из омнибуса и бросился навстречу воину, который, неожиданно преклонив колено, подхватил его на свой щит.

— Ахилл, — вскричал мальчик, — отпусти меня, я невежда и невоспитанный грубиян, я должен подождать мистера Бонза, про которого я вчера вам рассказывал!

Но Ахилл поднял его еще выше, и мальчик припал к удивительному щиту: к изваянным из золота героям, к горящим городам, к виноградникам, ко всему, что дорого, ко всему, что манит, к полному подобию открытой им горы, омываемому, как и она, потоком вечности.

— Нет! — настаивал мальчик. — Я недостойн! На моем месте должен быть мистер Бонз!

Но мистер Бонз по-прежнему хныкал; и, протрубив в рог, Ахилл прокричал:

— Встань на моем щите во весь рост!

— Сэр, я этого не хотел, но что-то заставило меня встать. Почему же вы медлите, сэр? Здесь только доблестный Ахилл, ведь вы его знали.

— Я никого не вижу! Никого и ничего! Я хочу вернуться! — вопил мистер Бонз. — Спасите меня! — воззвал он к кучеру. — Позвольте мне остаться в вашей колеснице. Я почитал вас. Я вас цитировал. Я переплел вас в кожу. Отвезите меня домой, в мой мир!

Но кучер ответил:

— Я не цель, я — средство. Я не жизнь, я — пища. Встань сам, встань так, как этот мальчик. Я тебя спасти не могу. Ибо поэзия есть дух, и всякий, кто поклоняется ей, должен исполниться духа поэзии.

Не в силах более противиться, мистер Бонз стал ползком выбираться из прекрасного омнибуса. Сначала появилось страшное лицо с разинутым ртом. Потом руки: одной он цеплялся за подножку, другой хватал воздух. Вот уже и плечи показались, грудь, живот. С воплем: «Я вижу Лондон!» он рухнул — рухнул на освещенную лунной твердь утеса и как в воду канул; провалился, прошел насквозь, исчез из жизни мальчика навсегда.

— Где же вы, мистер Бонз? Вот приближается шествие с музыкой и факелами приветствовать вас. Вот мужчины и женщины, которых вы знаете по именам. Гора проснулась, река проснулась, там, за беговой дорожкой, море будит дельфинов — и все это в вашу честь. Они хотят вас...

Мальчик почувствовал, как лба его коснулись свежие листья. Кто-то его увенчал.

ТЕΛΟΣ¹

¹ Воплощение, конец (греч.).

По сообщению «Кингстон газетт», «Сербитон таймс» и «Рейне парк обсервер»:

Тело изувеченного до неузнаваемости мистера Септимуса Бонза было найдено поблизости от бермондсейского газового завода. В карманах у покойного обнаружен кошелек с золотыми монетами, серебряный портсигар, миниатюрный словарь ударений и два билета. Судя по всему, несчастный джентльмен был сброшен со значительной высоты. Есть основания предполагать, что имело место преступление. Ведется тщательное расследование!

ИНОЕ ЦАРСТВО

I

— **Q**uem — кого; fugis — ты избегаешь; ah demens — дурачок; habitarunt di quoque — боги тоже жили в; silvas — лесах. Продолжайте!

Я всегда стараюсь приукрасить античные тексты. Такая у меня методика. Вот я и перевел demens как «дурачок». Только мисс Бомонт не следовало записывать мой перевод в тетрадку, а Форду, который вовсе не так прост, не следовало повторять за мной: «Кого ты избегаешь, дурачок; боги тоже жили в лесах».

— Вот и-и-именно,— подтвердил я, по-ученому растягивая гласные,— вот именно. Silvas — леса, пространство, поросшее лесом, вообще сельская местность. Ну, а demens — это, конечно, de-mens. О безумец! Боги, говорю тебе, даже боги жилали в лесах!

— А мне кажется, боги всегда жили на небе,— сказала миссис Вортерс, снова (по-моему, в двадцать третий раз) прерывая урок.

— Жили, да не всегда,— ответила ей мисс Бомонт, не отрывая глаз от своей тетрадки. Над словом «дурачок» она вписала «безумец».

— Во всяком случае, я всю жизнь считала, что они живут на небесах.

— Нет, нет, миссис Вортерс,— повторила девушка,— вовсе даже нет.— И, порывшись в своих конспектах, прочла: «Боги. Местожительство. Верховные — гора Олимп. Пан — как показывает имя — почти повсюду. Ореады — горы. Сирены, тритоны, nereиды — вода (соленая). Наяды — вода (пресная). Сатиры, фавны и тому подобное — леса. Дриады — деревья».

— Да у вас, милочка, обширные познания. Но скажите мне, ради всего святого, какой вам от них прок?

— Они мне помогают...— мисс Бомонт запнулась. Она с величайшим почтением относилась к античным авторам, и ей очень хотелось объяснить миссис Вортерс, какой от них прок.

Форд пришел ей на выручку:

— Ну конечно, они вам помогают. В античных текстах масса полезных советов. Например, как от всего увилывать.

Я выразил надежду, что мой юный друг не намеревается увильнуть от чтения Вергилия.

— Нет, правда! — воскликнул он. — Вот, предположим, этот тип, длинноволосый Аполлон, идет учить тебя музыке. Что делать? Проще простого: бац — и ты в лавровых зарослях. Или, допустим, следующий урок — общее природоведение. И, допустим, тебе неохота его учить. Берешь и превращаешься в тростник.

— Мне кажется, у Джека ум за разум заходит, — изрек миссис Вортерс.

Однако мисс Бомонт поняла намеки, надо сказать, довольно остроумные, и подхватила:

— А Крез? Во что надо превратиться, чтобы сбежать от Креза?

Я поспешил внести поправку в ее познания в мифологии.

— Мидас, мисс Бомонт, а не Крез, — сказал я. — И не вам надо превращаться, а он вас превращает. В золото.

— Да уж от Мидаса не увильнешь, — подтвердил Форд.

— Нет, погодите, — запальчиво начала мисс Бомонт, которая учила латынь не больше двух недель, однако не постеснялась бы поправить и университетского профессора.

Не дослушав, Форд принялся ее дразнить:

— Не увильнете, не увильнете, от Мидаса не увильнете! Догонит, прикоснется — и готово, выплачиваете ему тысячу процентов золотом. Превращаетесь в золотой слиток в форме юной красавицы.

— Вот еще! — воскликнула мисс Бомонт со своей обычной кокетливостью. — Касаться меня? Да я не дамся!

— А он вас и не спросит!

— А я не дамся!

— А он и не спросит!

— А я не дамся!

— А он не спросит!

Мисс Бомонт схватила том Вергилия и шмякнула им Форда по голове.

— Ивлин, Ивлин, — запротестовала миссис Вортерс, — вы забываетесь! И вы так и не ответили на мой вопрос. Какой вам прок от всей этой латыни?

— А вам, мистер Форд, какой прок от латыни?

— Мистер Инскип! Какой нам прок от вашей латыни?

Так я оказался вовлечен в этот извечный спор. Существует множество превосходных аргументов в пользу изучения латыни, но они трудно запоминаются, а мы к тому же сидели на самом солнцепеке, в горле у меня пересохло, хотелось чаю. Однако платный учитель не может не выступить в защиту латыни — это подорвало бы основу его существования. Поэтому я снял очки, подышал на них и сказал:

— Дражайший Форд, как вы можете задавать подобные вопросы?!

— Нет, с Джеком мне все ясно, — сказала миссис Вортерс. — Ему надо готовиться к вступительным экзаменам. Но вот зачем Ивлин учить латынь, этого я не понимаю.

— И все же вы неправы, миссис Вортерс, — сказал я, целясь в нее очками, которые все еще держал в руке. — Я с вами решительно не согласен. Мисс Бомонт в известном смысле абитуриентка нашей цивилизации. Ей тоже предстоят своего рода экзамены, и латынь — один из них. Чтобы постичь современный мир, надо знать, из чего он возник.

— А зачем ей постигать современный мир? — не унималась несносная дама.

— Ну знаете! — парировал я, звучно прихлопнув дужки своих очков.

— Нет, мистер Инскип, не знаю! Так что вы уж потрудитесь объяснить мне, зачем все это надо. Меня тоже заставили в свое время пройти через всех этих Юпитеров, Венер, Юнон, я их до сих пор помню. И, между прочим, со многими из них приключались совершенно неприличные истории.

— Классическое образование, — сказал я сухо, — не сводится к одной лишь античной мифологии. Тем не менее мифы сами по себе тоже имеют определенную ценность. Пусть это только чьи-то сны, но ведь и сны не лишены ценности.

— Мне тоже снятся сны, — сказала миссис Вортерс, — но у меня хватает благоразумия не пересказывать их. К счастью, в этот момент нас прервали.

— Да здравствуют сны, господа! — произнес позади нас могучий мужской бас, и к нам присоединился хозяин, Харкурт Вортерс — сын миссис Вортерс, жених мисс Бомонт, опекун Форда и мой работодатель. Мне надлежит называть его мистер Вортерс. — Да здравствуют наши бесценные сны! — повторил он. — Весь день я препирался, спорил, торговался, и вот прихожу домой и застаю вас на лужайке за таким безоблачным, таким мирным, таким идиллическим занятием, как изучение латыни... — он не договорил и, опустившись на стул подле мисс Бомонт, завладел ее ручкой.

— «Ах ты дурачок, боги-то живут в лесах», — пропела она.

— Что такое? — нахмурился мистер Вортерс. Свободной рукой юная ученица указала на меня.

— Вергилий, — пояснил я с запинкой. — Перевод посредством разговорной лексики...

— Ах, вот что! Разговорный перевод поэзии. — Улыбка снова осветила чело мистера Вортерса. — Ну, если в лесах живут боги, тогда понятно, почему леса такие дорогие. Я приобрел сегодня рощу Иное Царство.

Сообщение это вызвало повальный восторг. Буки в Ином Царстве действительно не уступают лучшим букам Хертфордшира, к тому же роща и луг перед ней давно уже неприятной зазубриной нарушали округлость очертаний поместья Вортерсов. Вот почему мы так обрадовались. Один лишь Форд хранил молчание, потирая ушибленное Вергилием место и тихонько улыбаясь самому себе.

— Судя по цене, которую с меня взяли, там на каждом дереве сидит по богу. Впрочем, в этой сделке цена не имела для меня никакого значения. — Он взглянул на мисс Бомонт и добавил: — Вы ведь, кажется, любите буки, Ивлин?

— Я всегда забываю, которые из них буки. Вот такие? — и она воздела руки к небу, свела кисти вместе и вытянулась всем телом, изображая тонкий и гибкий ствол. Изящное зеленое платье затрепетало, словно прошелестели бесчисленные листья.

— Голубушка! — воскликнул влюбленный мистер Вортерс.

— Нет,— сказал Форд.— Это береза.

— Ах да, конечно. Значит, такие? — она привела в движение свои юбки, на секунду повисшие в воздухе обширными зелеными кругами, точно слоистая крона бука. Взглянув в сторону дома и убедившись, что слуги ничего не заметили, мы дружно рассмеялись и объявили, что она рождена для варьете.

— Да, такие я очень даже люблю! — воскликнула она и изобразила еще один бук.

— Я так и думал,— кивнул мистер Вортерс,— я так и думал. Роща Иное Царство — ваша.

— Моя?!

Ей никогда еще не дарили таких подарков, и она даже не сразу поняла.

— Да, напишем купчую на ваше имя, и вы ее собственноручно подмахнете. Примите рощу в знак моей любви и нашей помолвки. В добавление к кольцу, так сказать.

— Так теперь она моя? И мне там можно делать все, что я захочу?

— Все, что вам заблагорассудится,— улыбаясь подтвердил мистер Вортерс. Она набросилась на него с поцелуями. Потом расцеловала миссис Вортерс. Она не обошла бы и нас с Фордом, но мы выставили локти. Известие о том, что она стала землевладелицей, ударило ей в голову.

— Значит, она моя. Я могу там гулять, работать, жить. Собственная роща! Моя навеки!

— На девяносто девять лет она в вашем полном распоряжении.

— На девяносто девять лет?..— Я вынужден отметить, что в голосе ее прозвучала нотка разочарования.

— Голубушка, уж не надеетесь ли вы прожить дольше?

— Нет, это, наверное, невозможно,— ответила она, слегка покраснев.— Не знаю...

— Подавляющее большинство людей считает, что девяносто девять лет — срок достаточно большой. К примеру, этот дом и лужайка, на которой вы сейчас стоите, отданы мне на девяносто девять лет, и все же я считаю их своими. Или я неправ?

— Нет, нет, конечно.

— На девяносто девять лет — это ведь и значит, в сущности, навеки.

— Да, да, вы правы.

У Форда есть одна взрывоопасная тетрадка. Снаружи на ней написано: «Не для посторонних», а когда открываешь, то на титульном листе видишь название: «В сущности, книга». Я увидел, как Форд раскрыл эту тетрадку и записал: «Вечность — это, в сущности, девяносто девять лет».

Тут мистер Вортерс проговорил, словно обращаясь к самому себе:

— Боже мой, до чего же вздоржала земля. Просто уму непостижимо.

Я понял, что великому человеку нужна реплика, и подал ее:

— В самом деле, мистер Вортерс?

— Друг Инскип, вы даже представить себе не можете, как дешево я мог купить эту роццу десять лет назад. Но я отказался. Угадайте почему?

Мы не угадали.

— Потому что это было бы нечестно.

При сих благородных словах по лицу мистера Вортерса распространился чрезвычайно симпатичный румянец.

— Да, нечестно. То есть формально все было бы законно, но по сути — безнравственно. Чтобы купить ее, надо было оказать давление на тогдашнего владельца. И я отказался. Мне говорили — причем говорили по-своему порядочные люди, — что я напрасно щепетильничаяю. А я сказал: «Возможно. Возможно, я излишне щепетилен. Мое имя всего лишь Харкурт Вортерс, и, может быть, оно не слишком широко известно за пределами Сити и моей родины в целом, и все-таки мне лестно думать, что его произносят с уважением. И моему имени под этой купчей не бывать. Таково мое последнее слово. Можете называть это щепетильностью. Допустим, у меня каприз. Будем считать, что я просто капризничаяю». — Мистер Вортерс снова залился краской. Форд говорит, что его опекун краснеет с ног до головы, и, если его раздеть и спровоцировать на благородные речи, он будет как вареный рак. В таком виде он и нарисован у Форда в тетрадке.

— Значит, теперь вы купили роццу у кого-то другого? — спросила мисс Бомонт, с интересом выслушав всю историю.

— Конечно,— сказал мистер Вортерс.

— Ну разумеется,— рассеянно отозвалась миссис Вортерс, пытавшаяся отыскать в траве оброненную спицу.— У вдовы прежнего владельца.

— Чай! — вскричал сын миссис Вортерс, энергично поднимаясь на ноги.— Я вижу, накрывают к чаю, что как нельзя более кстати. Пойдемте, мама. Пошли, Ивлин. Целый день сражаться, это, доложу я вам, не шутка. В сущности, вся наша жизнь — непрерывная борьба. Борьба, с какой стороны ни глянь. Лишь немногим счастливицам удастся проводить время в чтении книг и таким образом избегать столкновения с реальностью. Я же...

Дальше мы не слышали. Сопровождая обеих дам, он пересек аккуратный лужок и поднялся по каменным ступенькам на террасу, где лакей возился со столами, стульями и серебряной подставкой для чайника. Из дома на террасу вышли остальные дамы. Мы услышали, что и они тоже бурно отреагировали на известие о покупке Иного Царства.

Мне по душе Форд. У этого юноши задатки ученого и джентльмена, хотя с последним он почему-то не согласен. Меня позабавила несколько скептическая гримаса, появившаяся на лице юноши при взгляде на террасу. Лакей, массивная серебряная подставка — все это чуждо Форду и только злит его. Ибо ему свойственно мечтать. Не о возвышенном, нет. Возвышенное — это область мистера Вортерса. Нет, у Форда мечты реальные и осязаемые. Здоровые мечтания, уводящие его мысль не в облака, а на землю, только другую, где лакеев нет, а подставки, я полагаю, делаются не из серебра. И, как я понимаю, там вещи называются своими именами, а не сводятся «в сущности» к чему-то другому. Однако есть ли смысл в этих мечтах и, если есть, какой от них прок, — этого я не сумею объяснить. Сказав, что сны — и, стало быть, мечты — не лишены определенной ценности, я просто хотел возразить старухе Вортерс.

— Продолжайте, дружок,— сказал я.— Мы должны до чая хоть что-нибудь успеть.

Он развернул свой стул, усевшись спиной к террасе и лицом к лугу, речушке и стоявшим за нею букам Иного Царства, и с восхитительной серьезностью принялся разбирать «Эклоги» Вергилия.

II

Роща Иное Царство ничем не отличается от любой другой буковой рощи. Таким образом, я избавлен от доуки ее описывать. Нет ничего оригинального и в том, что речка, преграждающая путь к роще, не имеет мостика в удобном для этого месте и, стало быть, надо либо делать крюк примерно в милю, либо шлепать по воде. Мисс Бомонт предложила шлепать. Мистер Вортерс бурно приветствовал это предложение, и мы даже не сразу поняли, что он вовсе не собирается его принять.

— Великолепно! — восклицал он. — Великолепно! Пошлепаем в ваше царство по колению в воде. Вот только как же провиант?

— Понесете на себе!

— Конечно, конечно. Или кто-нибудь из слуг понесет.

— Харкерт! Никаких слуг. Раз лес мой — значит, и пикник мой, стало быть, я и хозяйка. Я все устрою. Я от вас скрыла. Весь провиант мы уже купили. Мы с мистером Фордом ходили в деревню.

— В деревню?

— Да. Мы купили печенья, апельсинов и полфунта чаю. А больше ничего и не надо. И раз уж мистер Форд притащил все это из деревни, он может и через речку перенести. От вас требуется только одолжить мне немного посуды, но не самой дорогой. Посуду я понесу сама. Вот и все.

— Но, голубушка!..

— Ивлин, — сказала миссис Вортерс, — почему вы с Джеком покупали чай?

— Мы отдали десять пенсов за полфунта.

На это миссис Вортерс ответила недовольным молчанием.

— А как же мама? — вскричал мистер Вортерс. — Я совсем забыл! Не может же мама тоже шлепать босиком.

— Нет, конечно, нет, миссис Вортерс. Мы можем вас перенести.

— Благодарю вас, дитя. Я уверена, что вам это под силу.

— Увы, Ивлин, увы, мама над нами смеется. Она скорее умрет, чем позволит нам нести ее. Увы и еще

раз увы! Ведь с нами пойдут мои сестры. И миссис Озгуд, а эта несносная женщина к тому же простужена. Нет, придется нам идти кругом, через мост.

— Вы идите кругом, а мы...— начал Форд, но опекун кинул на него быстрый взгляд, и Форд осекся.

Так что мы пошли кругом. Процессия состояла из восьми персон. Возглавляла ее мисс Бомонт. Она была чрезвычайно весела и забавна — так, во всяком случае, мне тогда казалось. Правда, впоследствии, припоминая ее речи, я не нашел в них ничего забавного. Но тогда она нас очень веселила, выступая примерно в таком роде: «Шеренгой по одному. Вообразите, что вы в церкви, и замкните рты на замок. Носками наружу, мистер Форд. Харкурт! Будете переходить реку — бросьте наяде щепотку чая, у нее голова болит. Она уже тысячу девятьсот лет страдает мигренью». И так далее, и тому подобное, все глупости в таком же роде. Не знаю, чем мне тогда понравилась ее болтовня. Мы подошли к роще, и мисс Бомонт сказала: «Мистер Инскип, пойте, а мы будем подпевать: „Ах ты дурачок, боги-то живут в лесах“». Я прокашлялся и пропел-таки эту гнусную фразу, и все принялись повторять ее, словно литанию. Было в ней что-то привлекательное, в нашей мисс Бомонт. Я, в общем, понимал, почему, наткнувшись где-то в Ирландии на эту девицу без денег, без связей и, можно сказать, без роду, без племени, Харкурт решился привезти ее домой и объявить своей невестой. Это был смелый поступок, а ведь он и считал себя смелым человеком. Приданого за ней не было ни полушки, но он мог себе позволить жениться на бесприданнице: ценности у него и так имелись в избытке — и материальные, и духовные. Однажды я слышал, как он говорил матери, что со временем Ивлин тысячекратно возвратит его издержки. Ну а пока в ней просто было что-то привлекательное. Платному учителю не пристало судить, кто симпатичен, а кто нет, а то бы я ей очень симпатизировал.

— Прекратить пение! — скомандовала она. Мы вошли в лес.— Добро пожаловать. Милости прошу вас всех ко мне в рощу.

Мы поклонились. Форд, всю дорогу хранивший серьезность, поклонился до самой земли.

— Теперь прошу садиться. Миссис Вортерс, будьте добры присесть вот здесь, возле этого зеленого ствола, он пойдет к вашему чудному платью.

— Хорошо, дорогая, я сяду, — сказала миссис Вортерс.

— Анна, сюда. Мистер Инскип, возле нее, а вот здесь — Рут и миссис Озгуд. А вы, Харкурт, подвиньтесь немного вперед, чтобы заслонить дом. Его не должно быть видно.

— Ну уж нет, — засмеялся влюбленный мистер Вортерс, — я предпочитаю сидеть, прислонившись к дереву.

— А мне куда сесть, мисс Бомонт? — спросил Форд. Он стоял по стойке смирно, будто солдат.

— Ах ты боже мой! — воскликнула она. — Вы только поглядите на нашего Фордика — один посреди стольких Вортерсов! ¹

Да, она была уже достаточно цивилизована, чтобы каламбурить.

— Может, я заслону вам дом, если останусь стоять?

— Сядь, Джек, ну что за ребячество! — с ненужной резкостью вмешался опекун. — Сядь, тебе говорят.

— Пусть постоит, раз ему хочется, — сказала мисс Бомонт. — Только сдвиньте шляпу на затылок, мистер Форд. Чтоб она у вас была как венчик. Тогда вы мне не только дом, но даже и дым из трубы заслоните. К тому же вам так очень к лицу.

— Ивлин, Ивлин, вы слишком много требуете от ребенка. Он устанет стоять. Он же типичный книжный червь, он слабенький. Пусть он сядет.

— А я думала, вы сильный, — сказала она.

— Ну разумеется, я сильный! — воскликнул Форд. И это правда. Невероятно, но факт. Никогда он не упражнялся с гантелями и не играл в регби. Мускулы у него окрепли сами собой. Он считает, что это от чтения Пиндара.

— В таком случае будьте любезны постоять.

— Ну что за детские капризы, Ивлин! — вмешался мистер Вортерс. — Если бедняга Джек устанет, я его сменю. Однако почему это вы не желаете смотреть на мой дом, а?

Миссис Вортерс и девицы Вортерс обеспокоенно заерзали. Они видели, что их Харкурт недоволен. Почему

¹ Игра слов: ford означает «брод», а имя Вортерс созвучно слову waters, «воды». (Прим. пер.)

недоволен — не их забота. Ублажить его надлежало Ивлин, и они все уставились на нее.

— Ну-с? Отчего же вам противен вид вашего будущего дома? Не побоюсь сказать — хотя спроектировал его, в сущности, я сам, — что он совсем недурно смотрится отсюда, особенно фронтоны. Ну-с? Отвечайте!

Мне было жаль мисс Бомонт, Самодельный фронтон — вещь ужасающая, и особняк Харкурта больше всего походил на загородную дачку, страдающую водянкой. Но что же она ему ответит? Она ничего не ответила.

— Ну-с?

А она и ухом не вела. Будто и не слышала. Все так же улыбалась, веселилась и сияла, а отвечать и не подумала. Ей словно было невдомек, что на вопрос необходимо дать ответ. Зато для нас ситуация создалась невыносимая. Желая спасти положение, я тактично перевел разговор на ландшафт, который, сказал я, немного напоминает мне местность под Вейи. Я солгал. Ничто здесь не напоминало мне Вейи, так как я никогда не бывал там. Но приводить в разговоре античные названия и имена тоже входит в мою методику. Во всяком случае, я избавил общество от неловкой ситуации: мисс Бомонт сразу посерьезнела и деловито осведомилась, в каком году Вейи был разрушен. Я ответил ей подобающим образом.

— Обожаю античных писателей, — объявила она. — У них такой естественный стиль. Они просто записывают кто что знает, вот и все.

— Верно, — сказал я. — Однако наряду с прозой античные авторы писали и стихи. Они не ограничивались регистрацией фактов.

— Записывали что знали, вот и все, — повторила мисс Бомонт с довольной улыбкой, словно это дурацкое определение доставляло ей удовольствие.

Между тем Харкурт пришел в себя.

— Очень справедливое суждение, — сказал он. — Я лично отношусь к античному миру точно так же. Он нам, в сущности, ничего не дает. Они записали кто что знал и этим ограничились.

— Как это? — спросила мисс Бомонт. — В каком смысле «ограничились»?

— В том смысле — хоть и не слишком вежливо говорить так при мистере Инскипе, — в том смысле, что

античная литература — это еще далеко не все. Конечно, мы многим обязаны ей, и я вовсе не склонен ее недооценивать. Я тоже изучал в школе античных писателей, в них масса прелести и красоты, но античные авторы — это далеко не все. Они писали в ту эпоху, когда человек еще не научился чувствовать по-настоящему.— Мистер Вортерс порозовел.— Отсюда и некоторая холодность античного искусства, которому недостает... чего-то такого, знаете ли... чего-то такого. Другое дело — более поздние вещи: Данте, мадонна Рафаэля, некоторые мелодии Мендельсона...— исполненный благоговения, мистер Вортерс умолк. Мы глядели в землю, не смея поднять глаз на мисс Бомонт. Ни от кого не секрет, что ей тоже недостает чего-то такого. Ведь в ней еще не развилась душа.

Наше молчание нарушил громкий шепот миссис Вортерс, сообщившей, что она умирает с голоду.

Юная хозяйка вскочила. Нет, нет, помогать она нам не позволит. Мы гости. Она раскрыла корзинку, развернула печенье и апельсины, вскипятила и разлила чай. Чай был ужасный. Зато мы смеялись и болтали с той свободой, которую дает только пикник, и, даже выплевывая мух, миссис Вортерс улыбалась. Над нами маячила молчаливая фигура благородного Форда, который подносил чашку ко рту, стараясь не нарушить позы. Его опекун, большой забавник, подшучивал над ним и все норовил пощекотать его под коленками.

— Ах, до чего же хорошо! — говорила мисс Бомонт.— Я так счастлива!

— Какой у вас милый лесок,— говорили ей дамы.

— Лес теперь принадлежит ей навеки! — воскликнул мистер Вортерс.— Девяносто девять лет — это, конечно, мало. Я заставил бывших владельцев пересмотреть условия и на сей раз приобрел лес в вечное владение. Пустое, голубушка, пустое, не стоит благодарности!

— Ну как же не стоит,— возражала она,— когда все так прекрасно и вы все так добры ко мне! А ведь еще год назад я почти никого из вас не знала. Ах, как чудесно! И роща, собственная роща в вечное владение! И вы все у меня в гостях и чай пьете! Дорогой Харкерт! Дорогие мои! И мистер Форд даже заслонил от меня дом, который мог бы все испортить!

— Ха, ха, ха! — рассмеялся мистер Вортерс и крепче ухватил юношу за ногу. Не знаю, что у них там

вышло, но Форд охнул и упал. Посторонний мог бы подумать, что он вскрикнул от злости или от боли, но мы-то были все свои и дружно рассмеялись.

— На лопатки, на лопатки! — играючи, они принялись бороться, разбрасывая пыль и сухие листья.

— Не смейте бить мою рощу! — прикрикнула на них мисс Бомонт. — Ей больно!

Форд снова охнул. Мистер Вортерс убрал руку.

— Победа! — объявил он. — Ивлин, полюбуйте-ся видом на фамильное гнездо Вортерсов.

Но мисс Бомонт уже вспорхнула и, покинув нас, углубилась в свою рощу. Мы собрали посуду и разделились на группы. Форд пошел с дамами. Мистер Вортерс удостоил меня своего общества.

— Ну-с, — задал он свой обычный вопрос, — как подвигаются античные студии?

— Неплохо.

— А каковы способности мисс Бомонт?

— Я бы сказал, незаурядные. Во всяком случае, она полна энтузиазма.

— А вам не кажется, что это скорее детская прыть? Буду с вами вполне откровенен, мистер Инскип. Во многих отношениях мисс Бомонт, в сущности, еще дитя. Ей предстоит учиться всему с самого начала. Она ведь и сама это признает. Ее теперешняя жизнь так непохожа на ее прошлое существование. Так нова для нее. Наши привычки, наш образ мыслей — во все это ей еще предстоит вживаться.

Я знал, к чему он клонит. Но ведь и я не набитый дурак. И я ответил:

— В смысле вживания нет лучшего материала, чем античная литература.

— Это верно, — подтвердил мистер Вортерс, — это верно.

Где-то за деревьями слышался голос мисс Бомонт. Она считала буки.

— Единственное, что меня смущает, — продолжал мистер Вортерс, — это, знаете ли... ну вот греческий, латынь... пригодятся ли ей эти знания? Сумеет ли она... Ну, словом, вы же понимаете, что учительствовать ей не придется.

— Да, верно, — сказал я, и лицо мое отразило впервые зародившиеся сомнения.

— Так стоит ли... поскольку знания ее ничтожны?.. О, разумеется, она полна энтузиазма! Но не следует ли направить ее энтузиазм по пути, скажем, английской литературы? Она ведь совершенно не знает Теннисона. Вчера вечером, когда мы прогуливались в оранжерее, я прочел ей эту замечательную сцену, помните — Артур и Джиневра? Латынь и греческий — это прекрасно, но иногда мне кажется, что начинать надо с начала.

— Вам кажется,— подхватил я,— что для мисс Бомонт античные авторы — излишняя роскошь.

— Вот именно, мистер Инскип, роскошь, именно роскошь. Причуда. Прихоть. Другое дело — Джек Форд. И тут мы, между прочим, подходим к еще одной проблеме. Ведь из-за нее Джеку, наверное, приходится повторять пройденное прежде. Она же только-только постигает азы.

— Да, разумеется, азы. И должен вам сказать, что учить их вместе довольно трудно. Джек — мальчик начитанный, а мисс Бомонт, при всем ее энтузиазме и прилежании...

— Я так и думал. Стало быть, Джеку это не на пользу?

— Да, должен признаться, что...

— Вот именно. Напрасно я придумал для них совместные занятия. Отринем эту идею. Для вас, мистер Инскип, с потерей ученицы ничего, разумеется, не изменится.

— Мы тотчас прекратим совместные занятия, мистер Вортерс.

Тут она подошла к нам.

— Харкурт, здесь семьдесят восемь деревьев. Я все-все сосчитала.

Он одарил ее улыбкой. Надо сказать, что он высок и красив, с мощным подбородком, живыми карими глазами, обширным лбом, и вовсе не седой. Фотографический портрет мистера Вортерса производит весьма благоприятное впечатление.

— Семьдесят восемь деревьев?

— Так точно.

— Вы рады?

— Ох, Харкурт!..

Я начал укладывать посуду в корзину. Они меня видели и слышали, и знали, где я. Не моя вина, что они не отошли в сторонку.

— Предвкушаю постройку моста,— сказал он.— Простого деревянного моста в низине. И еще можно проложить асфальтовую тропку от дома через луг, чтобы мы с вами могли в любую погоду приходить сюда посуху. Здесь бывают мальчишки — обратите внимание на инициалы, вырезанные на стволах. Я думаю, стоит соорудить какую-нибудь простенькую ограду, чтобы никто, кроме нас с вами...

— Харкурт!..

— Ограду такого типа, как у меня поставлена вокруг сада и полей. А на той стороне рощи поставим калитку и повесим замок. закажем только два ключа — вам и мне, больше ведь ни к чему... и проведем асфальтовую дорожку...

— Погодите, Харкурт!

— Погодите, Ивлин!

— Я... я... я...

— Вы... вы... вы..?

— Я... я не хочу асфальтовую дорожку!

— В самом деле? Да, может быть, вы правы. Тогда, пожалуй, шлаковую. Или даже гравиевую.

— Но видите ли, Харкурт... Я вообще не хочу никакой дорожки! Мне... мне это не по карману!

Он победно расхохотался.

— Голубушка! Да кто же просит вас тратиться? Дорожка тоже входит в мой подарок.

— Нет, подарок — только роща,— сказала мисс Бомонт.— Вы понимаете... Ну зачем мне дорожка? Гораздо лучше приходить сюда, как сегодня. И мост мне ни к чему. И забор. И я совсем не против, чтобы мальчишки вырезали на стволах свои инициалы. Они уж сколько лет ходят сюда со своими подружками — специально чтоб вырезать инициалы. Это у них вроде обручения и называется «четвертое предложение». И я вовсе не хочу их прогонять.

— Боже! — сказал мистер Вортерс, указав на внушительных размеров сердце, пронзенное стрелой.— Боже, боже!

По-моему, он просто тянул время, не зная, как ей лучше возразить.

— Они вырезают свои имена или инициалы и уходят, а когда у них рождается первый ребенок, снова приходят и режут глубже. И так после каждого нового ребенка. Вот смотрите: если кора прорезана насквозь до са-

мой древесины — значит, у них большая семья, а если прорезь неглубокая и зарастает — значит, они вообще не поженились.

— Да вы просто чудо! Я прожил тут всю жизнь, но даже слыхом не слыхал обо всем этом. Кто бы мог подумать, что в Хертфордшире существуют народные обычаи! Надо будет рассказать архидьякону, он придет в восторг.

— И я вовсе не хочу им мешать!

— Голубушка, но ведь лесов кругом полно. Крестьяне найдут себе другую рощу. Свет клином не сошелся на Ином Царстве.

— Но ведь...

— Иное Царство будет для нас, только для нас двоих. Мы вырежем два имени, мое и ваше,— шептал он.

— Я не хочу, чтоб был забор.— Она стояла лицом ко мне, и я видел, что она напугана и сбита с толку.— Я ненавижу заборы. И мосты. И всякие дорожки. Ведь это же мой лес. Прошу вас. Ведь вы мне его подарили.

— Ну разумеется,— поспешил он успокоить ее; но видно было, что он злится.— Идея! Ведь луг-то мой! Стало быть, я имею право его огородить. Поставлю изгородь между вашим участком и моим.

— Со стороны дома — пожалуйста. Отгораживайтесь от меня сколько угодно. Но не отгораживайте меня от людей. Никогда, Харкерт, никогда. Я не хочу, чтобы забор отделял меня от всего мира. Пусть люди приходят в рощу. С каждым годом инициалы будут становиться все глубже. Ну что может быть приятнее? И даже если некоторые зарастают, все равно они тут, под корой.

— Наши инициалы! — пробормотал он, ухватившись за единственное в ее речи, что он был в состоянии понять и употребить для дела.— Давайте теперь же вырежем их. Ваши и мои, рядом. И сердце, если хотите. И стрелу. X. В. плюс И. Б.

— X. В.,— повторила она,— плюс И. Б.

Он достал перочинный нож и увлек ее за собой на поиски нетронутого ствола.

— И. Б., Извечное Благословение. Мое, мое благословение. Моя тихая гавань. Мой целомудренный алтарь. О, воспарение духа! Сейчас вы этого не понимаете, но вы поймете. О, райское уединение! Год за годом, вдвоем, вдали от мира, растворившись друг в друге,

сливая свою душу с вашей, И. Б., Истинное Блаженство. — Он протянул руку к стволу. Тут она словно очнулась от сна.

— Харкурт! — закричала она. — Харкурт! Что это? Что это у вас красное на пальцах?

III

О боги! О владыки и владычицы неба и земли! Какой кошмар! Мистер Вортерс прочел взрывоопасную тетрадку Форда.

— Я сам виноват, — сказал Форд. — Надо было мне на наклейке написать: «В сущности, не для посторонних» — тогда бы он уразумел, что это значит — не для него.

Я проявил строгость, соответствовавшую моему статусу платного педагога.

— Вы несправедливы, юный друг. Ваша наклейка отвалилась. Только поэтому мистер Вортерс и открыл тетрадку. Он и не подозревал, что это ваши личные записи. Видите, наклейки-то нет.

— Он ее соскреб, — мрачно возразил Форд и взглянул себе на ногу.

Я притворился, что не понимаю, и продолжал:

— Дело обстоит следующим образом. В течение ближайших суток мистер Вортерс будет обдумывать ситуацию. Я вам советую извиниться, не дожидаясь истечения этого срока.

— А если я не извинюсь?

— Конечно, это ваше личное дело. Не забывайте только, что вы молоды и жизни, в сущности, совсем не знаете, да и своих денег у вас почти нет. Насколько я понимаю, ваша карьера, в сущности, зависит от благоволения мистера Вортерса. Вы насмеялись над ним. Он этого не любит. Дальнейшее, по-моему, очевидно.

— Извиниться?

— Безусловно.

— А если нет?

— Уехать.

Он сел на каменную ступеньку, подперев подбородок коленом. На лужайке под нами мисс Бомонт катала крокетные шары. Влюбленный мистер Вортерс находился еще ниже, на лугу: он надзирал за работами по

прокладке асфальтовой дорожки. Да, дорожку решили все-таки проложить, и мост построить, и забор вокруг Иного Царства. Мисс Бомонт скоро поняла, сколь неразумны были ее возражения, и однажды вечером в гостиной сама заговорила об этом и разрешила Харкурту делать все, что он хочет.

— Роща будто ближе подошла,— сказал Форд, обращаясь ко мне.

— Сняли забор между рощей и лугом, вот она и кажется ближе. Вам, друг мой, лучше бы обдумать свои действия.

— Сколько он прочел?

— Естественно, он тут же закрыл тетрадку. Но, судя по тому, что вы показывали мне, одного взгляда вполне достаточно.

— Он на стихах открыл?

— Каких стихах?

— Он говорил вам про стихи?

— Нет. О ком стихи, о нем?

— Нет, не о нем.

— Тогда не страшно, даже если он их и прочел.

— Иногда, знаете, приятно, чтобы о тебе упомянули,— сказал Форд, глядя мне в лицо. Во фразе его было что-то едкое — этакая оскоминка, какая бывает от первоклассного вина. Совсем не юношеский привкус был у этой фразы. Мне стало жаль, что мой ученик рискует погубить свою карьеру, и я снова посоветовал ему извиниться.

— Дело не в том, требует мистер Вортерс извинения или нет. Это совсем другая сторона вопроса, и я предпочел бы ее не касаться. Сейчас суть в том, что если вы сами, по собственному почину, не извинитесь, вам придется уехать. Но куда?

— К тете в Пекхем.

Я жестом указал ему на радовавший глаз ландшафт, на коров и лошадей, щипавших траву, на слуг. В центре ландшафта возвышался мистер Вортерс — этокое земное солнце, источник силы и благополучия.

— Мой милый Форд! Не играйте в героя. Извинитесь.

К несчастью, я несколько повысил голос на последнем слове, и мисс Бомонт услышала меня со своей лужайки.

— Извиниться? — закричала она. — За что?

Будучи равнодушна к игре, она тут же поднялась к нам, волоча за собой крокетный молоток. Вид у нее был довольно вялый. Она наконец начала приобщаться к цивилизации.

— Уйдемте в дом,— прошептал я.— Уйдемте, пока не поздно.

— Вот еще! — сказал Форд. — Ни за что!

— Ну, что у вас тут такое? — спросила она, став на ступеньку подле Форда.

Он поднял голову и, глядя на мисс Бомонт, сглотнул. И вдруг я понял. Вот, значит, что это были за стихи. Теперь я уже не знал, надо ли ему извиняться. Чем скорее его выставят из дому, тем лучше.

Несмотря на мои возражения, он рассказал ей про тетрадку, и первая ее реплика была:

— Ой, покажите, покажите!

Ни малейшего понятия о приличиях. Потом она сказала:

— А отчего вы оба такие грустные?

— Мы ждем решения мистера Вортерса, — сказал я.

— Какие глупости, мистер Инскип! Неужели вы думаете, что Харкурт рассердится?

— Разумеется, он сердится, и совершенно справедливо.

— Да почему?

— Потому что мистер Форд насмеялся над ним.

— Ну так что? — я впервые услышал нотки раздражения в ее голосе.— Неужели вы думаете, что он станет наказывать Форда за какие-то насмешки? А для чего ж еще мы и живем на белом свете? Чтоб уж нельзя было и посмеяться? Вот еще! Да я целый день смеюсь над всеми. Над мистером Фордом, и над вами. И Харкурт тоже. Нет, вы его не знаете! Он не станет. Не станет он сердиться из-за шутки.

— Хорошенькая шутка, — сказал Форд. — Нет, он меня не простит.

— До чего же вы глупый! — она насмешливо фыркнула.— Не знаете вы Харкурта. Он очень добрый. Вот ежели вы станете извиняться, он обязательно рассердится, и я бы разозлилась. Ну скажите ему хоть вы, мистер Инскип!

— По-моему, мистер Вортерс имеет все основания рассчитывать, что мистер Форд извинится.

— Основания? Какие еще основания? Что у вас за слова-то такие — основания, извинения... общество... положение... Я этого не понимаю! Для чего ж тогда вообще жить на свете?

Речь ее была — точно дрожащие огоньки, загорающиеся во мраке. То она кокетничала, то вдруг задавала вопросы о смысле жизни. Однако экзамена по курсу этики я не сдавал и потому ответить ей не мог.

— Я знаю одно: Харкерт не такой дурак, как вы с Фордом. Он выше условностей. Ему плевать на все эти ваши основания и извинения. Он знает, что смех — самая лучшая вещь на свете, а потом уже деньги, и душа и всякое такое.

Душа и всякое такое! Удивляюсь, как это Харкурта, распорядившегося на лугу, не хватил удар.

— Да вы бы все с тоски померли,— продолжала она,— если бы только и делали, что обижались и извинялись. Воображаю, если бы все сорок миллионов англичан были такие обидчивые! Вот был бы смех! Воображаю! — и она действительно рассмеялась.— Да вы присмотритесь к Харкурту. Он вовсе не такой. У него есть чувство юмора. Вы слышите, мистер Форд? У него есть чувство юмора. Неужели вам это непонятно?

Форд снова опустил голову и уставился себе под ноги. Мисс Бомонт бесстрастно сообщила мне, что, кажется, он плачет. Потом крокетным молотком принялась поглаживать его по голове, приговаривая:

— Плакса-вакса, плакса-вакса. Да тут и плакать-то не о чем! — и со смехом сбегала по ступенькам.— Ладно! — крикнула она, обернувшись.— Велите плаксе утереть слезки. Я сама поговорю с Харкуртом.

Мы молча смотрели ей вслед. Не думаю, чтобы Форд плакал. Глаза у него были большие и недобрые. Он выругался всеми подходящими словами, какие знал, потом резко поднялся и ушел в дом. Вероятно, ему невыносимо было видеть ее разочарование. Не будучи склонным к подобным сантиментам, я с интересом наблюдал, как мисс Бомонт приближалась к своему властелину.

Уверенно ступая, она пересекла луг. Рабочие снимали перед ней шляпы, и она отвечала на их приветствия. Вялость ее как рукой сняло, а вместе с ней исчезли и все признаки цивилизованности. Она снова превратилась в ту простодушную, прямолинейную девчонку, ка-

кой Харкерт привез ее из Ирландии, — девочку в высшей степени привлекательную и нелепую и (меня поймут те, кто умеет жалеть других) в высшей степени трогательную.

Она подошла к нему, взяла его под руку. Я видел, как разрежала воздух его ладонь, разъяснявшая мисс Бомонт проблемы мостостроения. Дважды она прерывала его, ему пришлось повторить объяснения. Потом и ей, наконец, удалось вставить слово, и сцена, последовавшая за этим, была выразительнее любой театральной постановки. Две фигуры — женская и мужская — сходились и расходились на берегу реки, первая возбужденно жестикулировала, вторая была надменна и невозмутима. Мисс Бомонт умоляла, спорила и — если меня не обмануло расстояние — пыталась даже высмеять мистера Вортерса. В подтверждение какого-то из своих наивных аргументов она попятилась... и бултыхнулась в речку. Это стало развязкой комедии. Под галдеж столпившихся рабочих Харкерт спас ее. Вода замочила ей юбки до колен, башмаки у нее были все в грязи. В таком виде Харкерт повел ее к дому, и скоро я начал разбирать слова:

— Грипп... вы ноги промочили... забудьте о платье, здоровье превыше всего... умоляю вас, голубушка, не волнуйтесь... нервное потрясение... в постель, в постель... Немедленно в постель! Обещаете? Будьте панинкой. Поднимайтесь в дом — и прямо в постель.

Он остался на лужайке, а она послушно поднялась на террасу. Лицо ее выражало ужас и замешательство.

— Итак, вы искупались, мисс Бомонт!

— Искупалась?.. А, да. Вы знаете, мистер Инскип... Я даже не понимаю, как это получилось, но... у меня ничего не вышло.

Я изобразил удивление.

— Он говорит, что мистер Форд должен уехать... немедленно. У меня ничего не вышло.

— Очень жаль, мисс Бомонт.

— Ничегошеньки не вышло... Харкерт оскорблен. И говорит, что все это вовсе не смешно. Никогда он не позволяет мне делать, что я хочу. Сперва — латынь и греческий: я хотела узнать про богов и героев, а он мне не позволил. Потом я хотела, чтоб не строили забор и мост и чтоб не было асфальта — и вот видите, что получилось. А теперь я попросила не наказывать мистера

Форда, который ни в чем не виноват, а Харкерт навсегда выгоняет его из дома.

— Форд проявил неуважение, мисс Бомонт,— сказал я, ибо долг заставлял меня держать сторону мистера Вортерса.

— Нет такого слова — «неуважение»! — вскричала она.— Где вы его взяли? Ну что за выдумки, все эти ваши «обязанности», «положение», «права»? Все это от ваших великих мечтаний!

— Каких «великих мечтаний»? — спросил я, стараясь сдержать улыбку.

— Велите мистеру Форду... о боже, Харкерт идет сюда, я побегу в спальню. Кланяйтесь от меня мистеру Форду и велите ему... угадать. Мы с ним никогда больше не увидимся, и я этого не переживу. Велите ему угадать. Зря я его назвала плаксой. Он не плакса. Он плакал, как настоящий мужчина. И я теперь тоже стала взрослой.

Я счел себя обязанным пересказать этот разговор хозяину дома.

IV

Мост построен, ограда закончена, и Иное Царство привязано к нашему крыльцу ленточкой асфальта. Семьдесят восемь буков как будто и впрямь подошли гораздо ближе к дому, и, когда после отъезда Форда устанувилась ветреные дни, мы слышали, как ночами вздыхают в роще кроны деревьев, а утром находили буковые листья, прибитые ветром к самой террасе. Мисс Бомонт не выказывала желания идти гулять, отчего дамы чувствовали большое облегчение: Харкерт не велел им отпускать ее одну, а идти за ней в такую погоду значило испортить туалеты. Нет, она сидела в комнатах, не читала и не смеялась, и одевалась теперь не в зеленое, а в коричневое.

Однажды, зайдя в гостиную и не заметив ее присутствия, мистер Вортерс облегченно вздохнул и сказал:

— Ну слава богу. Круг замкнулся.

— Да, замкнулся,— отозвалась мисс Бомонт.

— А ты, оказывается, тут! Сидишь тихонько, как мышка? Я хотел сказать, что наши господа, представители британского трудящегося класса, соизволили нако-

нец завершить свой труд и отгородили нас от окружающего мира. А я... я под конец сделался ужасным тираном и деспотом и не послушался тебя. Мы не поставили калитки на том конце рощи. Ты меня простишь?

— Все, что по душе тебе, Харкурт, нравится и мне.

Дамы с улыбкой переглянулись, а мистер Вортерс сказал:

— Вот именно. И как только уляжется ветер, мы все вместе отправимся в твою рощу и отпразднуем ее покупку по-настоящему. Потому что прошлый раз не в счет.

— Конечно, прошлый раз не в счет,— повторила мисс Бомонт.

— Ивлин говорит, что ветер никогда не уляжется,— заметила миссис Вортерс.— Не знаю, откуда ей это известно.

— Пока я в доме, ветер не успокоится.

— В самом деле?— игриво сказал мистер Вортерс.— Ну так выйдем и успокоим его.

Они прошлись взад-вперед по террасе. Ветер затих ненадолго, но потом, к обеду, разыгрался еще пуще. Мы ели и слушали, как он рычит и свищет нам из каминной трубы. Кроны деревьев в Ином Царстве бурлили, точно море в шторм. Ветер срывал с них листья и сучки, а потом на асфальт слетела ветка, настоящая толстенная ветка, и, скользя через мост, пролетела луг и покати-лась по нашей лужайке. (Беру на себя смелость называть ее «нашей», поскольку я остался в доме в качестве секретаря Харкурта.) Если бы не каменные ступеньки, она влетела бы на террасу и, чего доброго, разбила бы окно в столовой. Мисс Бомонт вскочила со стула и, как была, с салфеткой в руке, выбежала на лужайку и подбежала к ветке.

— Ивлин! Ивлин! — закричали дамы.

— Пусть идет, — великодушно отозвался мистер Вортерс.— Происшествие и в самом деле исключительное. Надо обязательно рассказать о нем архидьякону.

— Харкурт! — воскликнула вновь раздурманенная мисс Бомонт.— А не могли бы мы с тобой после обеда пойти в рощу?

Мистер Вортерс немного подумал.

— Если ты не хочешь, можно, конечно, не ходить,— добавила она.

— А вы что скажете, Инскип?

Я понял, чего ему надо, и воскликнул:

— Да, пойдете! — хоть я и не питаю никакой любви к ветреной погоде.

— Прекрасно. Мама, Анна, Рут, миссис Озгуд, мы все отправляемся в рощу.

И мы отправились-таки. Процессия получилась унылая. Но на сей раз боги были благосклонны к нам: лишь только мы выступили, буря утихла и в природе наступило поразительное спокойствие. Так что слова мисс Бомонт относительно погоды в конце концов оказались пророческими. Настроение ее улучшалось с каждой минутой. Она шествовала по асфальтовой тропке впереди всех нас и время от времени оборачивалась и обращалась к влюбленному мистеру Вортерсу с каким-нибудь изящным или ласковым замечанием. По-моему, она была восхитительна. Меня всегда восхищают люди, умеющие верно сориентироваться.

— Подойди-ка сюда, Ивлин!

— Сам подойди!

— Поцелуй меня!

— Как же я тебя поцелую, когда ты так далеко?

Он кинулся к ней, но она ускользнула, а мы все мелодично рассмеялись.

— Ах, до чего ж я счастлива! — воскликнула она.— Ведь правда же, у меня есть все, что мне надо в этом мире. Ужас как мрачно было сидеть в доме. Но теперь, ах, до чего ж я счастлива!

Вместо коричневого платья на ней светилось прежнее волнисто-зеленое, и, стоя на асфальте посреди широкого луга, она принялась вертеть юбки, и солнце, пробившееся вдруг сквозь тучи, осветило ее. Она была поистине очаровательна, и мистер Вортерс не стал делать ей замечаний, радуясь, наверное, что прошла ее меланхолия, и мирясь с тем, что одновременно улетучилась ее цивилизованность. Танцуя, она почти не переступала ногами, но тело ее так грациозно колыхалось, и так волшебным образом развеялось платье, что мы были буквально в упоении. Она танцевала под пение пташки, со страстью заливавшейся в Ином Царстве, и река остановила свой бег, чтобы полюбоваться танцем (зачем же еще?), а очарованные ветры замерли в своих пещерах, в то время как очарованные тучи застыли в небе. Кружение танца подхватило ее и уносило прочь от нашей компании, от всего нашего общества, от нашей жизни,

назад, в прошлое, в глубину веков,— и вот уже пали кругом дома и изгороди, осталась только невозделанная земля под солнцем. Одежда мисс Бомонт обратилась в листву, руки обернулись ветвями, белая шейка превратилась в гладкую верхушку дерева, которая ответственно сияет в лучах восходящего солнца, а порой поблескивает от дождя. Вот набегает листва и скрывает от нас гладкий ствол — это шейка мисс Бомонт вдруг скрылась в каскаде волос. Потом листва расходится, мы снова видим блеск коры, и снова возникает из зелени мисс Бомонт, которая восклицает, глядя на нас:

— Ах, ах! — и снова: — Ах, Харкурт! Я никогда еще не была так счастлива! Я чувствую, что мне принадлежит весь мир!

А он, в тенетах любовного экстаза, позабывший о мадоннах Рафаэля, позабывший, я полагаю, и о своей душе, бросился к ней с распростертыми объятиями, восклицая:

— Ивлин! Ивлин! Извечное Благословение! Моя навеки! Моя! — но она ускользнула от него.

Возникла музыка, и мисс Бомонт запела:

— О Форд, один среди Вортерсов, мой брод чрез эти воды, веди меня к моему царству! О Форд, как я тебя любила, когда жила в обличье женщины! И пока есть у меня ветви, чтоб защищать тебя от солнца, я буду помнить о тебе,— распевая так, она перешла речку.

Не знаю, почему он с таким неистовством за ней погнался. Все это была игра, мисс Бомонт оставалась в его владениях, кругом стоял забор, убежать она не могла. Однако он стремглав бросился через мост, будто все их счастье было поставлено на карту, и яростно кинулся в погоню. Мисс Бомонт бежала неплохо, но исход, конечно, был предрешен. Мы только не знали, на лугу он ее поймает или уже в роще. Дюйм за дюймом он настигал ее. Вот они уже в тени деревьев. В сущности, он мог бы схватить ее... но промахнулся. Она исчезла между стволами, затем и он скрылся из виду.

— Харкурт развеселился,— говорили миссис Озгуд, Анна и Рут.

— Ивлин! — слышалось из рощи. Мы как ни в чем не бывало шли по асфальтовой дорожке.

— Ивлин! Ивлин!

— По-видимому, он ее все еще не поймал.

— Ивлин, где ты?

— Мисс Бомонт, должно быть, очень ловко спряталась.

— Слушайте! — заорал Харкурт, появляясь из рощи. — Вы не видели Ивлин?

— Нет, нет, она в лесу.

— Я так и думал.

— Ивлин, верно, прячется от него за каким-нибудь стволом. Вы идите с той стороны, а я с этой. От нас она не увильнет.

Мы — вначале весело — пустились на поиски; нас не оставляло ощущение, что мисс Бомонт совсем рядом, что ее тонкая фигурка скрывается за ближайшим стволом, а волосы и платье слились с листвой. Она где-то здесь; она над нами; вот ее ножка коснулась багрово-бурой земли; вот мелькнула ее грудь, шейка; она была повсюду и нигде. Веселье наше обернулось раздражением, а раздражение излилось в гнев и страх. Сомнений не было — мисс Бомонт исчезла.

— Ивлин, Ивлин! — снова и снова кричали мы. — Право же, это совсем не смешно!

Потом поднялся ветер, еще более злобный после затишья, и страшная буря вынудила нас уйти в дом. Мы говорили:

— Теперь-то она наверняка вернется.

Но она не вернулась. Зашипел дождь, повисший над пересохшими лугами, точно дым фимиама, и под натиском дождя листва разразилась рукоплесканиями. Потом блеснула молния. Дамы взвизгнули, и мы увидели, как Иное Царство ударило в ладоши, и услышали, как оно разразилось громовым хохотом. Даже архидьякон не припомнит такой грозы. У Харкурта погибли все саженьцы, с крыши послетала черепица. Весь напряженный, бледный, Харкурт подошел ко мне и сказал:

— Вам можно доверять, Инскип?

— Безусловно.

— Я давно подозревал их. Она сбежала с Фордом.

— Но каким образом? — поразился я.

— Лошади ждут; поговорим в коляске. — Затем, прекрывая шум дождя, он проорал: — Калитки-то там нет, я знаю, а вот как насчет лестницы? Пока я тыкался между деревьями, она перескочила через забор, а он...

— Но вы были так близко! Они бы не успели.

— Все можно успеть, — сказал он злобно. — Подлая бабенка все успеет, если захочет. Когда я ее нашел, она

была дикарка. Я ее выдрессировал, выучил. Ох, раздавлю я их. Раздавлю. Места мокрого не оставлю.

Форда ему не раздавить. Эта задача не под силу никому. Но я боялся за мисс Бомонт.

Поезд уже ушел. Нам сообщили, что он увез несколько молодых парочек, а, прибыв в Лондон, мы узнали еще о многих других парочках, замеченных на вокзале. Мир словно сговорился поиздеваться над одиночеством Харкурта. В отчаянье мы разыскали наконец унылое предместье, где проживает теперь Форд. Мы пронеслись мимо неряшливой служанки и перепуганной тетушки, взлетели наверх, рассчитывая захватить его с поличным. Он сидел за столом и читал «Эдипа в Колоне» Софокла.

— Меня не проведешь!—завопил Харкут.— Мне известно, что мисс Бомонт прячется у тебя.

— К сожалению, нет,— ответил Форд.

От бешенства Харкурт стал заикаться:

— Инскип! Вы слышите, слышите, что он говорит? «К сожалению»! Повторите все, что вам известно о нем! Я просто не в состоянии.

Я процитировал песню: «О Форд, один средь Вортерсов, мой брод чрез эти воды, веди меня к моему царству! О Форд, как я тебя любила, когда жила в обличье женщины! И пока есть у меня ветви, чтоб защищать тебя от солнца, я буду помнить о тебе».

— Вскоре после этого она исчезла,— сказал я.

— И еще... раньше... она передавала ему что-то в таком же духе. Вы свидетель, Инскип. Она ему велела что-то угадать.

— Я и угадал,— сказал Форд.

— Ага! Значит ты, в сущности...

— Вовсе нет, мистер Вортерс, вы меня не поняли. Я не «в сущности» угадал. Я действительно угадал. Я мог бы рассказать вам, если б захотел, но это не имеет смысла. Потому что она не «в сущности, сбежала» от вас. Она действительно спаслась, окончательно и навсегда, поскольку есть на свете ветви, чтоб защищать людей от солнца.

ДОРОГА ИЗ КОЛОНА

I

Мистер Лукас вряд ли смог бы сказать, почему ему сейчас так хотелось опередить всех остальных. Возможно, он достиг того возраста, когда начинают ценить независимость, поскольку скоро предстоит с ней расстаться. Он устал от внимания и предупредительности своих более молодых спутников, и ему нравилось, отделившись от них, трусить на муле одному и спешиваться без их помощи. Возможно также, он находил особо тонкое удовольствие в том, чтобы ждать по их вине обеда, а потом говорить, что это не имеет значения.

Он с детским нетерпением принялся колотить мула каблуками по бокам и, велев погонщику огреть животное палкой — толстой палкой с острым концом, — поскакал вниз по холму сквозь заросли цветущего кустарника, сменяющиеся полосами анемон и желтых нарциссов. Но вот он услышал журчание воды и увидел группу платанов, возле которых они намеревались перекусить.

Даже в Англии деревья эти обратили бы на себя внимание — так густо переплелись их ветви, так они были громадны, так великолепны в своем уборе из трепещущей листвы. А здесь, в Греции, они были и тем большей редкостью — единственный прохладный уголок во всей этой ослепительно сверкавшей, выжженной жарким апрельским солнцем долине. Под их сенью скрывалась крошечная сельская гостиница, «хан», — ветхая глинобитная постройка с широким деревянным балконом, где пряла старуха; рядом с ней коричневый поросенок поедал апельсиновую кожуру. Внизу, на сырой земле, сидели на корточках двое грязных детей и играли в какую-то первобытную игру; их мать, ненамного чище, стряпала что-то в доме. Типичная Греция, как сказала

бы миссис Формен; и брезгливый мистер Лукас возблагодарил судьбу за то, что они везут всю снедь с собой и будут есть на открытом воздухе.

Однако он рад был, что попал сюда, и рад, что здесь нет миссис Формен,— никто не будет высказывать за него его мнение... рад даже, что еще с полчаса не увидит Этель. Этель была его младшая, пока еще незамужняя дочь. Преданная и любящая, она, как полагали, решила посвятить свою жизнь отцу — быть ему на старости лет опорой и утешением. Миссис Формен называла ее не иначе как Антигоной, и мистер Лукас пытался приноровиться к роли Эдипа, раз уж, если верить общественному мнению, ничего другого ему не оставалось.

С Эдипом его роднило одно — он старел. Даже ему это было ясно. Он утратил интерес к делам других людей и почти не слушал того, что ему рассказывали. Сам он поговорить любил, но часто терял нить разговора, а когда ему вновь удавалось ее поймать, результат не стоил затраченных усилий. Его слова, его жесты становились все более однообразными, все более стереотипными; его анекдоты, вызывавшие некогда всеобщий смех, теперь проходили незамеченными; его молчание было так же лишено смысла, как и его речь. А ведь он прожил здоровую, деятельную жизнь, неустанно трудился, зарабатывал деньги, дал образование детям. Винить было некого, просто он старел.

Сейчас мистер Лукас был в Греции, осуществилась его давнишняя мечта. Сорок лет назад он заразился любовью к эллинизму, и с тех пор его не покидало чувство, что, если он когда-нибудь побывает в этой стране, его жизнь будет прожита не напрасно. Но в Афинах оказалось пыльно, в Дельфах — сыро, в Фермопилах — уныло, и он со скептической улыбкой слушал восторженные возгласы своих спутников. Что Греция, что Англия: человек старел, и для него было все едино — смотреть ли на Темзу или на Эврот. Поездка сюда была последней надеждой опровергнуть эту печальную закономерность, и надежда его не оправдалась.

И все же в чем-то Греция ему помогла, хотя он и не сознавал этого. Она пробудила в нем чувство неудовлетворенности, а в этом чувстве есть биение жизни. Не то чтобы его преследовали неудачи. Зло скрывалось в самом корне вещей. Ему предстояло помериться силами

с недюжинным врагом. Весь последний месяц им владело странное желание умереть, сражаясь.

«Греция — страна для молодых,— сказал он себе, стоя под платанами,— но я проникну в нее, я завладею ею. Листья снова станут зелеными, вода — вкусной, небо — голубым. Они были такими сорок лет назад, и я верну их себе. Быть старым мне не по душе, и я больше не намерен притворяться».

Он сделал два шага вперед, и вдруг у ног его за журчала холодная вода; она доходила ему до щиколоток.

«Интересно, откуда здесь вода?» — спросил он себя. Он вспомнил, что склоны холмов были сухи, а здесь, по дороге, несся поток.

Он остановился и, не переставая дивиться, воскликнул:

«Как, вода течет из дерева... из дупла? Я никогда не видел и не слышал ничего подобного!»

Огромный платан, склонившийся над «ханом», был внутри полым — его сердцевину выжгли на уголь,— а из живого еще ствола стремительно изливался родник, одевая кору папоротником и мхом; проворно перебежав дорогу, он орошал лежавшие за ней поля. Простодушные селяне воздали должное красоте и тайне по мере своих сил: в коре дерева была вырезана ниша — некое подобие алтаря,— а в ней повешена лампада и небольшое изображение святой девы, получившей в наследство совместную обитель наяды и дриады.

«В жизни не видал ничего более чудесного,— сказал мистер Лукас.— Можно даже зайти внутрь и посмотреть, откуда берется вода».

На секунду он заколебался, не решаясь осквернить святилище. Потом вспомнил с улыбкой собственную мысль: «...это место будет моим, я проникну в него, я завладею им...» — и решительно прыгнул на камень внутри дупла.

Вода бесшумно и неуклонно поднималась из полых корней и скрытых трещин в стволе платана, образуя удивительную янтарную чашу, и переливалась наружу через край дупла. Мистер Лукас попробовал ее — вода была вкусной, а когда он взглянул наверх, в черную трубу ствола, то увидел синее небо и несколько ярко-зеленых листков и вспомнил, на этот раз без улыбки, о своих заветных словах.

Здесь до него бывали другие — его сразу же охватило удивительное чувство слияния с людьми. К коре были прикреплены крошечные жестяные руки, ноги, глаза, смешные и наивные изображения мозга и сердца — благодарственные приношения верховному божеству за вновь обретенные силы, мудрость, любовь. Радости и горести людей проникли в самое сердце дерева — природа не знает уединения. Мистер Лукас раскинул руки, уперся в мягкую обуглившуюся древесину и приник всем телом к стенке дупла. Глаза его закрылись, его охватило странное чувство, — подобное чувство испытывает пловец, когда после долгого единоборства с волнами отдается на волю течения, зная, что оно вынесет его на берег, — он пребывал одновременно в движении и в покое.

Мистер Лукас замер на месте, ощущая лишь поток у себя под ногами, ощущая, что и все вокруг — лишь поток, увлекающий за собою и его.

Вдруг он пробудился, словно от толчка... возможно, от толчка о берег, куда его вынесло наконец. Ибо, открыв глаза, он увидел, что за эти мгновения все кругом непостижимо преобразилось и стало внятно и мило его сердцу.

Был особый смысл в том, как старуха склоняется над своей пряжей, и в возне поросенка, и в том, как уменьшается под ее руками шерстяная кудель. На дороге, залитой водой, появился поющий юноша верхом на муле, и в его позе была красота, а в его приветствии — искренность. И узор, отбрасываемый листвой на распростертые корни деревьев, был не случаен, и то, как кивали головками нарциссы и пела вода, было исполнено значения. Для мистера Лукаса, открывшего за короткий миг не только Грецию, но и Англию, и весь мир, и всю жизнь, не было ничего смешного в желании повесить внутри дерева и свое благодарственное приношение — крошечную модель человека.

— Ах, да тут папа! Играет в Мерлина.

Они все были здесь, а он и не заметил, когда они появились — Этель, миссис Формен, мистер Грэм и говорящий по-английски погонщик мулов. Мистер Лукас с подозрением посматривал на них из дупла. Они внезапно стали ему чужими, и все, что они делали, казалось ему неестественным и грубым.

— Разрешите предложить вам руку,— сказал мистер Грэм; этот молодой человек всегда был вежлив со старшими.

Мистер Лукас почувствовал раздражение.

— Благодарю, я прекрасно могу обойтись без посторонней помощи,— сказал он. Но тут же, выходя из дупла, поскользнулся и попал ногой в ручей.

— Ах, папочка, папочка,— сказала Этель,— ну что ты наделал?! Слава богу, у меня есть во что тебя переобуть.

Она принялась хлопотать вокруг него: вынула из вьюков чистые носки и сухие ботинки, затем усадила его на ковер возле корзины с провизией и отправилась с остальными осматривать рощу.

Вернулись они в полном восторге. Мистер Лукас принялся было им вторить, но ему все труднее было их выносить. Восторг их казался ему пошлым, поверхностным и каким-то судорожным. Они не ощущали внутренней красоты, разлитой вокруг. Он попытался как-то объяснить свои чувства и вот что сказал:

— Я вполне удовлетворен видом этого места. Оно производит весьма благоприятное впечатление. Прекрасные деревья, особенно для Греции, а этот родник очень поэтичен. Люди здесь тоже кажутся доброжелательными и вежливыми. Решительно, это очень привлекательное место.

Миссис Формен упрекнула его в чрезмерной сдержанности.

— О, таких мест одно на тысячу! — вскричала она.— Я хотела бы жить и умереть здесь! Право же, я бы задержалась здесь, если бы мне не надо было возвращаться в Афины! Это место напоминает мне Колон у Софокла.

— Нет, я просто не могу отсюда уехать,— сказала Этель.— Положительно, я должна здесь задержаться.

— Конечно, так и сделайте. Вы и ваш отец! Антигона и Эдип. Конечно, вы должны задержаться в Колоне.

У мистера Лукаса от волнения перехватило дух. Когда он стоял внутри дерева, ему казалось, что он сохранит обретенную им благодать, куда бы ни направил свой путь. Но этот минутный разговор вывел его из заблуждения. Он больше не полагался на себя, он боялся продолжать свои странствия, ибо, кто знает, может быть, прежние мысли, прежняя скука снова завладеют

им, как только он покинет тень платанов и музыку девственного ручья. Спать под одним кровом с благожелательными сельскими жителями, смотреть в их добрые глаза, наблюдать, как под темным куполом неба бесшумно скользят летучие мыши, и видеть, как с появлением луны становятся серебряными золотые узоры на земле... Одна такая ночь, и ему больше не грозит возвращение к старому, он навсегда останется во вновь завоеванном им царстве. Но губы его с трудом проговорили:

— Я охотно проведу здесь ночь.

— Ты хочешь сказать «неделю», папочка? Было бы кощунством провести здесь меньше.

— Хорошо, пусть это будет неделя,— недовольно произнесли вслед за ней его губы, а сердце от радости так и прыгало в груди. За едой он больше ни к кому не обращался — он рассматривал место, которое вскоре будет знать так хорошо, и людей, которые станут его соседями и друзьями. В «хане» постоянно жили всего несколько человек — его владельцы: старуха, пожилая женщина, юноша и двое детей; он не заговаривал ни с одним из них, но уже их любил, как любил все, что двигалось, дышало, просто существовало под благословенной сенью платанов.

— *En route*¹, — прозвучал резкий голос миссис Формен.— Этель! Мистер Грэм! Всему — даже самому лучшему — приходит конец.

«Сегодня вечером,— думал мистер Лукас,— зажгут лампаду в алтаре. И когда все мы усядемся на балконе, мне, возможно, расскажут, какие они повесили приношения».

— Извините, мистер Лукас,— сказал Грэм,— нужно скатать ковер, на котором вы сидите.

Мистер Лукас поднялся с места, говоря себе: «Этель пойдет спать первая, и я попробую рассказать о своем приношении, ведь мне необходимо его сделать. Я думаю, они меня поймут, если мы останемся наедине».

Этель коснулась его щеки.

— Папа! Я звала тебя трижды. Мулы уже готовы.

— Мулы? Какие мулы?

— Наши мулы. Мы все тебя ждем. Ах, мистер Грэм, помогите, пожалуйста, моему отцу сесть в седло.

¹ В путь (франц.).

— Я не понимаю, Этель. О чем ты?

— Папочка, милый, нам пора трогаться. Ты же знаешь, мы должны попасть в Олимпию до наступления ночи.

Мистер Лукас ответил высокопарным, не допускающим возражений тоном:

— Право, Этель, я всегда желал, чтобы ты была более последовательна в своих словах и поступках. Тебе прекрасно известно, что мы остаемся здесь на неделю. Ты же сама это предложила.

От удивления Этель позабыла о вежливости.

— Что за нелепая идея! Даже ребенку понятно, что я пошутила. Конечно же, я имела в виду, что задержалась бы, если бы могла.

— Ах, если бы мы могли делать то, что хотим! — вздохнула миссис Формен, уже сидевшая на муле.

— Неужели ты хоть на секунду подумал, — продолжала Этель более спокойно, — что я действительно намереваюсь здесь остановиться?

— Именно так я и думал. И, основываясь на этом, я построил все свои дальнейшие планы. Для меня крайне неудобно, по правде говоря, даже невозможно сейчас уехать отсюда.

Он произнес эту тираду с глубокой убежденностью в голосе, и миссис Формен с мистером Грэмом вынуждены были отвернуться, чтобы скрыть улыбки.

— Прости, пожалуйста, это было очень легкомысленно с моей стороны. Но ты же знаешь, что мы не можем отстать от своих спутников, и, если мы задержимся хотя бы на ночь, мы пропустим пароход в Патрах.

Миссис Формен заметила в сторону, точнее, мистеру Грэму, что Этель великолепно управляется с отцом.

— При чем тут пароход в Патрах? Ты сказала, что мы остановимся здесь, и мы здесь остановимся.

Казалось, обитатели «хана» каким-то таинственным образом угадали, что спор касается их. Старуха перестала пряхсть, а юноша и дети стали позади мистера Лукаса, словно желая его поддержать.

Мистера Лукаса не трогали ни доводы, ни уговоры. Он больше не спорил, но решение его было неколебимо. Впервые он ясно увидел, как ему следует жить. Зачем ему возвращаться в Англию? Кому он там нужен? Друзья его умерли или охладели к нему. Этель, пожа-

луй, его любит, но — и это вполне понятно — у нее достаточно других интересов. С остальными своими детьми он встречался редко. Единственную родственницу, сестру Джулию, он боится и ненавидит. Нет, сопротивление не требовало от него никаких усилий. Он будет глупцом и трусом, если покинет место, которое даровало ему счастье и душевный покой.

Наконец Этель, желая его успокоить, а заодно щегольнуть своим знанием греческого, пошла вместе с изумленным погонщиком в «хан», чтобы посмотреть комнаты. Пожилая женщина встретила их громкими приветствиями, а юноша, увидев подходящий момент, повел мула мистера Лукаса на конюшню.

— Отпусти его, разбойник! — закричал мистер Грэм; он всегда утверждал, что иностранцы понимают английский язык, когда хотят. И на этот раз он оказался прав — юноша послушался его. Так они и стояли все вместе, ожидая возвращения Этель.

Наконец она появилась, подобрав юбки; за ней шел погонщик, таща купленного по дешевке поросенка.

— Папочка, дорогой, я готова ради тебя на все... но остановиться в этом доме... нет!

— Там... блохи? — спросила миссис Формен.

Этель дала понять, что «блохи» — не то слово.

— Что ж, боюсь, это решает вопрос, — сказала миссис Формен. — Я знаю, как взыскателен по этой части мистер Лукас.

— Нет, это не решает вопроса, — сказал мистер Лукас. — Ты уезжай, Этель. Ты мне не нужна. Не понимаю, почему я вообще с тобой советовался. Я остаюсь здесь один.

— Не говори глупостей! — воскликнула Этель, теряя терпение. — Как тебя, в твоем возрасте, можно оставить одного? Кто тебе приготовит еду... ванну? В Патрах тебя ждут письма. Ты пропустишь пароход. А это значит, что ты опоздаешь к началу оперного сезона и не сможешь быть на приемах, куда нас пригласили. Ну подумай, разве ты в состоянии путешествовать один?!

— Они могут вас зарезать, — внес свою лепту мистер Грэм.

Греки молчали, но всякий раз, как мистер Лукас взглядывал на них, они жестами манили его в «хан». Дети даже осмелились потянуть его за полы пальто, а

старуха на балконе совсем бросила прясть и умоляюще смотрела на него своими загадочными глазами.

По мере того как он сражался, исход спора обретал для него все большее значение: теперь мистеру Лукасу казалось, что он хочет остаться не просто потому, что здесь к нему вернулась юность и он почувствовал красоту и нашел счастье, но потому, что именно здесь, вместе с этими людьми, его ожидает величайшее событие, которое преобразит лицо земли. Это была решающая минута в его жизни; и мистер Лукас отказался от доводов и каких бы то ни было слов — все слова были бы тщетны; он возложил надежды на мощь своих тайных союзников: безмолвных людей, журчащей воды и шелестящих деревьев. Ибо все вокруг, слив воедино свои голоса, взывало к нему, и эта речь была ему понятна, а болтовня его противников с каждой минутой казалась все более нелепой и пустой. Скоро они устанут спорить и уйдут прочь под палящим солнцем, предоставив его тишине, прохладной роще, лунному свету и уготованной ему судьбе.

Действительно, миссис Формен и погонщик мулов уже пустились в путь под аккомпанемент пронзительного поросячьего визга, и сражение тянулось бы без конца, если бы Этель не призвала на помощь мистера Грэма.

— Не могли бы вы что-нибудь сделать? — прошептала она. — Мне с ним не сладить.

— Спорить я не мастер... Но если я могу помочь вам как-нибудь иначе... — и он самодовольно оглядел свою атлетическую фигуру.

Этель заколебалась. Затем сказала:

— Помогите как можете. В конце концов, это ради его же блага.

— Тогда подведите к нему сзади мула.

И вот, когда мистер Лукас уже решил, что одержал победу, он внезапно почувствовал, как его приподнимают с земли и сажают боком в седло. Мул тут же рысцой сорвался с места. Мистер Лукас ничего не сказал, ибо ему нечего было сказать, и даже когда они выехали из-под тени платанов и журчание ручья умолкло, на лице его не отразилось почти никаких чувств. Мистер Грэм бежал рядом, держа шляпу в руке; он приносил свои извинения:

— Я знаю, я вмешался не в свое дело, от всего сердца прошу прощения. Но я надеюсь, право же, надеюсь, что когда-нибудь вы сами увидите, что я... а, черт!

Камень угодил ему прямо между лопаток. Он был брошен мальчишкой, гнавшимся за ними по дороге. Позади бежала его маленькая сестра, она тоже кидала камни.

Этель громко позвала погонщика мулов, который вместе с миссис Формен был где-то впереди, но, прежде чем он успел прийти на выручку, появился новый противник. Это был молодой грек. Он кинулся к ним наперерез и попытался схватить за уздечку мула мистера Лукаса. К счастью, Грэм был опытный боксер: не прошло и минуты, как юноша, не в силах ему противостоять, уже лежал распостертый, с разбитым в кровь ртом, среди нарциссов. К тому времени как появился погонщик, дети, напуганные участью старшего брата, прекратили атаку, и спасательная экспедиция, если можно ее так назвать, отступила в беспорядке под платаны.

— Бесенята! — сказал мистер Грэм, торжествующе смеясь. — Вот вам современные греки в полной красе. Ваш отец для них — деньги, они считают, что мы вынули эти деньги у них из кармана, раз не дали ему остановиться в «хане».

— О, они ужасны... настоящие дикари! Не знаю, как вас благодарить. Вы спасли моего отца!

— Надеюсь, вы не сочли меня грубым.

— О нет, — чуть слышно вздохнув, сказала Этель. — Я восхищаюсь силой.

Тем временем кавалькада перестроилась, и мистера Лукаса, удивительно стойко, как заметила миссис Формен, переносившего свое разочарование, усадили на муле поудобней. Они поспешили вверх по склону соседнего холма, опасаясь еще одного нападения, и только когда поле боя осталось далеко позади, Этель, выбрав минуту, обратилась к отцу и попросила прощения за то, как она с ним обошлась.

— Ты был сам на себя непохож, дорогой папочка, ты меня просто напугал. Но теперь, слава богу, ты снова стал самим собой.

Он не ответил, и она решила, что он — вполне естественно — на нее обижен.

Благодаря прихотливости горного ландшафта роцца, покинутая ими час назад, внезапно вновь возникла перед ними далеко внизу. «Хан» был скрыт зеленым куполом, но рядом, под открытым небом, все еще виднелись три крошечные фигурки, и в чистом воздухе чуть слышались далекие крики — то ли угрозы, то ли прощание.

Мистер Лукас придержал мула, поводья выпали у него из рук.

— Поехали же, папочка, милый,— ласково сказала Этель.

Он повиновался, и через минуту вершина холма навсегда скрыла роковое место.

II

Было утро, время завтрака, но из-за тумана горел газ. Мистер Лукас рассказывал о том, как он плохо провел ночь. Этель — которой предстояло через несколько недель выйти замуж — слушала, положив руки на стол.

— Сперва звонил входной звонок, потом ты вернулась из театра. Потом лаяла собака, потом мяукал кот. А в три часа утра какой-то хулиган прошел мимо дома, распевая во все горло. И еще в трубе у меня над головой булькала вода.

— Наверно, просто выпускали воду из ванной,— устало сказала Этель.

— Терпеть не могу, когда булькает вода. В этом доме невозможно спать. Я съеду отсюда, как только кончится квартал. Скажу хозяину без обиняков: «Я отказываюсь от этой квартиры по следующей причине: в ней невозможно спать». А если он скажет... скажет... что он скажет?

— Еще тост, папа?

— Спасибо, милочка.

Он принялся есть тост. Ненадолго наступили покой и тишина.

Но вскоре он снова заговорил:

— Я не намерен больше терпеть вечные упражнения на фортепьяно у соседей, пусть не думают, что я с этим примирюсь. Я им уже написал... не так ли?

— Да, конечно,— сказала Этель, позаботившаяся, чтобы письмо не дошло.— Я разговаривала с гувернант-

кой, она обещала, что уладит это. Тетя Джулия тоже терпеть не может шума. Я уверена, все будет в порядке.

Тетя Джулия, единственная незамужняя родственница, должна была после свадьбы Этель приехать и вести хозяйство в доме. Упомянуть о ней не стоило: мистер Лукас начал громко вздыхать. Но тут прибыла почта.

— Ой, посылка! — вскричала Этель. — Мне?! Что бы это могло быть?! Из Греции! Как интересно!

В посылке оказались луковицы нарциссов, которые миссис Формен прислала из Афин для их оранжереи.

— Правда, папа, в памяти сразу всплывает вся наша поездка? Ты помнишь желтые нарциссы? И завернуто все в греческие газеты! Интересно, смогу я что-нибудь понять? Раньше я неплохо читала.

Она продолжала болтать, надеясь заглушить смех детей в соседней квартире — обычный для ее отца повод ворчать во время завтрака.

— Послушай-ка! «Бедственный случай в сельской местности». Видно, я напала на какую-то печальную историю. Ну да неважно. «В прошлую среду в Платанисте (провинция Мессиния) произошла страшная трагедия. Ветром повалило огромное дерево...» А что, я неплохо читаю?.. Подожди минутку... О боже!.. «Оно задавило насмерть пятерых обитателей небольшого «хана», которые, по-видимому, находились на балконе. Тела Марии Ромаидес, престарелой хозяйки «хана», и ее дочери, со-рока восьми лет, удалось опознать, но тело ее внука...» — ой, остальное просто ужасно, зачем я только начала! К тому же мне кажется, я уже где-то слышала это название, Платаниста. Не там ли весной мы делали привал?

— Мы там обедали, — сказал мистер Лукас, и в его отсутствующем взгляде мелькнула тень тревоги. — Кажется, это то самое место, где погонщик купил поросенка.

— Конечно же, — возбужденно сказала Этель, — где погонщик купил поросенка. Какой ужас!

— Ужас! — повторил вслед за ней отец; крики соседских детей отвлекали его внимание.

Вдруг Этель с неподдельным волнением вскочила на ноги.

— Господи, боже мой! — воскликнула она. — Это ведь старая газета. Несчастье случилось еще в апреле...

в ночь на среду, восемнадцатого числа... а мы... мы, вероятно, были там во вторник днем.

— Именно так,— сказал мистер Лукас.

Этель прижала руку к сердцу. Она едва могла говорить.

— Отец, дорогой, нет, я должна тебе это сказать: ты хотел остановиться там на ночь. Все эти люди, эти бедные полудикари, пытались тебя удержать. И вот они мертвы. Там все разрушено, даже ручей изменил свое русло. Отец, дорогой, если бы не я, если бы Артур не помог мне тогда, ты бы, конечно, тоже погиб.

Мистер Лукас раздраженно махнул рукой.

— Какой толк разговаривать с гувернанткой. Я прямо напишу хозяину дома и скажу: «Я отказываюсь от этой квартиры по следующей причине: собака лает, соседские дети невыносимы, и я терпеть не могу, когда булькает вода».

Этель не прерывала его брюзжания. Она буквально онемела при мысли о том, что он был на волосок от смерти. Наконец она произнесла:

— Такое чудесное избавление невольно заставляет поверить в божий промысл.

Мистер Лукас ничего не ответил — он все еще обдумывал письмо к хозяину дома.

ПО ТУ СТОРОНУ ИЗГОРОДИ

По шагомеру мне было двадцать пять, и, хотя позорно среди дороги прекращать состязание по ходьбе, я так устал, что присел отдохнуть на придорожный камень. Все обгоняли меня, осыпая насмешками, но меня охватила такая апатия, что я не чувствовал никакой обиды, и, даже когда мисс Элиза Димблби, великий педагог, промчалась мимо, призывая меня не сдаваться, я лишь улыбнулся и приподнял шляпу.

Сначала мне казалось, что я уподобляюсь своему брату, которого я вынужден был оставить на краю дороги год или два тому назад. Он растратил все свое дыхание на пение и всю свою силу на помощь другим. Но я был более благоразумен в пути, и сейчас меня угнетало лишь однообразие дороги — пыль под ногами и бурые, высохшие живые изгороди по обеим сторонам, без конца и края.

И я уже избавился от кое-каких вещей — позади нас вся дорога была усеяна брошенными вещами, и под белой пылью они уже мало чем отличались от камней. Мои мускулы так ослабли, что я не мог выдержать даже бремени немногих оставшихся у меня предметов. Я медленно сполз с камня и лежал распростертый на дороге, с лицом, обращенным к нескончаемой иссушенной солнцем изгороди, моля бога, чтобы он помог мне выйти из борьбы.

Легкое дуновение ветерка оживило меня. Казалось, оно исходило от изгороди, и, когда я открыл глаза, сквозь сплетение веток и сухих листьев пробивался яркий свет. Как видно, изгородь была здесь менее густой. Слабый и измученный, я почувствовал непреодолимое желание пробиться сквозь изгородь и увидеть, что было по ту сторону. Кругом не было видно ни души, иначе я

не решился бы на эту попытку. Ведь мы, шагающие по дороге, беседуя друг с другом, вообще не допускаем существования другой стороны.

Я поддался искушению, стараясь уверить себя, что через минуту вернусь обратно. Шипы царапали мне лицо, и мне пришлось прикрываться руками, как щитом, — чтобы продвигаться вперед, я должен был полагаться только на свои ноги. На полпути я уже готов был вернуться назад, так как, когда я продирался сквозь изгородь, ветки кустарников содрали с меня все вещи, которые я нес с собой, и изорвали мою одежду. Но я так глубоко вклинился в чащу, что возврат был невозможен, и мне приходилось вслепую, извиваясь, пробираться вперед, ожидая каждую минуту, что силы оставят меня и я погибну в густых зарослях.

Внезапно холодная вода сомкнулась над моей головой, и я почувствовал, что тону. Оказалось, что, выбравшись из изгороди, я упал в глубокий пруд. Наконец я выплыл на поверхность, стал звать на помощь и услышал, как кто-то на противоположном берегу засмеялся и сказал: «Еще один!» Затем меня вытащили из воды, и я очутился на берегу. Я лежал неподвижно и тяжело дышал.

И хотя вода уже не застилала мне глаза, я все еще был ослеплен, ибо никогда не был я среди такого простора, никогда еще не видел я такой травы и такого солнца. Голубое небо уже не было узкой полоской, и под ним возвышались великолепные холмы — гладкие, голые опоры, с буками на склонах, с лугами и прозрачными прудами у подножия. Но холмы были невысокие и во всем пейзаже чувствовались следы человеческой деятельности, и место это, пожалуй, можно было бы назвать парком или садом, если бы слова эти не вызывали представления о некоторой банальности и чопорности.

Как только я отдышался, я повернулся к своему спасителю и сказал:

— Куда ведет этот путь?

— Слава богу, никуда! — сказал он и засмеялся. Это был человек лет пятидесяти-шестидесяти — как раз тот возраст, которому мы не доверяем, когда идем по дороге; но в поведении его не было никакой тревоги и голос у него был как у восемнадцатилетнего юноши.

— Но должен же он вести куда-нибудь! — воскликнул я, слишком пораженный его ответом, чтобы поблагодарить его за спасение.

— Он хочет знать, куда ведет этот путь! — крикнул он каким-то людям, стоявшим на склоне холма, и те засмеялись в ответ и помахали шапками.

Вскоре я заметил, что пруд, в который я упал, на самом деле представлял собой ров, заворачивающий влево и вправо, и что изгородь все время следовала его изгибам. По эту сторону изгородь зеленела, корни кустов виднелись сквозь прозрачную воду, и среди них плавали рыбы, и вся изгородь была обвита шиповником и ломоносом.

Но это был предел, и мгновенно померкла радость, которую я испытал при виде травы, неба, деревьев, счастливых мужчин и женщин, и я понял, что место это, несмотря на его красоту и простор, было всего лишь тюрьмой.

Мы отошли от границы и зашагали по тропинке, извирающейся среди лугов почти параллельно ей. Мне было трудно идти, так как я все время старался обогнать моего спутника, хотя это не имело никакого смысла, если тропинка никуда не вела. Я ни с кем не шел в ногу с тех пор, как покинул брата.

Спутника моего забавляло, когда я внезапно останавливался и в отчаянии восклицал:

— Это просто ужасно! Совершенно невозможно идти. Невозможно продвигаться вперед. Мы, шагающие по дороге...

— Да. Я знаю.

— Я хотел сказать, что мы постоянно идем вперед.

— Я знаю.

— Мы все время учимся, расширяем свой кругозор, развиваемся. Даже за свою короткую жизнь я был свидетелем огромного прогресса — Трансваальская война, финансовая проблема, «Христианская наука», радий. Вот это, например...

Я вынул шагомер, но он все еще показывал двадцать пять, ни на одно деление больше.

— О, да он остановился! Я хотел показать вам. Он должен был бы зарегистрировать все то время, которое я с вами прошел. Но он показывает только двадцать пять.

— Здесь многие вещи отказываются работать,— сказал он.— Как-то один человек доставил сюда винтовку системы Ли и Метфорда, и она тоже отказалась действовать.

— Физические законы действуют повсюду. Вероятно, это вода повредила механизм. В нормальных условиях все функционирует. Наука и дух соревнования — вот силы, которые сделали из нас то, чем мы сейчас стали.

Мне пришлось прервать свою речь, чтобы ответить на любезные приветствия людей, мимо которых мы проходили. Некоторые из них пели, некоторые беседовали, кое-кто работал в садах, другие косили сено или занимались еще каким-нибудь нехитрым делом. Все казалось счастливыми, и я тоже чувствовал бы себя счастливым, если бы мог забыть, что путь этот никуда не ведет.

Я невольно вздрогнул при виде юноши, который быстро перебежал нашу тропинку, изящным прыжком перепрыгнул через невысокую изгородь и продолжал свой стремительный бег по вспаханному полю; добежав до небольшого озера, он прыгнул в воду и поплыл к другому берегу. Все его движения были насыщены такой энергией, что я воскликнул:

— Так ведь это же кросс! А где другие?

— Других нет,— ответил мой спутник; позднее, когда мы шли по высокой траве, из которой слышался прелестный голос девушки, поющей для собственного удовольствия, он повторил: — Других нет.

Я был поражен этой излишней тратой энергии и пробормотал вполголоса:

— Что все это значит?

Он сказал:

— Ничего. Все это просто существует,— и он повторил эти слова медленно, словно я был ребенком.

— Понимаю,— сказал я спокойно,— но я не согласен с этим. Любое достижение бесполезно, если оно не является звеном в цепи развития. И мне не следует больше злоупотреблять вашей любезностью. Мне необходимо каким-то образом вернуться на дорогу и починить мой шагомер.

— Сначала вы должны увидеть ворота,— ответил он,— ибо у нас есть ворота, хотя мы никогда ими не пользуемся.

Я любезно согласился, и скоро мы опять вернулись ко рву, к тому месту, где через него был перекинут мост. Над мостом возвышались большие ворота, белые, как слоновая кость, сооруженные в бреши живой изгороди. Ворота открылись наружу, и у меня невольно вырвался возглас удивления, так как от ворот уходила вдаль дорога, совершенно такая же дорога, какую я покинул — пыльная, с бурой, высохшей живой изгородью по обеим сторонам, насколько хватал глаз.

— Вот моя дорога! — воскликнул я.

Он закрыл ворота и сказал:

— Но это не ваш участок дороги. Через эти ворота человечество вышло много, много лет тому назад, когда его впервые охватило желание отправиться в путь.

Я возразил, заметив, что участок дороги, оставленный мною, находится не дальше двух миль отсюда. Но с упорством, присущим его возрасту, он ответил:

— Это та же самая дорога. Здесь она начинается, и, хотя кажется, что она уходит прямо от нас, она так часто делает повороты, что никогда не отходит далеко от нашей границы, а иногда и соприкасается с ней.

Он нагнулся и начертал на влажном берегу рва нелепую фигуру, напоминающую лабиринт. Когда мы шли обратно среди лугов, я пытался убедить его в том, что он заблуждается.

— Дорога иногда делает повороты, это правда, но это составляет часть нашей тренировки. Кто может сомневаться в том, что она все же стремится вперед. К какой цели, мы не знаем — быть может, на вершину горы, где мы коснемся неба, — быть может, она ведет над пропастями в морскую пучину. Но кто может сомневаться в том, что она ведет вперед? Именно эта мысль и заставляет каждого из нас стремиться к достижению совершенства в своей области и дает нам стимул, которого недостает вам. Правда, тот юноша, что пробежал мимо нас, бежал отлично, делал прыжки и плыл, но у нас есть люди, которые и бегают лучше, и прыгают лучше, и плавают лучше. Специализация привела к результатам, которые поразили бы вас. Вот и эта девушка...

Тут я прервал свою речь и воскликнул:

— Боже мой! Готов поклясться, что это мисс Элиза Димблби сидит там, опустив ноги в ручей!

Он согласился со мной.

— Невозможно! Я оставил ее на дороге, и сегодня вечером она должна читать лекцию в Танбридж Уэллсе. Ведь ее поезд отходит от Кэннон-стрит через... Ну конечно же, мои часы остановились, как и все остальное. Уж ее-то я меньше всего ожидал увидеть здесь.

— Мы всегда удивляемся при встрече друг с другом. Через изгородь пробираются всевозможные люди; они приходят в любое время — когда лидируют в состязании, когда отстают, когда выходят из игры. Часто я стою у пограничной изгороди, прислушиваясь к звукам, доносящимся с дороги — вам они хорошо знакомы, — и жду, не свернет ли кто-нибудь в сторону. Для меня великое счастье помочь кому-нибудь выбраться из рва, как я помог вам. Ибо наша страна заселяется медленно, хотя она была предназначена для всего человечества.

— У человечества другие цели, — сказал я мягко, так как думал, что у него добрые намерения, — и я должен присоединиться к нему.

Я пожелал ему доброго вечера, ибо солнце клонилось к закату, а я хотел вернуться на дорогу с наступлением ночи. Мной овладела тревога, когда он схватил меня и крикнул:

— Вам еще рано уходить!

Я попытался освободиться — ведь у нас не было никаких общих интересов, а его любезность начинала раздражать меня. Но, несмотря на все мои усилия, докучливый старик не отпускал меня; а так как борьба не является моей специальностью, мне пришлось следовать за ним.

Правда, один я никогда не нашел бы то место, откуда я проник сюда, и я надеялся, что после того, как посмотрю другие достопримечательности, о которых он так беспокоился, он приведет меня обратно. Но я твердо решил не оставаться ночевать в этой стране, ибо я не доверял ей, так же как и населяющим ее людям, несмотря на все их дружелюбие. И как я ни был голоден, я не присоединился бы к вечерней трапезе, состоящей из молока и фруктов, и когда они дарили мне цветы, я выбрасывал их, как только мне удавалось сделать это незаметно. Они уже укладывались спать на ночь подобно животным — кто под открытым небом на склоне голых холмов, кто группами под буками. При свете оранжевого заката я спешил все вперед за своим непроше-

ным проводником, смертельно усталый, ослабевший от голода, упорно повторяя еле слышным голосом:

— Дайте мне жизнь, с ее борьбой и победами, с ее неудачами и ненавистью, с ее глубоким моральным смыслом и с ее неведомой целью!

Наконец мы пришли к тому месту, где через окружной ров был перекинут еще один мост и где другие ворота прерывали линию пограничной изгороди. Они были непохожи на первые ворота, так как были полупрозрачны, подобно рогу, и открывались внутрь. Но через них я вновь увидел в сумеречном свете совершенно такую же дорогу, которую оставил,— однообразную, пыльную, с порыжелой высохшей живой изгородью по обеим сторонам, насколько хватал глаз.

Меня охватило странное беспокойство при виде картины, которая, казалось, совершенно лишила меня самообладания. Мимо нас проходил человек, возвращавшийся на ночь на холмы, с косою на плече — в руке он нес бидон с какой-то жидкостью. Я забыл о судьбе рода человеческого, забыл о дороге, расстилавшейся перед моими глазами, я прыгнул к нему, вырвал бидон у него из рук и начал пить.

Напиток этот был не крепче обычного пива, но я был так изможден, что он свалил меня с ног в одно мгновение. Словно во сне, я видел, как старик закрыл ворота, и слышал, как он сказал:

— Здесь ваш путь кончается, и через эти ворота человечество — все, что осталось от него,— придет к нам.

Хотя мои чувства погружались в забвение, казалось, что перед этим они еще больше обострились. Они воспринимали волшебное пение соловьев, и запах невидимого сена, и звезды, прокалывавшие темнеющее небо. Человек, у которого я отнял пиво, бережно уложил меня, чтобы сон избавил меня от воздействия этого напитка, и тут я увидел, что это был мой брат.

КООРДИНАЦИЯ

— Не колотите так, — сказала мисс Хэддон. — Каждый пассаж должен быть как нить жемчужин. А у вас так не получается. Почему?

— Элен, поросенок, ты забрала мою ноту!

— Вовсе нет, это ты забрала мою!

— Так чья же это нота?

Мисс Хэддон взглянула между их косичками.

— Это нота Милдред, — определила она. — Давайте снова с двойного такта. И не колотите.

Девочки начали снова, и опять мизинец правой руки Милдред сцепился с левым мизинцем Элен из-за среднего си.

— Нет, это не сыграть! — заявили они. — Это он сам виноват — тот, кто написал.

— Все очень легко можно было бы сыграть, если бы ты не застревала на одной ноте, Элен, — сказала мисс Хэддон.

Пробило четыре. Милдред и Элен ушли, пришли Роз и Инид. Они играли дуэт хуже, чем Милдред, но не так плохо, как Элен. В четыре пятнадцать появились Маргарет и Джейн. Они играли хуже, чем Роз и Инид, но не так плохо, как Элен. В четыре тридцать пришли Долорес и Вайолет. Они играли хуже, чем Элен. В четыре сорок пять мисс Хэддон отправилась пить чай к директорисе, которая объяснила, почему она хочет, чтобы все ученицы играли один и тот же дуэт. Это входит в ее новую координационную систему обучения. Вся школа в этом году занимается одной темой, только одной — Наполеоном, — и все занятия должны сосредоточиться на этой теме. Так, уж не говоря о французском или истории, класс декламации разучивает политические стихи Вордсворта, на уроках литературы читают отрывки из «Войны и мира», на уроках рисования копируют что-нибудь Давида, на рукоделии — кроют платье в сти-

ле «империи», ну, а по музыке — все ученицы, конечно, должны играть Героическую симфонию Бетховена, которая была начата (правда, только начата) в честь императора. На чаепитии присутствовали несколько других преподавательниц, и все они стали восклицать, что обожают координировать, что это прелестная система, что благодаря ей работа стала гораздо интереснее и для них, и для девочек. Но мисс Хэддон промолчала. В ее времена никакой координации не существовало, и она не могла понять ее смысла. Она знала только, что стареет, что преподает все хуже и хуже, и ее интересовало лишь, как скоро директриса узнает об этом и уволит ее.

А в это время высоко на небесах сидел Бетховен, а вокруг него, на маленьких облачках, располагались его конторщики. Каждый из них делал пометки в гроссбухе, и тот, на книге которого было написано: «Героическая симфония, аранжировка для четырех рук Карла Мюллера», вносил следующие записи: «3.45 — Милдред и Элен, дирижер мисс Хэддон. 4.00 — Роз и Инид, дирижер мисс Хэддон. 4.15 — Маргарет и Джейн, дирижер мисс Хэддон. 4.30...»

Здесь его прервал Бетховен:

— Кто такая эта мисс Хэддон, чье имя звучит как удар барабана?

— Она интерпретирует вас уже многие годы.

— А что у нее за оркестр?

— Девушки из состоятельных семей, которые ежедневно в течение целого дня исполняют в ее присутствии Героическую. Звуки симфонии никогда не умолкают. Они плывут из окна, как непрерывно курящийся ладан, и их слышно по всей улице.

— Есть ли проникновенность в их исполнении?

Так как Бетховен все равно был глухой, то конторщик ответил:

— Да, весьма индивидуальное проникновение. Было время, когда Элен уходила дальше, чем другие, от вашего толкования, но с тех пор, как появились Долорес и Вайолет, положение изменилось.

— Я понимаю, новые товарищи вдохновили ее.

Конторщик промолчал.

— Я одобряю,— продолжал Бетховен,— и в знак моего одобрения повелеваю, чтобы мисс Хэддон и ее

оркестр и все в их доме услышали сегодня же вечером мой квартет до-минор в превосходном исполнении.

Пока декрет этот заносился в скрижали и пока персонал думал, как он будет выполнен, сцена, полная еще большего величия, происходила в другой части эмпирей. Там восседал Наполеон, окруженный своими конторщиками, и было их так много, что облака под сидевшими на самой дальней орбите казались маленькими барашками. Они были заняты тем, что записывали все, что говорилось об их хозяине на земле,— работа, для которой он сам их и призвал. Каждые несколько минут он спрашивал:

— Ну, как идут дела?

Конторщик, книга которого была озаглавлена: «*Homage de Wordsworth*»¹, отвечал:

— В пять ноль-ноль — Милдред, Элен, Роз, Инид, Маргарет и Джейн — все читали наизусть сонет «Когда-то была она владычицей Востока». Долорес и Вайолет пытались прочесть его наизусть, но у них это не вышло.

— Этот сонет сложен по поводу моей победы над Венецианской республикой,— сказал император,— и величие темы потрясло Вайолет и Долорес. Естественно, что они не смогли прочитать его. А что еще?

Второй конторщик сказал:

— Пять пятнадцать — Милдред, Роз, Инид, Маргарет и Джейн делают эскизы левой передней ножки кушетки Полины Буонапарт. Долорес и Вайолет все еще учат свой сонет.

— Мне кажется,— сказал Наполеон,— что я уже слышал эти очаровательные имена.

— Они значатся и в моей книге тоже,— сказал третий конторщик.— Вы, может быть, помните, сир, что примерно час назад они играли Героическую Бетховена...

— ...написанную в мою честь,— закончил император.— Я одобряю.

— В пять тридцать,— сказал четвертый конторщик,— вся компания, за исключением Долорес и Вайолет, которых послали точить карандаши, пела «Марсельезу».

— Вот это то, что нужно! — воскликнул Наполеон, вскакивая на ноги. — «*Ces demoiselles ont un vrai élan*

¹ «Посвящение Вордсворта» (франц.).

vers la gloire»¹. Я повелеваю, чтобы в награду весь их дом отпраздновал завтра утром победу под Аустерлицем.

Декрет был внесен в скрижали.

Вечерние уроки начинались в 7.30. Девочки усаживались мрачные, потому что новая скучная система доводила их до слез. Но случилась удивительная вещь. Мимо школы проходила кавалерийская часть, предводительствуемая первоклассным оркестром. Девочки голову потеряли от радости. Они вскочили со своих мест, они пели, они бросились к окнам, они танцевали, они прыгали, они сделали трубы из бумаги, а из классной доски — барабан. И все это они смогли проделать, потому что мисс Хэддон, которая должна была присматривать за ними, вышла из комнаты, чтобы найти генеалогическое древо Марии-Луизы: учительница истории специально просила ее принести его девочкам на вечерние занятия, чтобы те смогли полазать по его ветвям, но мисс Хэддон забыла вовремя это сделать. «Я совсем ни на что не гожусь», — подумала она, протягивая руку за деревом, — оно вместе с другими бумагами лежало под раковиной, которую директриса привезла с острова Святой Елены. «Я глупая, усталая, старая... Лучше бы мне умереть». И, размышляя таким образом, она машинально поднесла раковину к уху — когда она была маленькая, ее отец-морьяк часто так делал.

Она услышала море, сначала звуки прилива, шепчущегося с глинистыми низкими берегами, потом о чем-то болтающего с камнями; услышала короткий звук волны, с хрустом разбивающейся о песок, а потом долгий, отдающий эхом рев волн, бьющих о скалы, и, наконец, звуки океана вдали от берегов, где воды его то вздымаются горами, то разверзаются пропастями, а когда опускается туман, то лоно морское так нежно поднимается и опадает, или, когда дует свежий ветер и большие валы и маленькие волны, которые живут в больших валах, все поют от радости и шлют друг другу воздушные поцелуи белой пены. Она услышала все эти звуки, а в конце она услышала само море и поняла, что оно теперь принадлежит ей навеки.

¹ У этих молодых девиц по-настоящему высокое стремление к славе (франц.).

— Мисс Хэддон!— сказала директриса.— Мисс Хэддон! Почему это вы не смотрите за девочками?

Мисс Хэддон отняла раковину от уха и с возрастающей решимостью повернулась к своей начальнице.

— Даже сюда, через весь дом, доносится голос Элен,— продолжала та.— Я даже подумала, уж не идет ли это урок декламации. Положите немедленно на место это пресс-папье, мисс Хэддон, и возвращайтесь к своим обязанностям, пожалуйста!

Она взяла раковину из рук учительницы музыки, собираясь положить ее на нужную полку. Но сила примера заставила ее поднести раковину к уху. Она тоже прислушалась...

И услышала шум деревьев в лесу. Это не был какой-то определенный, известный ей лес, но все люди, которых она когда-либо знала, ехали по нему на лошадях, подавая друг другу сигналы негромкими звуками охотничьих рожков. Была ночь, и все они участвовали в охоте. Время от времени какие-то звери с шорохом пробежали в темноте, а один раз по общему сигналу началась погоня, но чаще ее друзья ехали тихо, и она вместе с ними, по всему лесу и навсегда.

И пока она слушала все это одним ухом, мисс Хэддон говорила ей в другое ухо следующее:

— Я не вернусь к своим обязанностям. Я пренебрегала ими с тех пор, как пришла сюда, так что исправлять что-либо поздно. Я не музыкальна. Я обманывала и учениц, и родителей, и вас. Я совсем не музыкальна, но я притворялась, чтобы заработать деньги. Не знаю, что теперь со мной будет, но я не могу больше притворяться. Я ухожу.

Директриса очень удивилась, узнав, что ее учительница музыки не музыкальна — столько лет непрерывно звучали рояли, что она думала, что все в порядке. В обычных обстоятельствах она нашла бы, чем сразить учительницу, так как была женщиной образованной, но шепот леса заставил ее сказать:

— О мисс Хэддон, только не сегодня, давайте поговорим об этом завтра утром. А сейчас, если вы хотите, прилягте у меня в гостиной, а я сама займусь с девочками, я с ними всегда отдыхаю душой.

Итак, мисс Хэддон легла, и, пока она дремала, душа моря вернулась к ней. А директриса, голова которой все еще была полна шепотов леса, пошла в класс для

вечерних занятий, но прежде чем открыть дверь, она трижды кашлянула. Все девочки были на своих местах, кроме Долорес и Вайолет, а этого она постаралась не заметить. А потом она ушла за деревом Марии-Луизы, о котором она забыла, и, пока она отсутствовала, кавалерийская часть прошла еще раз мимо окон...

Утром мисс Хэддон сказала:

— Я все-таки хочу уйти, но мне надо было подождать и не говорить вам об этом вчера. Я получила совершенно невероятные новости. Много лет назад мой отец спас тонущего человека. Человек этот только что умер, он завещал мне коттедж на берегу моря и деньги, чтобы жить в нем. Мне не надо больше работать, так что, если бы я подождала до сегодня, то я могла бы обойтись более вежливо и с вами, и,— она немного покраснела,— с собой.

Но директриса пожала ей обе руки и поцеловала ее.

— Я рада, что вы не подождали,— сказала она.— То, что вы сказали вчера, было слово правды — чистый звук рога в чаще. Хотелось бы и мне тоже...— она остановилась.— Ну, а теперь надо устроить праздник для всей школы.

Девочек собрали, и директриса выступила перед ними, а потом выступила мисс Хэддон, она всем дала адрес своего коттеджа и всех пригласила в гости. А потом Роз послали в кондитерскую за мороженым, а Инид — в овощную лавку за фруктами, а Милдред — за лимонадом, а Джейн — на извозничий двор за экипажами, и все они поехали далеко-далеко за город и играли в неорганизованные игры. Все прятались, и никто не водил; все подавали мячи, и никто их не отбивал; ни одна из девочек не знала, за кого она играет, а ни одна учительница не пыталась наводить порядок; и можно было играть в две игры сразу и быть великаном в одной и Питером Пэном в другой. А что касается координационной системы, то о ней даже и не упоминали, а если и упоминали, то в насмешку. Вот, например, Элен сочинила про нее такую песенку:

Глупый старый Бони¹
Сидел на своем пони,
Рождественский ел он пирог.

¹ Бони — сокращенное от Бонапарт.

В пироге ковырял,
Черносливину достал
И сказал: «Вот что сделать я смог».

И младшие девочки пели эту песенку три часа без остановки.

В конце дня директриса собрала всех вокруг себя и мисс Хэддон. Ее окружали счастливые, усталые лица. Садилось солнце, пыль, поднятая этим днем, тоже садилась.

— Ну, что же, девочки,— сказала директриса, и смеясь, и немножко смущаясь,— видно, вам не очень-то нравится моя координационная система?

— Нет, совсем нет!

— Нет, не очень! — слышалось в ответ.

— Ну, что же, я должна признаться,— продолжала директриса,— что мне она тоже не нравится. Честно говоря, я ее ненавижу. Но я была вынуждена принять эту систему, потому что такого рода вещи производят впечатление на Совет по образованию.

При этом все учительницы и все девочки засмеялись и захлопали в ладоши, а Долорес и Вайолет, которые подумали, что Совет по образованию — это новая игра, тоже засмеялись.

Легко можно представить, что эта позорная история не ускользнула от внимания Мефистофеля. При первой же возможности он бросился в Верховное судилище с громадным свитком, на котором было написано: «J'accuse!»¹. На полпути вверх он встретил архангела Рафаила, который, как всегда, очень вежливо спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен.

— На этот раз нет, спасибо,— ответил Мефистофель. — На этот раз у меня дело верное.

— Может быть, лучше показать его мне,— предложил архангел. — Жаль будет, если вы зря слетаете так далеко, у вас ведь и так было столько разочарований из-за Иова.

— О, здесь совсем другой случай!

— И потом, ведь был Фауст? Если мне память не изменяет, решение присяжных было в конечном счете против вас.

¹ Я обвиняю (франц.).

— Нет, нет, то было совсем другое дело. На этот раз я совершенно уверен. Я могу доказать тщетность гениальности. Великие думают, что их понимают, а их не понимают; простые люди считают, что они понимают гениев, а на самом деле это не так.

— Ну, если вы можете это доказать, то тогда у вас действительно бесспорное дело,— сказал Рафаил.— Потому что считается, что вся эта вселенная держится на координации и все существа друг с другом скоординированы в соответствии с их силами и способностями.

— Вот послушай. Пункт первый: Бетховен повелел, чтобы некоторые лица женского пола услышали его минорный квартет. А они слушали — кто духовой оркестр, а кто раковину. Пункт второй: Наполеон повелел, чтобы те же лица отпраздновали его победу под Аустерлицем. А в результате — получение наследства, сопровождаемое школьным праздником. Обвинение третье: девицы играют Бетховена. Из-за того, что он глухой и ему служат бесчестные конторщики, он предполагает, что девицы исполняют его музыку проникновенно. Обвинение четвертое: чтобы произвести впечатление на Совет по образованию, девицы изучают Наполеона. Он думает, что его изучают всерьез. У меня есть и другие пункты, но этого уже вполне достаточно. Гений и простой человек не могли скоординироваться друг с другом с тех пор, как Каин убил Авеля.

— Так. Ну а что же ваше дело? — с сочувствием спросил Рафаил.

— Мое дело? — поперхнулся Мефистофель.— Так вот же мое дело!

— Ах невинный дьявол! — воскликнул ангел.— О бесхитростная, хотя и адская душа! Ступай на землю и вновь исходи ее вдоль и поперек. Эти люди, Мефистофель, скоординированы. В основе их координации лежат Мелодия и Победа!

СИРЕНА

Я в жизни не видел ничего красивее моей записной книжки с «Опровержением деизма», когда она опустилась в воды Средиземного моря. Она пошла на дно, словно кусок черного сланца, но вскоре раскрылась, распустив листы бледно-зеленого цвета, отливавшие синим. Вот она пропала, вот показалась снова, растянулась, как по волшебству, устремясь к бесконечности, а вот опять стала книгой, но на этот раз она была больше самой Книги познания. Она сделалась еще более нереальной, достигнув дна, где навстречу ей взметнулось облачко песка и скрыло ее от моего взгляда. Но она появилась опять, целая и невредимая, хотя слегка трепещущая; она лежала, любезно раскрывшись, и невидимые пальцы перебирали ее страницы.

— Какая жалость, что ты не закончил свою работу раньше, еще в отеле,— сказала моя тетка,— сейчас ты бы мог спокойно отдыхать, и ничего бы не случилось.

— Не пропадет, но станет новой, необычайной, незнакомой,— нараспев произнес капеллан.

А сестра его сказала:

— Смотрите-ка, она утонула.

Что же касается лодочников, то один засмеялся, а другой, не говоря ни слова, встал и начал раздеваться.

— Пророк Моисей! — закричал полковник.— С ума он, что ли, сошел?

— Пожалуйста, милый, поблагодари его,— сказала тетка,— скажи, что он очень любезен, но лучше как-нибудь в другой раз.

— Но мне как-никак нужна книжка,— жалобно протянул я,— без нее я не могу писать диссертацию. К другому разу от нее не много останется.

— Я вот что предлагаю,— сказала одна из дам, укрывшись за зонтиком,— оставим здесь это дитя при-

роды, пусть себе ныряет за книгой, пока мы осматриваем другой грот. Высадим его на эту скалу или на уступ внутри грота, а к нашему возвращению все уже кончится.

Мысль показалась удачной. Я усовершенствовал ее, предложив высадить также и меня, чтобы заодно разгрузить лодку.

Итак, нас с лодочником оставили на огромной, залитой солнцем скале у входа в маленький грот, где таилась Гармония. Назовем Гармонию голубой, хотя она скорее воплощает в себе чистоту — но не в обыденном, а в самом возвышенном смысле этого слова — чистоту моря, собранную воедино и излучающую свет. Голубой грот на Капри вмещает просто больше голубой воды, но она не более голубая. Такой цвет и такая чистота царят во всех гротах Средиземного моря, в которые заливается вода и заглядывает солнце.

Лодка отъехала, и тут я сразу понял, как неосторожно было довериться покатою скале и незнакомому сицилийцу. Он встрепнулся, схватил меня за руку и сказал:

— Пойдемте в тот конец грота, я вам покажу что-то очень красивое.

Он заставил меня перепрыгнуть со скалы на уступ через расщелину, в которой сверкало море. Он увлекал меня все дальше от света, пока я не очутился в дальнем конце грота, на узенькой песчаной полоске, выступавшей из воды, словно запыленная бирюза. Там он оставил меня стеречь его одежду и быстро взбежал на скалу у входа. Мгновение он стоял обнаженный под ослепительным солнцем, глядя вниз, туда, где лежала книжка. Затем перекрестился, поднял руки над головой и нырнул.

Книжка под водой была изумительна, но красоту человека под водой описать и вовсе невозможно. Он казался ожившим в глубине моря серебряным изваянием, — жизнь трепетала в нем голубыми и зелеными бликами. Он являл собою нечто бесконечно счастливое, бесконечно мудрое, — казалось невероятным, что сейчас это нечто возникнет на поверхности, загорелое и мокрое, с книжкой в зубах.

Ныряльщики обычно рассчитывают на вознаграждение. Я был уверен, что, сколько ни предложу ему, он спросит еще, а я не был склонен к препирательствам

в месте столь прекрасном, но и столь уединенном. Как же мне было приятно, когда он сказал доверительно:

— В таком месте можно увидеть Сирену.

Я был восхищен тем, как верно он проникся настроением, царившим вокруг. Мы были с ним вдвоем в волшебном мире, вдали от всего банального, что зовется реальностью, в голубом мире, где вода была полем, а стенами и крышей — скала, на которой дрожали отсветы моря. Только нереальное было здесь уместно, и, зачарованный, я тихо повторил его слова:

— Можно увидеть Сирену...

Одеваясь, он с любопытством поглядывал на меня. Сидя на песке, я разнимал слипшиеся страницы.

— Вы, наверное, читали ту книжку, — сказал он наконец, — которая вышла в прошлом году? Кто бы мог подумать, что наша Сирена понравится иностранцам?

(Я прочел эту книгу позже. Описание в ней, разумеется, неполное, несмотря на то, что к книге приложена гравюра, изображающая упомянутую молодую особу, а также текст ее песни.)

— Она выходит из моря, не правда ли? — предположил я. — Она сидит на скале у входа в грот и расчесывает волосы.

Мне хотелось вызвать его на разговор, так как меня заинтересовала его внезапная серьезность; к тому же в последних его словах проскользнула ирония, озадачившая меня.

— Вы когда-нибудь видели ее? — спросил он.

— Много-много раз.

— А я ни разу.

— Но ты слышал, как она поет под водой?

Он натянул куртку и с раздражением сказал:

— Разве она может петь под водой? Этого никто не может. Она пробует иногда запеть, но ничего не получается, одни пузыри.

— Но она все-таки забирается на скалу.

— Как ей туда забраться?! — закричал он, окончательно рассердившись. — Священники благословили воздух — и она не может дышать. Они благословили скалы — и она не может сидеть на них. Но море благословить нельзя, потому что оно слишком большое и все время меняется. Вот она и живет в море.

Я молчал.

Тогда выражение его лица смягчилось. Он посмотрел на меня, словно хотел что-то сказать, и, подойдя к выходу из грота, стал вглядываться в синеву внешнего мира. Потом, вернувшись в наш полумрак, проговорил:

— Обычно только хорошие люди видят Сирену.

Я не проронил ни слова. Помолчав, он продолжал:

— Странное дело. Даже священники не могут объяснить, отчего так получается. Ведь она плохая,— это каждому ясно. И опасность увидеть ее грозит не только тем, кто постится и ходит к мессе, а вообще всем хорошим людям. В нашей деревне ее не видели ни отцы, ни деды. И я не удивляюсь. Мы крестимся перед тем, как войти в воду, да зря, могли бы и не креститься. Мы считали, что Джузеппе-то уж ничего не грозит. Мы его любили, и он любил многих из нас, но это совсем не то, что быть хорошим.

Я спросил, кто такой Джузеппе.

— Мне тогда было семнадцать лет, а моему брату, Джузеппе, двадцать, он был гораздо сильнее меня. В тот год в деревню приехали первые туристы, и тогда у нас пошли большие перемены и жить все стали лучше. Приехала одна англичанка, очень знатная, и написала о наших местах книгу; из-за этого образовалась Компания по благоустройству, и теперь они собираются провести фуникулер от вокзала к отелям.

— Не рассказывай сейчас об этом, не надо,— попросил я.

— В тот день мы повезли англичанку и ее друзей смотреть гроты. Когда лодка проплывала под отвесной скалой, я протянул руку — вот так — и поймал маленького краба. Я оторвал ему клешни и отдал иностранцам как диковину. Дамы захохали, но одному джентльмену краб понравился, и он предложил мне денег. Я не знал, что делать, и не взял деньги. «Я доставил вам удовольствие,— сказал я,— мне больше ничего не надо». Джузеппе — он сидел на веслах позади меня — очень рассердился и со всего размаху ударил меня по лицу и разбил мне губу в кровь. Я хотел дать ему сдачи, но он был такой увертливый, — не успел я размахнуться, как он больно стукнул меня по руке, я даже перестал грести. Дамы подняли ужасный шум; потом я узнал, что они сговаривались увезти меня от брата и выучить на лакея. Но, как видите, из этого ничего не вышло.

Когда мы доплыли до грота — не до этого, а до другого, побольше,— тому джентльмену вдруг захотелось, чтобы я или брат нырнули за монетой, и дамы согласились,— они иногда соглашаются. Джузеппе знал уже, что иностранцам очень нравится смотреть, как мы ныряем, и сказал, что прыгнет только за серебряной монетой. Тогда джентльмен бросил в воду монету в две лиры. Перед тем как прыгнуть, брат посмотрел на меня: я прижимал руку к разбитой губе и плакал, так мне было больно. Он засмеялся и сказал: «Ну, сегодня мне ни за что не увидеть Сирену!» — и бросился в воду, даже не перекрестившись. Но он ее увидел.

Тут рассказчик внезапно замолчал и взял предложенную мной сигарету. Я созерцал золотую скалу у входа, струящиеся стены и волшебную воду, в которой беспрестанно подымались кверху пузырьки.

Наконец он стряхнул пепел в мелкую зыбь и, отвернувшись от меня, сказал:

— Он вынырнул без монеты. Мы едва втащили его в лодку: он стал такой тяжелый и большой, что занял всю лодку, и такой мокрый, что мы никак не могли одеть его. Никогда я не видал такого мокрого человека. Мы с тем джентльменом сели на весла, а Джузеппе накрыли мешковиной и пристроили на корме.

— Так что же, он умер? — тихо спросил я, предполагая, что именно в этом была суть.

— Да нет! — сердито вскричал он.— Говорю вам, он увидел Сирену.

Я умолк.

— Мы уложили его в кровать, хотя он не был болен. Пришел доктор, мы ему заплатили. Пришел священник и окропил его святой водой. Но это не помогло. Уж слишком он распух, стал большой — прямо как морское чудище. Он поцеловал косточки пальцев святого Биаджо — и мощи высохли только к вечеру.

— А как он выглядел? — отважился я.

— Как всякий, кто видел Сирену. Если видел ее «много-много раз», как можно этого не знать? На него напала тоска — тоска, потому что он все узнал. Всякое живое существо наводило на него тоску: Джузеппе знал, что оно умрет. Он хотел только одного — спать.

Я склонился над записной книжкой.

— Он не работал, он забывал поесть, не помнил, одет он или нет. Вся работа легла на меня, а сестре

пришлось идти в услужение. Мы пробовали приучить его просить милостыню, но у него был чересчур здоровый вид, и его никто не жалел, а на слабоумного он тоже не был похож: глаза у него были не те. Он, бывало, стоял на дороге и смотрел на проходящих, и чем дольше он на них смотрел, тем ему становилось тоскливее. Если у кого-нибудь рождался ребенок, Джузеппе закрывал лицо руками. Если кто-нибудь венчался, он становился как одержимый и пугал новобрачных, когда они выходили из церкви. Кто мог подумать, что он тоже женится?! И виной этому был я, я сам. Я читал вслух газету, там писали про девушку из Рагузы, которая сошла с ума, выкупавшись в море. Джузеппе встал и ушел, а через неделю вернулся сюда уже с этой девушкой.

Он никогда не рассказывал мне, но говорили, что он отправился прямо в дом, где она жила, ворвался к ней в комнату и увел с собой. Отец у нее был богатый, у него были свои шахты, представляете, как мы перепугались? Отец приехал и привез ученого адвоката, но они тоже ничего не добились. Они спорили, угрожали, но в конце концов им пришлось убраться восвояси, и мы на этом ничего не потеряли, я хочу сказать — не потеряли денег. Мы отвели Джузеппе и Марию в церковь и обвенчали их. Ох и свадьба же была!.. После венчания священник ни разу даже не пошутил, а когда мы вышли на улицу, дети стали кидать в нас камнями... Я бы, кажется, согласился умереть, если б это принесло ей счастье, но знаете, как бывает: я ничем не мог помочь.

— Так что же, они и вдвоем были несчастливы?

— Они любили друг друга, но любовь и счастье не одно и то же. Любовь найти нетрудно. Но она ничего не стоит... Теперь мне пришлось работать за них обоих. Они во всем были похожи, даже говорили одинаково. Пришлось мне продать нашу лодку и наняться к тому дрянному старику, который вас сегодня возил. Хуже всего было то, что люди возненавидели нас. Сначала дети, с них всегда начинается, потом женщины, а после и мужчины. И причиной всех несчастий... Вы меня не выдадите?

Я дал честное слово, и он немедленно разразился неистовыми богохульствами, как человек, вырвавшийся из-под строгого надзора. Он проклинал священников, загубивших его жизнь.

— Нас надувают! — выкрикнул он. Он вскочил и стал бить ногой по лазурной воде, пока не замутил ее, подняв со дна тучу песка.

Я тоже был взволнован. В истории Джузеппе, нелепой и полной суеверий, было больше жизненной правды, чем во всем, что я знал раньше. Не знаю почему, но эта история вселила в меня желание помогать ближним — самое, как мне кажется, возвышенное и самое бесплодное из наших желаний. Оно скоро прошло.

— Она ожидала ребенка, — продолжал он. — Это был конец всему. Люди спрашивали меня: «Когда же родится твой племянничек? И веселый же сын будет у таких родителей». Я им спокойно отвечал: «Почему бы и нет? Счастье рождается от печали». Есть у нас такая поговорка. Мой ответ очень их напугал, они рассказали о нем священникам, и те тоже испугались. Разнесся слух, что ребенок будет антихристом... Но вы не бойтесь, — он не родился. Одна старая вещунья принялась пророчить, и никто ее не остановил. «Джудзеппе и девушка, — говорила она, — одержимы тихими бесами, которые не причиняют большого вреда. Но ребенок будет всегда болтать без умолку, хохотать и смущать людей, а потом спустится в море и выведет из него Сирену, и все увидят ее и услышат ее пенье. Как только она запоет, вскроются Семь чаш, папа римский умрет, Монджибелло начнет извергаться и покров святой Агаты сгорит. И тогда мальчик и Сирена поженятся и навеки воцарятся над миром».

Вся деревня была в страхе, хозяева отелей переполошились, потому что как раз начинался туристский сезон. Они поговорили друг с другом и решили отправить Джузеппе и девушку в глубь страны, пока не родится ребенок, и даже собрали на это деньги. Вечером накануне отъезда светила полная луна, ветер дул с востока, море разбивалось о скалы, и брызги висели над берегом, как серебряные облака. Это было очень красиво. Мария сказала, что хочет посмотреть на море в последний раз.

«Не ходи, — сказал я, — мимо нас на берег недавно прошел священник и с ним кто-то чужой. Владельцы отелей не хотят, чтобы тебя кто-нибудь видел. Если они рассердятся, мы умрем с голоду».

«Я хочу пойти, — сказала она. — Море сегодня бурное, мне будет так не хватать его».

«Он прав, — сказал и Джузеппе, — не ходи. Или пусть лучше кто-нибудь из нас пойдет с тобой».

«Я хочу пойти одна», — сказала Мария. И ушла одна.

Я увязал их вещи в одеяло, а потом вдруг подумал, что мы разлучаемся, и мне стало так грустно, что я сел рядом с братом и обнял его за шею, а он обнял меня, чего не делал уже больше года. И мы с ним сидели, не помню уж сколько времени. Вдруг дверь распахнулась, в дом ворвался лунный свет и ветер, и детский голос со смехом сказал:

«Ее столкнули в море с утеса».

Я бросился к ящику, где держал ножи.

«Сядь на место», — сказал Джузеппе. Подумать только, Джузеппе сказал такие слова: «Если умерла она, это не значит, что должны умирать другие...»

«Я знаю, кто это сделал! — закричал я. — Я убью его!»

Я не успел выбежать за дверь: он догнал меня, повалил на пол, прижал коленом, схватил за руки и вывернул мне кисти — сперва правую, потом левую. Никто, кроме Джузеппе, не додумался бы до такого. Я даже не представлял, что это так больно. Я потерял сознание. Когда я очнулся, Джузеппе исчез, и я его больше не видел.

Я не мог скрыть своего отвращения к Джузеппе.

— Я же говорил вам, что он был дурной человек, — сказал он. — Никто не ожидал, что как раз он увидит Сирену.

— Почему ты думаешь, что он видел Сирену?

— Потому что он видел ее не «много-много раз», а всего один.

— Как же ты можешь любить его, если он такой плохой?

В первый раз за все время он рассмеялся. Это было единственным его ответом.

— Это все? — спросил я.

— Я так и не отомстил ее убийце: к тому времени, как у меня зажили руки, он был уже в Америке, а священников убивать грех. Джузеппе же объехал весь мир, все пытался найти кого-нибудь еще, кому довелось увидеть Сирену, — мужчину или даже лучше женщину, потому что тогда мог все-таки родиться ребенок. Напоследок он приехал в Ливерпуль — есть такое место? — и там начал кашлять кровью и кашлял, пока не умер.

Не думаю, чтобы сейчас кто-нибудь еще на свете видел Сирену. Таких приходится не больше одного на поколение. Мне уже не увидеть мужчину или женщину, от которых родится ребенок, выведет Сирену из моря, уничтожит молчание и спасет мир.

— Спасет мир? — воскликнул я.— Разве так кончалось пророчество?

Он прислонился к скале, тяжело дыша. Сквозь синезеленые отблески, мелькавшие по его лицу, было видно, что он покраснел. Тихо и медленно он произнес:

— Молчание и одиночество не вечны. Пройдет сто лет, может быть, даже тысяча, море ведь живет долго, и когда-нибудь она выйдет из моря и запоеет.

Я расспросил бы его еще, но в этот миг в пещере потемнело,— в узком проходе появилась возвращавшаяся лодка.

ВЕЧНОЕ МГНОВЕНЬЕ

I

— Видите вон ту гору, ту, что виднеется за шляпкой Элизабет? Двадцать лет назад один юноша признался мне там в страстной любви. Элизабет, пожалуйста, нагните на минуту голову.

— Хорошо, мадам,— сказала Элизабет и всем корпусом, словно тряпичная кукла, отклонилась назад, на облучок.

Полковник Лейленд надел пенсне и взглянул на гору, где влюбился юноша.

— Он был мил? — спросил он с улыбкой, но все-таки чуть понижая голос в присутствии горничной.

— Не знаю... Но мне, в моем возрасте, очень приятно вспомнить этот случай. Благодарю вас, Элизабет.

— Позвольте узнать, кто он был такой?

— Носильщик,— ответила мисс Рэби своим обычным тоном,— даже не профессиональный гид. Просто мужчина, нанятый нести наш багаж, который он уронил.

— Ах, вот что! Как же вы поступили?

— Как поступила бы всякая молодая дама. Вскрикнула и велела ему соблюдать приличия. Бросилась бежать, что было вовсе не обязательно, упала, растянула ногу, снова закричала. Ему пришлось нести меня полмили на руках; по дороге он так пылко каялся, что я думала, он скинет меня в пропасть. В таком состоянии мы добрались до небезызвестной миссис Харботл, при виде которой я разразилась слезами. Но она повела себя еще глупее, чем я, так что я довольно быстро оправилась.

— И, разумеется, сказали, что сами во всем виноваты?

— Разумеется...— она посерьезнела.— Миссис Харботл, которая, как и большинство людей, всегда оказывалась права, предостерегала меня относительно этого юноши: мы ведь и прежде пользовались его услугами.

— Ах, вот оно что...

— Нет, вовсе не то, что вы думаете. До тех пор он знал свое место, правда, брал с нас подозрительно дешево, а делал гораздо больше, чем можно было ожидать от человека, нанятого за столь мизерную плату. А это, как известно, опасный признак в людях низкого происхождения.

— Но в чем же заключалась ваша вина?

— Я поощряла его, откровенно предпочитая его общество разговорам с миссис Харботл. Он был хорош собою и, я бы сказала, приятен. К тому же мне нравилась его одежда. В тот день мы отстали, он рвал для меня цветы. Я протянула за ними руку, а он схватил ее и произнес пламенную речь о любви, которую заимствовал из «I Promessi Sposi».

— А, итальянец!..

Тут они как раз подъехали к границе. На маленьком мостике, среди елей стояли два столба, один красно-бело-зеленый, другой — черно-желтый.

— Он жил в Italia Irredenta, — сказала мисс Рэби. — Он предлагал мне бежать с ним в Италию. Интересно, как бы все обернулось, если бы мы поженились!

— О боже! — сказал полковник Лейленд с внезапной брезгливостью.

Элизабет, сидевшую впереди, передернуло.

— Нет, почему же, мы могли оказаться идеальной парой!

У мисс Рэби была привычка говорить несколько парадоксальные вещи. Полковник Лейленд, который делал скидку на ее яркую индивидуальность, слегка запнувшись, воскликнул:

— Конечно! Весьма вероятно!

Она повернулась к нему со словами:

— Вы думаете, я потешаюсь над ним?

Это его немного смутило. Он улыбнулся и ничего не ответил. Экипаж теперь неторопливо огибал основание пресловутой горы. Дорога была проложена поверх обломков горных пород, когда-то скатившихся сверху и все еще нет-нет да и скатывавшихся с горных склонов. Сосновые леса были прорезаны опустошительными потоками белого камня. Но выше, припоминала мисс Рэби, на восточном склоне, более отлогом, имелись уютные лощинки, выступы, усыпанные цветами, оттуда откры-

вался великолепный вид. Если спутник мисс Рэби предпологал, что она просто мило шутит, то он ошибался. Происшествие двадцатилетней давности само по себе было, конечно, нелепым. И все же, посмеиваясь над ним, она в то же время достаточно серьезно относилась и к его участникам, и к самому месту действия.

— Мне легче думать, что он меня дурачил, чем признаться себе, что он был просто глуп,— сказала она после долгой паузы.

— Вот и таможня,— сказал полковник Лейленд, меняя тему разговора.

Они прибыли в страну, где на каждом шагу можно услышать «Ach!» и «Ja!»¹. Мисс Рэби вздохнула: она любила все романское, как должно любить всякому человеку, не стесненному недостатком времени. Но полковник, как человек военный, уважал все тевтонское.

— Тут еще на семь миль вперед говорят по-итальянски,— сказала мисс Рэби, успокаивая себя, как ребенок.

— Немецкий язык — язык будущего,— ответил полковник.— Все сколько-нибудь значительные книги на любую тему написаны по-немецки.

— Вовсе нет — любые книги на сколько-нибудь значительную тему написаны по-итальянски. Элизабет, назовите мне значительную тему!

— Человеческая натура, мадам,— ответила девушка тоном скромным, но в то же время дерзким.

— Я вижу, Элизабет — писательница, так же, как ее госпожа,— сказал полковник Лейленд. Он перевел взгляд на окружающий пейзаж — он не любил разговоров втроем.

Фермы в этом краю имели более процветающий облик, нищих не было видно, женщины были некрасивее, мужчины — толще, а пища, которую подавали в придорожных гостиницах на открытом воздухе, — сытнее.

— Так где же мы остановимся, полковник Лейленд? — спросила мисс Рэби.— В «Альпийском Гранд-отеле», в «Лондоне», в пансионе Либига, Этерли-Саймона, «Бельвю», в «Старой Англии»? Или же в гостинице «Бишоне»?

— Очевидно, вы предпочитаете «Бишоне»?

— Я не имею ничего против «Альпийского Гранд-отеля». У «Бишоне» и у «Гранд-отеля» одни и те же

¹ Ach! Да! (нем.)

владельцы, насколько мне известно. Они разбогатели за последнее время.

— И примут вас по-царски, если, конечно, такие люди умеют благодарить.

Роман «Вечное мгновенье», принадлежащий перу мисс Рэби и принесший ей славу, прославил также и местечко Ворта, где разворачивалось действие романа.

— О, они меня уже поблагодарили. Года через три после опубликования романа синьор Канту прислал мне письмо. Оно показалось мне грустным, хотя все в нем говорило о процветании. Я ведь не люблю влиять на ход чужих жизней. Любопытно, остались ли они в старом доме или переехали в новый?

Полковник Лейленд ехал в Ворт, чтобы побыть там с мисс Рэби. Однако он предпочитал, чтобы они поселились в разных гостиницах. Она же, равнодушная к подобным тонкостям, не понимала, почему бы им не жить под одной крышей, так же, как не видела ничего предосудительного в том, что они путешествуют в одном экипаже. С другой стороны, она ненавидела все фешенебельное, броское. Он выбрал «Альпийский Гранд-отель», она же склонялась к «Бишоне», но тут несносная Элизабет сказала:

— Хозяйка моей подруги остановилась в «Гранд-отеле».

— О, если подруга Элизабет живет в «Гранд-отеле», это решает дело: едем в «Гранд-отель»!

— Хорошо, мадам,— сказала Элизабет тоном, в котором не было и нотки признательности. Лицо полковника Лейленда сделалось суровым: он не любил нарушения дисциплины.

— Вы ее распускаете,— шепнул он мисс Рэби, когда, выйдя из экипажа, они пешком поднимались на холм.

— В вас говорит военный.

— Разумеется, я достаточно часто имел дело с рядовыми, чтобы понять, что налаживать с ними «человеческие отношения», как вы выражаетесь, совершенно бессмысленно. Стоит проявить немного сентиментальности, и вся армия развалится на части.

— Не спорю. Но мы же не в армии. С какой стати мне разыгрывать из себя офицера? Знаете, вы сейчас напомнили мне моих друзей — англо-индийцев, которые были шокированы тем, что я была любезна с некоторыми индийцами. Они приводили доводы, весьма веские, что с туземцами так обращаться нельзя. Они так и не

поняли, почему их аргументы по сути своей несостоятельны. Неудачники всегда стараются командовать удачливыми, и с этим пора покончить. Вы всегда были неудачником и всю жизнь командовали другими, требовали от них повиновения и прочих сомнительных добродетелей. А я счастлива, я командовать не хочу и не буду.

— И не надо,— сказал он, улыбаясь.— Но имейте в виду, что мир — это не армия. И пожалуйста, побеспокойтесь о том, чтобы проявить немного справедливости к нам, несчастным военным, — заметьте, к примеру, что мы чрезвычайно внимательно относимся к столь любимому вами простонародью.

— Разумеется,— мечтательно сказала она, словно не замечая сделанной ей уступки. — Это входит в моду. Только они видят вас насквозь. Они не хуже нас знают, что лишь одно в этом мире достойно того, чтобы им владеть.

— О да! — вздохнул он.— Мы живем в коммерческий век.

— Нет! — воскликнула мисс Рэби с таким явным раздражением, что Элизабет оглянулась — не случилось ли чего-нибудь с ее госпожой.— Глупости! Одевать добротой и деньгами — нет ничего проще. Единственная вещь, достойная служить подарком, это наше собственное «я». Вы когда-нибудь открывали себя людям до конца?

— Часто.

— Я хочу сказать, вы когда-нибудь сознательно ставили себя в глупое положение в присутствии тех, кто ниже вас?

— Намеренно? Нет.

Он понял наконец, куда она клонит. Ей доставляло удовольствие делать вид, что такое самораскрытие — единственно возможная основа для подлинного общения, единственная брешь в духовном барьере, отделяющем один класс от другого. Одна из ее книг была написана как раз на эту тему. Читать ее было чрезвычайно приятно.

— А вы? — добавил он шутливо.

— В полную меру — нет, никогда. До сих пор мне не случалось чувствовать себя окончательной дурой. Но когда почувствую, надеюсь, что сумею продемонстрировать это открыто.

— Хотелось бы мне это видеть!

— Боюсь, вам это не понравится, — ответила она. — Со мной такое может произойти в любую минуту и в любом обществе, по самому неожиданному поводу.

— Ворта! — крикнул кучер, прерывая их оживленную беседу. Передние колеса экипажа и сидевшие на облучке Элизабет и кучер въехали на вершину холма. Темный лес кончился, и перед ними открылась долина, окаймленная изумрудной зеленью лугов. Эти луга струились, изгибались, переходили один в другой, подымаясь выше и выше, а на высоте двух тысяч футов из травянистого покрова вдруг прорывались скалы, выроставшие в мощные горы, чьи вершины изящно вырисовывались в чистом вечернем небе.

Кучер, страдавший, очевидно, любовью к повторам, сказал:

— Ворта! Ворта!

Вдали, на склоне горы, белело большое селение, качавшееся на зеленых волнах, словно корабль в море, и на его носу, рассекая грудью крутой склон, стояла величественная колокольня из серого камня. И пока они смотрели на нее, колокольня вдруг обрела голос и торжественно обратилась к горам, а они отозвались.

Кучер снова объявил, что это Ворта и что перед ними — новая колокольня, точь-в-точь такая же, как в Венеции, только лучше, и что звук, который они слышат, издает новый колокол.

— Спасибо. Вы правы, — сказал полковник Лейленд в ответ на радостное замечание мисс Рэби о том, что селение сумело употребить наступившее процветание на столь добрые дела, как постройка колокольни. Она боялась возвращаться в те места, которые раньше так любила, опасаясь найти их отстроенными заново. Ей в голову не приходило, что новое может быть прекрасно. Архитектор и в самом деле черпал вдохновение на юге, и колокольня, возведенная им в горах, была сродни той, что когда-то была воздвигнута близ лагуны. Однако откуда родом колокол, определить было нельзя, так как звук не имеет национальности.

Они поехали дальше, любуясь прелестным пейзажем, довольные и молчаливые. Благожелательные туристы принимали их за супружескую пару. И в самом деле, в худощавом, угловатом лице мисс Рэби не было ничего, что выдавало бы ее принадлежность к гадкому литературному племени. А профессия полковника придавала ему вид скорее аккуратный, нежели агрессивный. Они производили впечатление образованной, вос-

питанной четы, которая проводит жизнь, любуясь красивыми вещами, наполняющими наш мир.

Когда экипаж подъехал ближе, отозвались оставшиеся до сего времени незамеченными другие церкви — крошечные церквушки, уродливые церкви, церкви, крашенные в розовый цвет и с похожими на тыквы куполами, церкви, с крытыми гонтом шпилями, церкви, стоящие в укромных местах, на лесных просеках, или прячущиеся в складках и изгибах долины. Хор тонких голосов наполнял вечерний воздух, и в середине этого хора явственно звучал сильный, глубокий голос. Только англиканская церковь, построенная недавно, в раннеанглийском стиле, хранила сдержанное молчание.

Колокола стихли, и все маленькие церкви попятились и отступили во тьму. Колокольный звон сменили звуки гонга, призывавшие переодеться к обеду, и усталые туристы заспешили к своим гостиницам. Ландо, на котором красовалась надпись «Пансион Этерли-Саймон», покатило навстречу дилижансу, который вот-вот должен был прибыть. Какая-то девица обсуждала с матерью вечерний туалет. Молодые люди с теннисными ракетками беседовали с молодыми людьми, державшими в руках альпенштоки. Вдруг в темноте огненный палец вывел: «Альпийский Гранд-отель».

— Электричество,— пояснил кучер, услышав возгласы своих пассажиров.

Напротив сосновой рощи вспыхнули огни пансиона «Бельвю», с крутого речного обрыва ему ответил «Лондон». Пансионы «Либиг» и «Лорелея» объявили о своем существовании один — зелеными, другой — янтарными огнями. «Старая Англия» появилась вся в ярко-красном. Иллюминация распространилась на довольно значительную площадь: лучшие гостиницы стояли за пределами селения, занимая либо величественное, либо романтическое местоположение. Этот аттракцион повторялся во время туристского сезона каждый вечер, в момент прибытия дилижанса. Но как только последний из вновь прибывших турист был устроен, огни гасли, и хозяева гостиниц, кто — чертыхаясь, кто ликуя, возвращались к своим сигарам.

— Ужасно! — сказала мисс Рэби.

— Ужасная публика! — сказал полковник Лейленд.

«Альпийский Гранд-отель» — огромное деревянное строение — напоминал разбухшее, расползшееся во все

стороны шале. Правда, это впечатление несколько смягчала великолепная терраса, сложенная из квадратных камней, которая была видна отсюда на целые мили и от которой, как из некоего полноводного водоема, тоненькими струйками разбегались по округе асфальтовые дорожки. Экипаж, проехав по подъездной аллее, остановился под сводчатой галереей, построенной из смолистой сосны; одна сторона галереи выходила на террасу, а другая — в гостиную, ведущую в холл. Здесь, как в водовороте, кружились служащие — обыкновенные мужчины с золотыми галунами; более элегантного вида мужчины с более внушительными золотыми галунами; мужчины еще элегантнее, но без галунов. Элизабет сразу же приняла надменный вид. Нести маленькую соломенную корзинку, казалось, составляло для нее непосильный труд. Полковник Лейленд немедленно превратился в солдата с головы до ног. Его спутницу, в которой, несмотря на долголетний опыт путешественницы, большая гостиница всегда вызывала смущение, тут же проводили в дорогой номер и порекомендовали не мешкая сменить дорожное платье, если она желает спуститься к табльдоту.

Поднимаясь по лестнице, мисс Рэби видела, как в столовую собираются англичане, американцы и богатые голодные немцы. Мисс Рэби любила общество, но сегодня ей было как-то не по себе. Ей казалось, что к ней подступает какой-то неприятный, отталкивающий образ, чьи очертания пока что нельзя было явственно различить.

— Я пообедаю в номере, — сказала она Элизабет. — А вы идите в столовую. Я сама распакую чемоданы.

Она походила по номеру, прочла гостиничные правила, перечень услуг с указанием цен, перечень экскурсий, оглядела красный плюшевый диван, кувшины и умывальные тазы с литографированным на них горным пейзажем. Могла ли она представить себе среди всей этой роскоши синьора Канту и его трубку с фарфоровой чашечкой или синьору Канту с ее шалью табачного цвета?

Когда официант наконец принес ей обед, она спросила у него о хозяевах.

Он ответил на своем птичьем английском языке, что у них все хорошо.

— А где они живут? Здесь или в «Бишоне»?

— Здесь, конечно... В «Бишоне» едут только бедные туристы.

— Кто же там живет?

— Мать синьора Канту. Она не связана,— продолжал он, будто повторяя затверженный урок,— она не связана с нами. Пятнадцать лет назад — да. А теперь?.. Что такое «Бишоне» теперь? Я осмелюсь вам возразить, если вы станете говорить об этих двух гостиницах как об одном целом.

— А... я не туда попала,— тихо сказала мисс Рэби.— Будьте добры, сообщите, что я отказываюсь от номера, и велите немедленно отправить мой багаж в «Бишоне».

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказал официант — он был отлично вышколен. И добавил, сердито фыркнув: — Вам придется заплатить.

— Разумеется! — сказала мисс Рэби.

Хорошо налаженный механизм, еще совсем недавно всосавший ее, теперь начал ее исторгать. Были вынесены чемоданы, вызван экипаж, в котором мисс Рэби сюда приехала. В холле появилась Элизабет, побелевшая от ярости. Мисс Рэби заплатила за белье, на котором они не спали, и за обед, к которому не притронулись. Она направилась к двери сквозь водоворот золотогоалунных служащих, которые считали, что они уже заработали свои чаевые. Постояльцы в гостиной рассматривали мисс Рэби с явным удивлением, видимо, полагая, что она покидала гостиницу, найдя ее чересчур для себя дорогой.

— Что случилось? Что произошло? Вам здесь не понравилось? — к ней быстрыми шагами подошел полковник Лейленд в вечернем костюме.

— Нет... просто я ошиблась. Эта гостиница принадлежит сыну. А мне нужно в «Бишоне». Он поссорился со стариками... наверно, отец уже умер.

— Но все же... если вы хорошо устроились здесь...

— Я сегодня же должна знать, так ли это. И я должна... — голос ее задрожал, — должна узнать, не моя ли это вина.

— Помилуйте, каким образом!..

— Даже если это так, я выдержу,— продолжала она уже спокойнее.— Я не гожусь — слишком стара — играть роль трагической королевы и злого духа одновременно.

«Что это означает? Что она имеет в виду? — бормотал полковник, провожая взглядом огоньки экипажа, спускавшегося с холма.— В чем она виновата? В чем вообще она может быть виновата? Владельцы гостиниц

всегда ссорятся — это обычная история, нам-то какое до этого дело!»

Он хорошо пообедал в полном молчании. Затем с почты ему принесли письма, и мысли его переключились на них. Одно было от сестры.

«Дорогой Эдвин,
я ужасно робею, когда пишу тебе эти строки, но я знаю, что ты поверишь мне, когда я скажу, что не пустое любопытство заставляет меня задать тебе этот простой вопрос: помолвлен ты с мисс Рэби или нет? Нынче все очень изменилось даже по сравнению с тем временем, когда я была молодой девушкой. Но все же помолвка и сейчас помолвка, и ее следует огласить незамедлительно, чтобы избежать затруднений и неудобств для обеих сторон. Пусть здоровье твое пошатнулось и ты уже не служишь, но ты все равно обязан быть на страже чести нашей семьи...»

— Что за бред! — воскликнул полковник Лейленд. Знакомство с мисс Рэби сделало его более проникательным. Он не увидел в этой части письма своей сестры ничего, кроме дани условностям. Чтение его взволновало полковника не более, чем сестру его — сочинение самого письма.

«Что касается девушки, о которой мне рассказали Бэнноны, так никакая она не компаньонка; это просто способ пустить людям пыль в глаза. Я ничего не имею против мисс Рэби, чьи книги мы всегда читаем. Просто литераторы никогда не бывают практичными, и скорее всего она даже не догадывается о двусмысленности своего положения. Правда, я не представляю ее в роли твоей жены. Но это уже другой вопрос.

Мои малыши, а также Лайонел — все шлют тебе привет. Они здоровы и веселы. Сейчас меня беспокоит только будущее — безумно дорогая плата за обучение в приличных школах, которая тяжелым бременем ляжет на наш бюджет.

Любящая тебя Нелли».

Господи! Ну как ей объяснить то особое очарование, которое существует в отношениях между ним и мисс Рэби? Ни один из них ни разу и словом не обмолвился

о браке и, по всей видимости, никогда не заикнется о любви. Если бы, вместо того, чтобы видеть друг друга часто, они решили не расставаться вообще, то сделали бы это как умудренные жизнью компаньоны, а не как эгоистические любовники, пылко стремящиеся к тому, чтобы страсть длилась бесконечно, в то время как требовать эту страсть у них нет права, а длить — нет силы. Ни один из них не претендовал на невинность души и не делал вида, что не замечает ограниченности и непоследовательности другого. Напротив, они не делали друг другу никаких скидок. Терпимость предполагает сдержанность; лучшей гарантией спокойных взаимоотношений является полная осведомленность. Полковник Лейленд обладал незаурядным мужеством — его мало беспокоило мнение людей, позиция которых была ему ясна. Пусть Нелли, Лайонел и их дети сердятся и негодуют, сколько им вздумается. Мисс Рэби была писательница и, следовательно, являлась чем-то вроде радикала, он же был солдат и, стало быть, аристократ своего рода. Но расцвет их деятельности остался позади. Он больше не воевал, она перестала писать. Отчего бы им не провести приятно осень своей жизни? Они могли бы оказаться также неплохими компаньонами на зиму.

Он был слишком деликатен, чтобы признаться даже себе самому, что жениться на двух тысячах годового дохода весьма соблазнительно. Но это обстоятельство придавало какой-то подсознательный привкус его мыслям. Он разорвал письмо сестры на мелкие куски и выбросил за окно.

«Странная женщина! — пробормотал он, глядя в сторону Ворты и пытаясь рассмотреть колокольню в свете восходящей луны.— Зачем ехать в плохой отель? Зачем вмешиваться в распри между теми, кто не сможет тебя понять и кого ты не понимаешь? Глупо думать, что ты причина этой ссоры! Считать, что написала книгу, которая испортила эту деревушку, а жителей ее сделала подлыми и корыстными. Я-то знаю, чего ей хочется. Делать себя несчастной и стараться исправить то, что невозможно исправить. Странная женщина!»

Под окном белели клочки разорванного письма. В долине стала отчетливо видна колокольня, подымавшаяся из вьющихся серебряных лент тумана.

«Странная... милая!..»—прошептал он и помахал рукой по направлению к деревне.

II

В первом романе мисс Рэби, называвшемся «Вечное мгновенье», говорилось о том, что человеческая жизнь измеряется не одним только временем; что в этом мире иногда один вечер может равняться тысяче столетий — мысль, впоследствии в более философском плане развитая Метерлинком. Теперь мисс Рэби заявляла, что это скучная, претенциозная книга и что название ее воскрешает в памяти кресло зубного врача. Но она написала этот роман, когда чувствовала себя молодой и счастливой, а в этом возрасте человек формирует свое credo чаще, чем в зрелые годы. Но годы проходят, и в той же мере, в какой сама идея может укрепиться, желание и способность пропагандировать ее — ослабляются. Мисс Рэби было даже приятно, что ее первое произведение оказалось самым бунтарским.

Как это ни странно, книга произвела большую сенсацию, особенно среди читателей, лишенных воображения. Праздные люди сделали из нее вывод, что можно разбазаривать время без всякого для себя ущерба; вульгарные — что непостоянство нельзя считать грехом, а набожные — что этот роман есть не что иное, как попытка подорвать нравственность. Мисс Рэби сделалась популярной в обществе, где ее симпатия по отношению к низшим классам только прибавляла ей очарования. Тогда же леди Энсти, миссис Хэриот, маркиз Бамбург и еще кое-кто поехали в Вурту — место действия романа «Вечное мгновенье» — и вернулись оттуда преисполненные энтузиазма. Леди Энсти устроила выставку своих акварелей; миссис Хэриот, увлекавшаяся фотографией, поместила подборку в «Стрэнде». А «Девятнадцатое столетие» опубликовало пространное описание Вурты, принадлежащее перу маркиза Бамбурга и озаглавленное «Современный крестьянин и его взаимоотношения с католицизмом».

Благодаря этой рекламе Вурта пошла в гору; те, кто не любил ходить проторенными тропами, отправились туда отдохнуть и указали путь другим. Мисс Рэби из-за каких-то случайностей ни разу больше не бывала в этом месте, чей подъем и процветание были столь тесно связаны с ее собственным литературным успехом.

Время от времени она слышала о том, как прогрессирует Вурта. Стали даже поговаривать, что в этот уго-

лок проникают туристы низшего разряда, и мисс Рэби, страшась обнаружить там что-нибудь в навеки испорченном виде, в результате почувствовала, что у нее не хватает смелости навестить те края, которые некогда принесли ей так много радости. Но полковнику Лейленду удалось переубедить ее. Он искал прохладное, целебное для здоровья место, где можно было бы проводить время в чтении, приятной беседе и совершать пешеходные прогулки, необременительные для пожилого атлета, каким он был. Друзья посмеивались, знакомые сплетничали, родственники негодовали. Но полковник был человеком мужественным, а мисс Рэби не было дела до сплетен. Они отправились в Вурту под прозрачным прикрытием Элизабет.

Первые впечатления огорчили мисс Рэби. Ей было неприятно видеть большие здания гостиниц, стоявших широким кругом в стороне от деревни, которой надлежало быть средоточием всей жизни местечка. Названия гостиниц, словно огромным электрическим перстом выведенные на горных склонах, окутанных вечерним покоем, до сих пор плясали перед глазами мисс Рэби.

А безобразный «Альпийский отель» давил ее, как ночной кошмар. В памяти то и дело возникал портик, претенциозный холл, конторка из полированного ореха, необъятная доска с ключами от номеров, фаянсовая посуда для умывания с горными видами, служащие в форме, запах хорошо одетой публики, который подчас так же неприятен, как запах нищеты. Мисс Рэби не испытывала восторга от прогресса цивилизации — она знала из истории Востока, что вначале цивилизация нередко оборачивается своей дурной стороной и прививает неразвитым народам безнравственность и злобность, прежде чем они сумеют воспользоваться ее благами. О каком прогрессе в Вурте могла идти речь, когда эта деревня была в состоянии научить мир большому, чем он — ее?

В «Бишоне» она в самом деле обнаружила мало перемен, если не считать чувства гордости оттого, что им удалось устоять. Старый хозяин умер, больная вдова его не покидала постели, но прежний дух все же не выветрился. Нарисованный на деревянной вывеске дракон по-прежнему заглатывал младенца — герб миланских Висконти, от которых Канту, вполне возможно, и вели свою родословную. Было в этой маленькой гостинице что-то такое, что внушало доброжелательно

настроенному к ней туристу — по крайней мере на некоторое время — мысль об аристократичности хозяев. Подлинный вкус — стиль, достигаемый без усилий, — ощущался во всем. Каждый номер украшало несколько прелестных вещей — кусочек шелкового гобелена, фрагмент резьбы по дереву в стиле рококо, два-три синих изразца в рамках на белой стене. В гостиных и на лестнице были развешаны картины восемнадцатого века в стиле Карло Дольчи и Карраччи — Скорбящая богородица в синем плаще, какой-то святой в развевающихся одеждах, великодушный Александр со скошенным подбородком. Стиль упадка — как говорят знатоки и учебники. И все же иногда эти картины выглядят свежее и значительнее, чем, скажем, только что купленный Фра Анджелико.

Мисс Рэби, которая никогда не трепетала, посещая герцогов в их резиденциях, перешагнув порог гостиницы «Бишоне», почувствовала себя ужасно современной и грубой. Самые обычные вещи — диванные подушки, скатерти, наволочки, сшитые из дешевой материи и все не такие уж красивые, наполнили ее почтением и кротостью. По этому чистому, приветливому дому некогда ходили хозяин — синьор Канту с его трубкой с фарфоровой чашечкой и синьора Канту в шали табачного цвета и Бартоломео Канту — нынешний владелец «Альпийского Гранд-отеля».

На следующее утро мисс Рэби села завтракать в грустном настроении, которое она всячески старалась приписать дурно проведенной ночи и неодолимо надвигающейся старости. Никогда прежде она не встречала более непривлекательных и более недостойных людей, чем ее нынешние соседи по столу. Какая-то женщина с черными бровями разглагольствовала о патриотизме и долге английских туристов единым фронтом защищаться от иностранцев. Другая не переставала изливать тихие жалобы — точь-в-точь как испорченный кран, который постоянно капает и никогда не закрывается как следует. Она жаловалась на еду, на цены, на шум, на облака, на пыль. Она не раскаивается в том, что приехала, говорила она, но вряд ли станет рекомендовать этот отель своим друзьям — таково ее мнение о нем. Мужчин было мало, они высоко котировались, и какой-то молодой человек игриво описывал среди взрывов смеха, как он собирается шокировать местное население.

Мисс Рэби сидела напротив знаменитой фрески — единственного украшения комнаты. Фреску обнаружили во время ремонта, и, хотя она в нескольких местах пострадала, краски были все еще яркие. Синьора Канту приписывала ее то Тициану, то Джотто, заявляя, что содержание ее объяснить невозможно и что многие ученые и художники тщетно пытаются разгадать его. Она говорила так потому, что ей нравилось так говорить. Смысл фрески был совершенно ясен, и синьоре Канту его неоднократно истолковывали. Четыре фигуры на фреске изображали сивилл, пророчествующих о рождении Христа. Каким образом сивиллы эти оказались так высоко в горах, на крайней границе распространения итальянского искусства, было неясно. Так или иначе, они служили неиссякаемой темой для разговоров. Не одно знакомство состоялось здесь, и не один спор был предотвращен благодаря их своевременному присутствию на стене.

— Ну и хитрый вид у этих святых, а? — спросила американская леди, следя за взглядом мисс Рэби.

Отец американки пробурчал что-то о религиозных предрассудках. Это была довольно мрачная пара, недавно вернувшаяся из Святой земли, где их постыдно обманули, в результате чего их религиозному чувству был нанесен ощутимый ущерб. Мисс Рэби ответила довольно резко, что это не святые, а сивиллы.

— Что-то я не припомню сивилл. Ни в Новом завете, ни в Ветхом, — сказала леди.

— Все это выдумки священников, чтобы одурачивать крестьян, — с горечью произнес ее отец. — И церкви у них такие же: фольга вместо золота, хлопок, прикидывающийся шелком, штукатурка, выдающая себя за мрамор. И все их процессии такие же, и все их, — тут он чертыхнулся, — колокольни!

— Папа очень страдает от бессонницы, — сказала леди, слегка наклоняясь вперед. — Представьте себе, каждое утро в шесть часов этот трезвон!

— Да, мэм, вам повезло. Мы покончили с этим!

— С чем? С колокольным звоном? — вскричала мисс Рэби.

Все, находившиеся в комнате, повернулись к ней, выясняя, кто так кричит. Кто-то шепнул, что эта дама — писательница.

Американец заявил, что забрался сюда, на такую высоту, чтобы отдыхать, и что если здесь ему не дадут отдыхать, то он уедет в другое место. Он рассказал, что английские и американские туристы объединились и потребовали, чтобы хозяева гостиниц приняли меры. И это подействовало — поэтому теперь звонят только к поздней обедне, что уже вполне терпимо. Он уверен, что общими усилиями можно всего добиться: по крайней мере со здешними крестьянами они уже добились успеха.

— Чем же крестьяне помешали туристам? — спросила мисс Рэби; ее бросило в жар, она вся дрожала.

— Да тем же самым! Мы приехали сюда отдыхать, и мы будем отдыхать! Каждую неделю они напиваются и горланят свои песни до двух. Так дольше не может продолжаться.

— Да, — сказала мисс Рэби, — кое-кто из них действительно пил. Но зато как они пели!

— Вот именно! До двух! — с возмущением ответил он.

Расстались они, недовольные друг другом. Она предоставила ему разглагольствовать о необходимости нового мирового культа свежего воздуха. Над его головой стояли четыре сивиллы, милые, несмотря на всю их неуклюжесть и грубоватость; каждая предлагала зрителю исписанную табличку, содержащую краткое обещание спасения. Если старые религии в самом деле уже не устраивают человечество, все же мало вероятно, что Америка предложит адекватную замену.

Было еще слишком рано для обещанного визита синьоре Канту. И Элизабет, которая нагрубила мисс Рэби накануне, а теперь весьма утомительно раскбивалась, была мало подходящей собеседницей. Возле гостиницы стояло несколько столиков; за ними сидели женщины и пили пиво. На них бросали тень подстриженные каштаны, а низкая деревянная балюстрада отделяла их от деревенской улицы. На эту балюстраду мисс Рэби и уселась: отсюда ей хорошо видна была колокольня. Критический взгляд мог бы обнаружить множество просчетов в ее архитектуре. Но мисс Рэби смотрела на нее со все возрастающим удовольствием, к которому примешивалась и благодарность.

Подошла официантка — немка — и весьма учтиво предложила мисс Рэби занять более удобное место:

здесь едят низшие классы, не лучше ли перейти в гостиную?

— Спасибо, нет. С каких пор вы разделяете ваших постояльцев по происхождению?

— Уже давно. Иначе нельзя,— любезно ответила та. Она направилась в дом — упитанная, рассудительная особа — еще один признак того, что тевтоны одерживают верх над латинянами в этой оспариваемой ими долине.

Из гостиницы вышла седая дама, прикрывая от солнца глаза и похрустывая свежим номером «Морнинг пост». Она окинула мисс Рэби приветливым взглядом, высморгалась, попросила извинения за то, что вступает в разговор, не будучи представленной, и сказала:

— А вы знаете, что сегодня вечером состоится концерт? Средства от него пойдут на приобретение витража для англиканской церкви. Разрешите предложить вам билеты? Англичанам, как уже говорилось, необходимо иметь нечто, что бы их объединяло.

— В высшей степени необходимо,— сказала мисс Рэби,— но лучше было бы иметь это в Англии.

Седая дама улыбнулась. Потом на лице ее отразилось недоумение. Потом она поняла, что ее оскорбили, и удалилась, шурша газетой.

«Я была груба,— удрученно подумала мисс Рэби,— груба с женщиной, такой же глупой и седой, как я сама. Нет, видно, сегодня мне лучше молчать!»

Жизнь ее складывалась удачно и в целом счастливо. Состояние, которое именуют депрессией и которое открывает перед человеком более широкие, хотя и уныло-серые, горизонты, было ей неведомо. Но в то утро ее мироощущение стало иным. Она шла по деревне, едва замечая горы, по-прежнему окружавшие Вурту, и солнце, неизменно сиявшее над нею. Повсюду она ощущала нечто новое — ту не поддающуюся определению испорченность, которой всегда отличаются места, посещаемые большим количеством людей.

Даже теперь, утром, в воздухе стоял запах мяса и вина, к которому примешивались запахи табака, пыли, лошадиного пота. Экипажи столпились перед церковью, а внизу, под колокольней, женщина сторожила стайку велосипедов. Погода для горных прогулок стояла неподходящая; молодые люди в ярких спортивных костюмах слонялись без дела в ожидании туристов, желающих

нанять гида. Напротив почты разместились две вместительные недорогие гостиницы, а перед ними, прямо на улицу, выплеснулись бесчисленные маленькие столики. И с раннего утра до поздней ночи за ними ели. Туристы, главным образом немцы, поглощали пищу с криками и смехом, обнимая за талию своих жен. Потом, с трудом встав, они цепочкой направлялись осматривать очередную вид, после чего красный флаг извещал их о возможности приступить к следующему приему пищи. Все население Ворты трудилось, вплоть до маленьких девочек, которые навязывали туристам открытки и эдельвейсы: Ворта усердно занималась туристским бизнесом.

У всякой деревни должно быть свое дело, а жители Ворты издавна славились энергией и физической силой. Безвестные и счастливые, они расходовали свои силы на то, чтобы добыть средства к существованию из земли. Труд земледельца наделил их достоинством, добротой и любовью к ближнему. Цивилизация не уменьшила их силы, а лишь направила их в другое русло, и все их бесценные качества, которые могли бы исцелить мир, сошли на нет. Любовь к семье, любовь к своей общине, здоровые сельские добродетели были уничтожены еще прежде, чем достроили колокольню, которая должна была служить их символом. И произошло это не по вине какого-то злодея, а благодаря усилиям леди и джентльменов, добрых и богатых и по большей части здравомыслящих, которые искренно думали, если вообще думали на такую тему, что содействуют процветанию — как нравственному, так и финансовому — всякого места, где им вздумается остановиться. Никогда прежде мисс Рэби не чувствовала себя причиной всеобъемлющего зла. Разбитая и измученная, она вернулась в «Бишоне», вспоминая жестокие, но справедливые слова Писания: «Горе тому, кто являет собой орудие зла!»

Синьора Канту, несколько более возбужденная, чем обычно, лежала в темной комнате на первом этаже. Стены были голые: все красивые вещи перекочевали в комнаты постояльцев, которых она любила, как любит своих подданных добрая королева; стены к тому же были грязные, потому что это была ее собственная комната. Однако ни в одном дворце не было такого великолепного потолка: с деревянных балок свешивалось целое семейство медных сосудов — ведра, котлы, кастрюли — всех оттенков, от глянцевого-черного до

нежно-розового. Старая хозяйка любила смотреть вверх на эти знаки процветания. Недавно одна американка долго уговаривала ее продать медную посуду, но так и ушла ни с чем, скорее озадаченная, чем рассерженная.

Между синьорой Канту и мисс Рэби было мало общего. Синьора Канту была убежденной аристократкой. Будь она какой-нибудь знатной дамой и живи в великую историческую эпоху, она тотчас оказалась бы на гильотине, а мисс Рэби приветствовала бы ее казнь одобрительными возгласами. Теперь же, с редкими волосами, накрученными на папильотки, укрытая своей табачного цвета шалью, синьора Канту встретила выдающуюся писательницу рассказами о других выдающихся людях, которые останавливались в «Бишоне», а возможно, и в будущем здесь остановятся. Сначала она говорила важным тоном. Но вскоре перешла к деревенским новостям, и тут в словах ее отчетливо зазвучала горечь. Она перечисляла тех, кто умер, с меланхолической гордостью. Состарившись, она любила рассуждать о справедливости Судьбы, которая не пощадила ее ровесников, а зачастую и людей намного моложе. Мисс Рэби не привыкла утешать себя подобным образом. Она тоже старела, но ее бы скорее порадовало, если бы окружающие при этом остались молодыми. Она плохо помнила многих из тех, о ком говорила синьора Канту, но смерть сама по себе символична — ведь гибель цветка часто символизирует конец весны.

Затем синьора Канту перешла к собственным несчастьям, и начала она с рассказа об оползне, разрушившем ее маленькое хозяйство. Оползни в их долине надвигались медленно. Сначала под зеленым дерновым покровом скапливалась вода — так зреет под кожей нарыв. Затем луг на косогоре вздувался, лопался и исторгал из себя медленно текущий поток грязи и камней. Потом уже вся земля казалась пораженной этим недугом: повсюду куски дерна отламывались и наползали друг на друга самым причудливым образом; деревья накренились; сараи и дома рушились; и вся красота постепенно превращалась в бесформенное месиво, сползавшее вниз до тех пор, пока его не подхватывал какой-нибудь стремительный поток.

После этого перешли к обсуждению других несчастий, и мисс Рэби была так угнетена, что даже не

могла выразить свое сочувствие. А синьора Канту все жаловалась: это был скверный сезон; клиенты не желали считаться с гостиничными правилами; прислуга не считалась с клиентами; говорят, нужно нанять консьержа. Но какой от него прок?

— Не знаю,— сказала мисс Рэби, понимая, что никакой консьерж не в состоянии восстановить утраченное благополучие «Бишоне».

— Говорят, он будет встречать дилижанс и ловить клиентов. А какая мне радость от таких постояльцев?

— В других гостиницах так делают,— печально сказала мисс Рэби.

— Вот, вот! Из «Альпийского отеля» к дилижансу ежедневно подходит человек.

Наступило неловкое молчание. До сих пор они избегали упоминать это название.

— Он их всех уводит к себе! — воскликнула синьора Канту, предаваясь бурному гневу.— Мой сын переманивает всех моих клиентов! Он уже захватил всех знатных англичан, богатых американцев и моих старых миланских друзей! Он порочит меня по всей округе, говорит, что у меня неисправна канализация. Хозяева гостиниц из окрестных деревень отказываются рекомендовать мой отель, они передают постояльцев не мне, а ему, потому что он платит им за каждого приезжего по пять процентов. Он платит шоферам, носильщикам, гидам. Он сует деньги даже ребятишкам, чтобы они ругали мою канализацию. Он, и его жена, и его консьерж — они хотят разорить меня, хотят моей гибели!

— Что вы, не говорите таких вещей, синьора Канту! — Мисс Рэби принялась ходить по комнате; по своему обыкновению, она не стремилась гладко выразить свою мысль, заботясь лишь о том, чтобы мысль была точна и правдива. — Постарайтесь простить вашего сына. Вы же не знаете, с чем ему пришлось бороться. Вы не знаете, кто толкнул его на этот путь. Возможно, виноват кто-то другой. Но, кто бы он ни был, простите его.

— Ну разумеется! Разве я не христианка! — вскричала сердитая старая дама.— Все равно ему меня не разорить! Пусть моя гостиница не имеет вида, зато он сам в долгу как в шелку! Придет час, и все дело его лопнет!

— А может быть,— продолжала мисс Рэби,— мир все-таки не столь уж испорчен. Зло, которое мы видим,

по большей части результат мелких ошибок, глупости или тщеславия...

— Я знаю, кто толкнул его на это — его жена и тот проходимец, что служит у них консьержем!

— Ваша манера откровенно высказываться, говорить все начистоту — конечно, превосходна, именно так и нужно... но это может повредить...

Громкий шум на улице прервал их беседу. Мисс Рэби открыла окно, и в комнату ворвалось облако пыли, пропитанной бензином. Проезжавший мимо автомобиль свалил столик. Было пролито много пива и несколько капель крови.

Синьора Канту только раздраженно вздохнула. Вспышка гнева утомила ее, и теперь она лежала с закрытыми глазами, не двигаясь. Две медных кастрюли над ее головой, потревоженные внезапно налетевшим ветерком, мелодично звякнули. Мисс Рэби уже собралась разразиться длинной драматической исповедью — взволнованной мольбой о прощении. Слова чуть было не слетели у нее с языка — они всегда были у нее наготове. Но, взглянув на закрытые глаза синьоры Канту, на эту слабую, страдающую плоть, она поняла, что требовать у нее прощения — непозволительная роскошь.

Ей показалось, что с этой встречей жизнь ее кончилась. Она выполнила все, на что была способна. Она была причиной большого зла. Ей оставалось лишь сложить руки и ждать, пока время поглотит ее уродство и бессилие, как уже поглотило ее красоту и силу. Перед ее глазами возникло славное лицо полковника Лейленда, с которым она могла бы прожить остаток дней, никому не причиняя вреда. Он не будет толкать ее на новые подвиги, да и лучше, что не будет. Как было бы хорошо, если бы ее способности угасли, а бессмысленная работа мозга и языка постепенно замерла. Впервые в жизни ей захотелось стать старой.

Синьора Канту все еще говорила о своей невестке и о консьерже, о вульгарности первой и о неблагодарности второго — ведь много лет назад она сделала ему столько добра, когда он впервые явился сюда из Италии, безродный мальчишка! Теперь он выступает против нее. Так-то он платит за ее доброту!

— А как его зовут? — рассеянно спросила мисс Рэби.

— Фео Джинори,— ответила синьора Канту.— Вряд ли вы помните его. Он обычно носил...

Поток звуков хлынул с новой колокольни; медная посуда отозвалась на них. Мисс Рэби подняла руки, но прикрыла ими не уши, а глаза. В том ослабленном состоянии, в котором она находилась, дрожащая нота колокола странным образом разгорячила ее, и кровь снова заструилась по застывшим венам.

— Я прекрасно помню этого человека,— сказала она наконец,— я должна сегодня же его повидать.

III

Мисс Рэби и Элизабет сидели в гостиной «Альпийского отеля». Они пришли сюда из «Бишоне» навестить полковника Лейленда. Но он, очевидно, отправился к ним, они разминулись, и единственное, что им оставалось,— это ждать, а чтобы оправдать ожидание — немного подкрепиться. Мисс Рэби заказала себе чаю, а Элизабет, как благовоспитанная дама — мороженого. И теперь, улучив момент, когда никто на нее не смотрел, она облизывала ложечку. Младшие официанты убирали с мраморных столиков чашки и стаканы, а золотоголунные служители переставляли плетеные кресла, соединяя их по два-три в соблазнительные группы. Кое-где еще сидели постояльцы, доедая свои блюда; в некрасивой, бросающейся в глаза позе крепко спал русский князь. Однако многие — почти все — уже отправились на короткую предобеденную прогулку, кое-кто ушел играть в теннис, а несколько человек устроились читать под деревьями. Погода стояла великолепная, солнце садилось в такой дали, что солнечный свет словно превратился в нечто одушевленное и придавал новый смысл и новый цвет всему, чего касался. Со своего места мисс Рэби видела глубокие пропасти, над которыми они проезжали вчера; а за ними открывалась Италия — Апрельская долина, Сиенская долина и горы, которые она когда-то окрестила «дикими зверями Юга». Днем горы казались невыразительными, далекими полосками из белого и серого камня. Но заходящее солнце преображало их, и в его лучах они превращались в багровых медведей на фоне южного неба.

— Грех вам сидеть в комнатах, Элизабет! Попробуйте-ка разыскать вашу приятельницу и отправляйтесь вместе на прогулку. Если встретите полковника, скажите ему, что я здесь.

— Что-нибудь еще, мадам? — Элизабет любила свою эксцентрическую госпожу, тем более сейчас, когда на сердце у нее потеплело от мороженого. Про себя она отметила, что мисс Рэби плохо выглядит: видно, любовь у них протекала негладко. Конечно, с мужчинами надо обращаться умело, особенно когда и он, и она — люди пожилые.

— Не давайте денег детям — это вторая просьба.

Постояльцы разошлись, и число служащих заметно уменьшилось. Из заднего холла слышалось негромкое хихиканье двух самых противных созданий в этом отеле: молодой барышни за конторкой и молодого человека в сюртуке, в обязанности которого входило провожать вновь прибывших в их комнаты. К этой паре — правда, соблюдая почтительное расстояние, — присоединилось несколько носильщиков. В конце концов в гостиной остались лишь мисс Рэби, русский князь и консьерж.

Консьерж был опытным, знающим свое дело европейским слугой лет сорока или около того; он бойко изъяснялся на всех языках, а на некоторых — даже хорошо. Он все еще сохранял подвижность, а в былые времена отличался физической силой. Но то ли образ жизни, то ли возраст безжалостно обошлись с его фигурой: в ближайшем будущем ему грозило стать толстяком. Определить выражение его лица было куда труднее. Он был сосредоточен на исполнении своих служебных обязанностей, а в такой момент душа не отражается на лице. Он открывал окна, наполнял спичками коробки, смахивал тряпкой пыль со столиков, не отрывая при этом взгляда от входной двери на случай, если кто-нибудь явится без багажа или попытается уехать, не уплатив. Он нажал кнопку электрического звонка — немедленно появился слуга и унес чайный прибор, стоявший перед мисс Рэби. Нажал другую — и младший служащий отправился подобрать клочки бумаги, упавшие из окна одного из номеров. Затем с возгласом «Простите, мадам!» он поднял носовой платок мисс Рэби и отдал его ей с легким поклоном. Казалось, он ничуть не обижается на нее за ее внезапный отъезд вчера вечером. Вполне вероятно, что чаевые, данные ею, по-

пали как раз в его карман. А может, он и не помнил, что она была здесь накануне.

Жест, с которым он подал ей платок, всколыхнул в ней какие-то смутные воспоминания. Прежде чем она успела поблагодарить его, он уже оказался у дверей, стал к ней вполоборота, так что ей отчетливо был виден его округлый живот. Он разговаривал с молодым человеком крепкого сложения, но весьма мрачного вида, который слонялся под сводами портика.

— Я же назвал вам процент, — услышала она. — Если бы вы сразу согласились, я бы вас рекомендовал. Теперь поздно: гидов у меня полно.

Оказывается наша щедрость распространяется на большее, чем мы предполагаем, число людей. Мы платим кебмену, а кое-что перепадает человеку, подозревавшему кеб. Мы даем чаевые тому, кто освещает при помощи магниевой вспышки сталактитовую пещеру, а часть денег идет лодочнику, привезшему нас туда. Мы платим в ресторане официанту, а из его жалованья тоже кое-что утекает. Огромный механизм, наличие которого мы редко осознаем, контролирует распределение наших затрат. Когда консьерж вернулся, мисс Рэби спросила:

— И какой же процент он вам платит?

Она задала вопрос с явным намерением смутить его, и вовсе не со зла, а потому, что ей хотелось увидеть, какие качества, хотя бы одно, скрываются за его вежливостью и ловкостью. Не интерес исследователя, а скорей эмоциональный порыв заставил ее это сделать.

Будь ее собеседником человек образованный, она бы добилась успеха: отвечая на ее вопрос, он так или иначе проявил бы себя. Но консьерж не стал затруднять себя видимостью логики.

— Да, мадам! Погода великолепная — и для туристов хорошо, и для сена, — ответил он и поспешил к епископу, выбиравшему почтовую открытку.

Мисс Рэби не сделала вывода относительно низменных свойств низших классов, она просто поняла, что потерпела поражение. Она наблюдала за человеком, предлагавшим почтовые открытки, — любезным, но ненавязчивым, проворным, но почтительным. Она заметила, что он заставил епископа купить больше открыток, чем тот намеревался. Да, это был он, тот человек, который когда-то в горах говорил ей о любви. Но теперь его

можно было узнать только по случайным жестам, присущим ему от рождения. Общение с высшими классами породило в нем новые качества — вежливость, находчивость, сдержанность. Причина была все та же: высшие классы несли за это ответственность. Нам неизбежно приходится отвечать друг за друга, что, впрочем, не так уж плохо.

Было бы глупо обвинять Фео в суетности, в вульгарности — он не был в этом виноват. И глупо сожалеть, что он утратил былую стройность и мускулистость: он таков, каков есть, с его неопрятной полнотой, черным завитком у виска, напомаженными усами, подбородком, который двойится и троиится, в котором каждая складка живет сама по себе, как гриб или амеба. Это она, мисс Рэби, почти двадцать лет тому назад, в Англии, изменила и его фигуру, и его личность. Он был одним из продуктов «Вечного мгновенья».

Огромная нежность захлестнула ее — сожаление неискusstного творца, который создал мир и теперь видит, что мир этот дурен. Ей хотелось просить прощения у своих созданий, хотя они и были слишком несовершенны, чтобы одарить ее этой милостью. Страстное желание покаяться, которое она подавила сегодня утром у постели синьоры Канту, вспыхнуло в ней с новой силой — это была почти физическая потребность. Когда епископ ушел, она возобновила разговор, правда, в другом ключе, сказав:

— Да, погода прекрасная. Я только что совершила приятную прогулку — пришла пешком из «Бишоне». Я остановилась там.

Он понял, что ей хочется поболтать, и любезно ответил:

— «Бишоне», должно быть, пришелся вам по вкусу — многие о нем хорошо отзываются. Фреска там великолепная.

Он был весьма неглуп и понимал, что надо проявить немного снисходительности.

— Сколько гостиниц здесь понастроили! — она понизила голос, боясь разбудить князя, чье присутствие как-то странно тяготило ее.

— Очень много, мадам! Когда я был молод... Простите...

На пороге с целой пригоршней монет в руке появилась девочка-американка, очевидно приехавшая сюда

впервые. Она растерянно спросила, что стоят здесь ее центы. Он объяснил и обменял ей деньги. Мисс Рэби не была уверена, что он не обсчитал ее.

— Когда я был молод...— его снова прервали: надо было проводить двух отъезжающих клиентов. Один из них дал ему на чай. Он сказал: «Благодарю вас». Другой ничего не дал. Он повторил: «Благодарю вас», но уже другим тоном. Он все еще не узнавал мисс Рэби.

— Когда я был молод, Ворта была маленьким, захудалым местечком.

— Но прелестным местечком?

— Более чем, мадам!

— Кха! — сказал русский князь, внезапно проснувшись и испугав их. Он нахлобучил на голову фетровую шляпу и с места в карьер помчался гулять. Мисс Рэби и Фео остались одни.

Тогда она, отбросив колебания, решила напомнить ему, что они уже встречались. Весь день она пыталась найти здесь хоть какой-нибудь проблеск жизни. Может быть, ей удастся получить искру, раздуть тот костер, который тлел там, на далеких дорогах прошлого, высоко в горах ее юности. Что будет с Фео, если он тоже увидит этот далекий огонь, она не знала. Но надеялась, что он возродится к жизни, во всяком случае он избежит той мрачной участи, на которую она обрекла и Ворту, и ее жителей. Что будет с нею, пока оба они будут предаваться воспоминаниям,— она не думала.

У нее вряд ли хватило бы решимости, если бы то, что она выстрадала за день, не закалило ее. Когда сердце разрывается от боли, смешно заботиться о приличиях. Ей было трудно преодолеть себя лишь потому, что Фео — мужчина. То, что он консьерж, совершенно ее не трогало. Ей никогда не была присуща та внутренняя сдержанность в обращении с низшими классами, которая столь распространена в наши дни.

— Я уже бывала здесь прежде,— смело начала она.— Я останавливалась в «Бишоне» двадцать лет назад.

На его лице появились какие-то признаки волнения — такое упоминание о «Бишоне» ему явно не понравилось.

— Мне сказали, что я смогу найти вас здесь,— продолжала мисс Рэби.— Я вас очень хорошо помню. Вы сопровождали нас через перевал.

Она внимательно смотрела ему в лицо. Оно расплылось в широкой улыбке. Этого она никак не ожидала.

— Как же! — сказал он, приподымая кепи.— Я прекрасно помню вас, мадам! Как приятно — вы позволите мне так выразиться? — встретить вас снова!

— Мне тоже,— сказала она, глядя на него с недоверием.

— Вы были здесь с другой дамой, не так ли, мадам? Мисс...

— Миссис Харботл.

— Ну конечно же! Я носил ваш багаж. Я часто вспоминал вас: вы были так добры ко мне.

Она подняла на него глаза. Он стоял возле открытого окна, а за его спиной простирался сказочный пейзаж. Она потеряла голову и негромко сказала:

— Надеюсь, вы не поймете меня превратно, если я скажу, что я тоже не забыла, как вы были добры ко мне.

— Это вы были ко мне добры,— ответил он.— Я только исполнял свой долг.

— Долг? — вскричала она.— При чем тут долг?

— Вы и миссис Харботл были так щедры. Я хорошо помню, как я был вам благодарен — вы всегда платили мне сверх положенной суммы.

И тут она поняла, что он начисто позабыл все; позабыл и ее, и то, что тогда произошло между ними, и даже то, каким сам он был в дни молодости.

— Оставьте этот тон, эту вашу учтивость,— сказала она холодно.— Вы забыли об учтивости, когда мы разговаривали в последний раз.

— Искренно сожалею! — воскликнул он, внезапно встревоженный.

— Обернитесь же. Взгляните на горы.

— Да, да!

Его бегающие глаза часто моргали. Рука машинально играла цепочкой от часов, лежавших в карманчике жилета. Он выбежал, чтобы прогнать с террасы несколько бедно одетых ребяташек. Когда он вернулся, она настойчиво продолжала холодным, деловым тоном:

— Я должна напомнить вам кое-что: взгляните на эту гору, которую огибает дорога, ведущая на юг. Взгляните на ее восточный склон — туда, где цветы. Там, там вы однажды дали себе волю.

В глазах его отразился ужас. Он вспомнил. Он был сражен в самое сердце.

Как раз в это мгновенье вошел полковник Лейленд.

Она подошла к нему со словами:

— Вот человек, о котором я вам говорила вчера.

— Добрый день! Какой человек? — встревоженно спросил полковник.

Он увидел ее пылающее лицо и заключил, что кто-то ей нагрубил. А поскольку их отношения носили не совсем обычный характер, он особенно внимательно следил за тем, чтобы к ней проявляли уважение.

— Человек, который влюбился в меня, когда я была молода.

— Это неправда! — закричал несчастный Фео, увидев вдруг расставленную для него ловушку. — Мадам это просто показалось. Клянусь, сэр, я не имел никаких видов. Я был мальчишка. Все это случилось до того, как я научился прилично держать себя... Я думать про это забыл... Это мадам сама напомнила мне, она сама, сама...

— Боже! — сказал полковник Лейленд. — Боже правый!

— Я потеряю место, сэр! А у меня жена, дети... Она погубит меня.

— Довольно! — крикнул полковник Лейленд. — Каковы бы ни были намерения мисс Рэби, она не собирается вас губить!

— Вы меня не так поняли, Фео, — грустно сказала мисс Рэби.

— Как жаль, что мы разминулись, — сказал полковник Лейленд; голос его дрожал, хотя он и пытался говорить небрежным тоном. — Может быть, погуляем перед обедом? Надеюсь, вы побудете здесь?

Она не отвечала. Она смотрела на Фео. Тревога его улеглась, и он явился в новом качестве, еще менее приятном для нее. Плечи его расправились, рот сверкнул неотразимой улыбкой, и, улучив момент, когда она смотрела на него, а полковник Лейленд отвернулся, он подмигнул ей.

Это было отвратительно; пожалуй, самое отвратительное из всего, что ей довелось увидеть в Ворте. Но действие это оказалось незабываемое. Перед нею воскрес точный облик того Фео, которого она знала двадцать лет назад. Она могла теперь припомнить мель-

чайшие подробности его одежды, его волосы, цветы, которые он держал в руках, царапину на его запястье, тяжелый тук, который он сбросил со спины, чтобы говорить с нею как равный. Она слышала его голос, не наглый и не робкий, не угрожающий и не извиняющийся, голос, который уговаривал ее сначала при помощи заученных фраз из учебника, а потом, когда страсть охватила Фео, ставший хриплым и невнятным, моливший ее поверить ему, ответить на его любовь, бежать с ним в Италию, где они будут жить вечно, всегда счастливые, всегда юные... Она вскрикнула, как и положено молодой даме, и, поблагодарив, попросила не оскорблять ее подобными разговорами. И теперь, в зрелые годы, она снова вскрикнула, потому что внезапный шок и контраст открыли ей истину.

— Не воображайте, что я все еще люблю вас! — крикнула она. Но она знала, что только теперь разлюбила его, что случай в горах был одним из лучших мгновений в ее жизни — может быть, самым лучшим; по крайней мере наиболее длящимся; что все это время она, сама того не ведая, черпала из него силу и вдохновение, подобно тому, как деревья черпают силу из подземного источника. Никогда больше не сможет она подумать об этом, как о нелепом и смешном эпизоде своей жизни. В нем было больше реальности, чем во всех последовавших затем годах успеха и разнообразных достижений. При всех ее корректных манерах и светском облике она была влюблена в Фео и никогда она никого не любила так сильно. Этот потерявший голову мальчишка подвел ее к воротам рая, и, хотя она не вошла туда с ним, непреходящее воспоминание об этом сделало жизнь ее терпимой и благополучной.

Полковник Лейленд, стоя возле нее, бормотал какие-то учтивые слова, стараясь сделать вид, что ничего особенного не произошло. Он пытался спасти положение, она ему нравилась, и его задевало за живое, что она так глупо ведет себя. Но последняя фраза, обращенная к Фео, испугала полковника, и он почувствовал, что пора спасаться самому. Они уже были не одни. Барышня за конторкой и молодой джентльмен в сюртуке слушали затаив дыхание, а носильщики открыто посмеивались над замешательством своего шефа. Какая-то дама — француженка — пустила среди постояльцев пикантную новость о том, что один англичанин застал свою

жену с консьержем. На террасе какая-то маменька делала знаки своим дочерям, чтобы они не приближались к гостинице. Епископ не спешил отправляться на прогулку.

Но мисс Рэби ничего этого не замечала.

— Как мало я знала себя! — сказала она. — Ведь я до сегодняшнего дня и не подозревала, что любила этого человека и чуть-чуть не призналась ему в этом.

Она имела обыкновение говорить обо всем открыто, и сейчас она не была охвачена страстью, которая могла бы ее остановить. Она все еще витала мыслями в прошлом, она вглядывалась в него, в тот огонь, что горел высоко в горах, и удивлялась усиливающемуся блеску пламени, впрочем, слишком далекому, чтобы до нее дошел его жар. Высказывая то, что было у нее на душе, она питала жалкую надежду, что окружающие поймут ее. Но это признание показалось полковнику Лейленду необычайно грубым.

— Ах, все эти прекрасные мысли, кажется, мало чего стоят? — продолжала она, обращаясь к Фео, который постепенно терял свой галантный вид и приходил в полную растерянность. — Ими не утетишься в старости. Я бы охотно отдала и мой дар воображения, и умение писать, лишь бы вернуть то мгновенье, лишь бы воскресить хотя бы одного человека из тех, кого я погубила.

— Совершенно верно, мадам, — ответил Фео, не поднимая глаз.

— Ах, если бы встретить человека, способного понять меня, человека, перед кем я смогла бы покаяться! Я была бы гораздо счастливее! Я причинила столько вреда Ворте, дорогой Фео...

Фео взглянул на нее. Полковник Лейленд стукнул тростью по паркетному полу.

— Я и заговорила с вами в надежде, что вы поймете меня. Я помнила, что вы были однажды очень добры ко мне, да, добры — это то самое слово. Но я и вам тоже испортила жизнь — где вам теперь меня понять!

— Я отлично понимаю вас, мадам, — сказал консьерж, который уже оправился и стремился поскорее покончить с этой неприятной сценой, которая подвергла опасности его репутацию и ранила его самолюбие. — Вы ошибаетесь, мадам. Вы не причинили мне никакого вреда. Напротив, вы меня осчастливили.

— Вот именно! — сказал полковник Лейленд. — Совершенно правильный вывод. Всему, что в ней есть, Ворта обязана мисс Рэби.

— Совершенно верно, сэр. После того как роман мисс Рэби увидел свет, к нам приезжают иностранцы, здесь строятся гостиницы и мы богатеем. Кем я был, когда приехал сюда? Неграмотным носильщиком, тащавшим чемоданы через перевалы. Я трудился, не пренебрегая никакими возможностями, был вежлив с клиентами — а теперь? — он вдруг запнулся. — Конечно, я человек маленький. У меня дети, жена...

— Дети! — вскричала мисс Рэби, вдруг узрев путь к спасению. — Так у вас дети?

— Трое мальчишек, — ответил он без особого энтузиазма.

— Сколько младшему?

— Пять, мадам.

— Отдайте мне этого ребенка, — сказала она решительно, — и я воспитаю его. Он будет расти среди богатых людей. Он увидит, что они не такие злодеи, как вам кажется, вечно требующие уважения и почтения к себе и старающиеся подкупить всех деньгами. Богатые люди добры: они способны на жалость и любовь, они любят правду. А в своей среде они умны. Ваш сын узнает это и постарается внушить это вам. А когда он вырастет, если господь будет милостив к нему, он станет учить богатых: он научит их не вести себя так глупо с бедняками. Я сама к этому стремилась, люди покупали мои книги, говорили, что они хороши, и с улыбкой ставили их на полку. Но я знаю твердо: пока на свете существует глупость, наши благотворительные учреждения, миссии, школы, да и вся наша цивилизация ничего не может изменить.

Полковнику Лейленду было мучительно слушать эти фразы. Он попытался увести мисс Рэби.

— Прошу вас... — решительно начал он по-французски, но остановился, вспомнив, что консьерж, должно быть, знает французский язык. Но Фео не обращал внимания ни на него, ни на пророчества дамы: он соображал, удастся ли ему уговорить жену расстаться с малышом, а если удастся, сколько они могут запросить с мисс Рэби, чтобы ее не спугнуть.

— Я буду чувствовать, что искупила свою вину, — продолжала она, — если из места, которому я причини-

ла столько зла, принесу в мир что-то доброе. Я устала от воспоминаний, пусть даже очень приятных. Сделайте мне еще один подарок, Фео: отдайте мне вашего ребенка. Вам никогда не понять меня — с этим ничего не поделаешь. Я очень изменилась с тех пор, как мы знали друг друга, вы также изменились — из-за меня. Мы оба — другие люди. Не забывайте об этом. Но прежде чем мы расстанемся, я хочу задать вам вопрос и не вижу причины, почему бы вам на него не ответить, Фео! Слушайте, пожалуйста!

— Прошу прощения, мадам! — сказал консьерж, отрываясь от своих размышлений. — Что вам угодно?

— Ответьте только «да» или «нет». Помните тот день, когда вы сказали, что любите меня? Это была правда?

Вряд ли он мог ей ответить; вряд ли он вообще помнил этот день. Но он даже не попытался вспомнить. Ему было ясно одно — эта некрасивая, увядшая, стареющая женщина может испортить его репутацию и нарушить его семейный покой. Он спрятался за полковника и, запинаясь, произнес:

— Мадам, простите меня, но я бы предпочел, чтобы вы не встречались с моей женой. Она такая несдержанная. Вы очень добры к моему малышу... Но, мадам, жена никогда не разрешит мне отдать его вам.

— Вы оскорбляете даму! — закричал полковник Лейленд, замахиваясь тростью. Из холла послышались вопли ужаса и любопытства. Кто-то побежал за администратором.

Мисс Рэби удержала полковника, заявив:

— Он не считает меня дамой.

Она посмотрела на растрепанного Фео, толстого, потного, непривлекательного, и печально улыбнулась не его, а собственной глупости. С ним было бесполезно говорить; ее слова лишили его расторопности и вежливости, и от него уже почти ничего не осталось. Он был ужасно похож на испуганного кролика.

«Бедный, — подумала она, — я его только напугала. Жаль, что он не отдал мне сына. Жаль, что не ответил на мой вопрос, хотя бы из жалости. Он не понимает, чем я живу».

Она посмотрела на полковника Лейленда и вдруг обнаружил, что он тоже испуган. Это было ей свойствен-

но — замечать только своего собеседника и забывать об остальных.

— Я вас огорчила. Какая я глупая! — сказала она.

— Теперь поздно думать обо мне, — мрачно ответил полковник.

Она вспомнила их вчерашний разговор и вдруг поняла его. Но не почувствовала ни желания объяснить свои поступки, ни ласковой жалости. Перед ней стоял мужчина, выросший и воспитанный в добропорядочной семье, которому были предоставлены все условия и который считал себя проницательным, образованным человеком, знатоком человеческой природы. А оказался он на одном уровне с человеком, у которого не было никаких условий, бедным и ставшим вульгарным, человеком, чьи природные добродетели были уничтожены жизненными обстоятельствами, чьи мужественность и безыскусственность были погублены обслуживанием богатых людей. Если полковник Лейленд верит, что она все еще влюблена в Фео, что ж, она не станет трудиться и разубеждать его. А если б даже и попыталась, все равно это было бы бесполезно.

Из темнеющей долины раздался первый мощный звук колокола с новой колокольни, и мисс Рэби в порыве любви повернулась в ту сторону, откуда он несся. Но в тот день ей суждено было утратить последние надежды. Звук колокола вызвал в Фео желание начать разговор, и, когда в горах стихло эхо, он сказал:

— Подумайте, сэр, какая неприятность! Один турист отправился сегодня утром поглядеть на нашу замечательную колокольню и обнаружил под ней оползень. Он говорит, что колокольня скоро рухнет. Хорошо, что не на нас.

Его речь достигла цели. Бурная сцена оборвалась внезапно и завершилась мирным образом. Прежде чем кто-либо из присутствующих успел опомниться, мисс Рэби взяла свой путеводитель и незаметно ушла, не сделав даже трагического жеста на прощанье. В этот миг полного поражения она увидела себя как бы со стороны и поняла, что прожила достойную жизнь. Поняла, что сумела подняться над земными, обыденными событиями и фактами, и почувствовала радость — трезвую, почти не человеческую радость, которую никто, кроме нее самой, никогда не смог бы оценить. Она взглянула с террасы на гибнущую, тленную красоту долины и, хотя

она по-прежнему любила ее, долина эта показалась ей бесконечно далекой, словно расположенной на дальней звезде. Если б в этот миг какой-нибудь добрый человек позвал ее обратно в гостиницу, она бы не вернулась. «Наверно, это старость,— подумала она,— и не так уж она страшна».

Но ее никто не окликнул. Полковнику Лейленду хотелось позвать ее,— он знал, как она несчастна. Но она нанесла ему жестокий удар — она обнажила свои мысли и чувства перед человеком другого класса. Тем самым она унизила не только себя самое, но и его, и всех людей их круга. Благодаря ей они предстали во всей наготе перед чужаком.

В гостиницу возвращались постояльцы — переодеться к обеду и для концерта. Из холла высыпала толпа возбужденных слуг и заполнила гостиную, словно оперные хористы — сцену. Они возвестили о том, что приближается администратор. Уже невозможно было сделать вид, что ничего не произошло. Скандал грозил разрастись, и нужно было во что бы то ни стало смягчить его.

Хоть полковник Лейленд не любил прикасаться к людям, он взял Фео за локоть и быстрым движением приложил свой палец ко лбу.

— Ну да, сэр,— прошептал консьерж,— конечно, мы понимаем... о, благодарю вас, сэр, благодарю вас, очень вам благодарен!

ЭССЕ

ЗАМЕТКИ ОБ АНГЛИЙСКОМ ХАРАКТЕРЕ

ЗАМЕТКА ПЕРВАЯ

Шила в мешке не утаишь, и я лучше сразу скажу, что, по моему личному мнению, английский характер в своей основе буржуазен. Это обусловлено всей нашей историей: начиная с конца XVIII века средняя буржуазия была и есть у нас господствующая сила общества. Промышленная революция дала ей в руки богатство, реформа избирательной системы 1832 года — политическую власть; средняя буржуазия помогла возникнуть и сформироваться Британской империи, ей же обязана существованием литература XIX века. Трезвый ум, осторожность, деловитость, добропорядочность. Отсутствие воображения, лицемерие. Эти качества характеризуют среднюю буржуазию любой страны, но в Англии они сделались национальными чертами, потому что только в Англии средние классы стояли у власти в течение полутора столетия. Наполеон со свойственной ему грубостью называл нас нацией лавочников. Мы предпочитаем называть себя великой коммерческой нацией — это звучит достойнее, хотя означает то же. Понятно, в Англии есть и другие классы: аристократия, беднота. Но глаз критика останавливается у нас на буржуазии, как в России — на бедноте, а в Японии — на аристократах. Символ России — крестьянин или фабричный рабочий, Японии — самурай. Национальный символ Англии — мистер Буль в цилиндре и в отличном костюме, с солидным брюшком и солидным счетом в банке. Пусть святой Георгий гарцует на стягах и в речах политических деятелей, земными благами нас снабжает Джон Буль. И даже святой Георгий — если Гиббон не ошибается — щеголял некогда в цилиндре: он был армейским подрядчиком и поставлял весьма неважный бекон. В конечном итоге один стоит другого.

ЗАМЕТКА ВТОРАЯ

Точно так же, как Англия зиждется на средней буржуазии, сама средняя буржуазия зиждется на системе закрытых школ. Это редкое учреждение встречается только в Англии. Оно существует даже не во всех частях Британских островов. Оно неизвестно в Ирландии, почти неизвестно в Шотландии (страны, которых я не касаюсь в своем очерке), и, хотя оно, возможно, породило другие замечательные учреждения — такие, например, как колледж в Алигархе (Индия) и некоторые школы в Соединенных Штатах, — оно остается единственным в своем роде, потому что его создала английская средняя буржуазия, и оно процветает только там, где процветает она. Закрытая школа идеально отражает ее характер — куда лучше, чем университет, где нет такого социального и духовного единства. Совместная жизнь под одной крышей, обязательное участие в спортивных состязаниях, надзор старших учеников над младшими и прислуживание младших старшим, роль, которую играет там хороший тон и *esprit de corps*¹, — все это создало тип людей, общественная значимость которых велика даже независимо от их количества.

Выйдя из закрытой школы, юноша или сразу же начинает работать — идет в армию или коммерцию, переезжает в другую страну, — или поступает в университет и после трех-четырех лет учения получает какую-нибудь профессию: становится юристом, врачом, государственным служащим, учителем или журналистом. (Если не делается по несчастной случайности работником физического труда или человеком свободной профессии). Какую бы он ни избрал карьеру, образование или отсутствие оно оказывает свое воздействие. Воспоминания о школе тоже влияют на него. Школьные дни запечатлелись в его сердце как самое счастливое время. Многие англичане с сожалением вспоминают о той золотой поре, когда жизнь была проста, хоть и сурова; когда они трудились вместе, играли вместе, думали вместе — если они вообще думали; когда их учили, что школа — это мир в миниатюре, и они верили: тот, кто не любит школу, неспособен любить родину. И они стараются по мере своих сил продлить это время, вступая в Общество бывших учени-

¹ Сословный дух (франц.).

ков. Сказать по правде, многие из них так до конца своих дней и остаются бывшими учениками и ничем больше. Все хорошее они приписывают школе. Они боготворят ее. Они цитируют фразу о том, что «битва при Ватерлоо была выиграна на спортивном поле Итона». Для них неважно, что это не соответствует историческим фактам и герцог Веллингтон никогда не произносил этих слов, неважно даже, что герцог Веллингтон был ирландцем. Они продолжают цитировать ее, так как она точно передает их чувства; а если герцог и не произносил этих слов, ему следовало их произнести; если он не был англичанином, ему следовало им быть. И вот они выходят в мир, состоящий не из одних лишь выпускников закрытых школ и даже не из одних англосаксов, где люди различны, как ракушки на морском дне, в мир, о богатстве, разнообразии и сложности которого они не имеют представления. Они выходят в этот мир с прекрасно развитым телом, достаточно развитым умом и совершенно неразвитым сердцем. Из-за этой-то сердечной незрелости англичанам так трудно приходится за границей. Незрелое сердце не значит холодное сердце. Это весьма существенная разница, и на ней основывается моя следующая заметка.

Не в том дело, что англичанин не умеет чувствовать, нет, — а в том, что он боится дать волю чувствам. Его учили в школе, что проявлять чувства — неприлично, это дурной тон. Не следует выражать большую радость или глубокую печаль, не следует даже, когда говоришь, слишком широко открывать рот, — как бы трубка не вывалилась. Надо сдерживать свои чувства, и если уж обнаруживать их, так только в особых случаях.

Однажды (это вымышленная история) я отправился на недельку на континент вместе со своим другом индийцем. Мы прекрасно провели время и были опечалены, когда настала пора расставаться, но вели мы себя при этом по-разному. Мой друг впал в отчаяние. Ему казалось: раз нашей поездке конец — конец всему счастью на свете. Он не знал удержу в своей горе. А во мне громким голосом заговорил англичанин: мы же вновь встретимся через месяц-другой, а пока можем переписываться, если будет о чем. Поэтому я не видел особых причин волноваться. Не на век же мы расстаемся, и никто из нас не умер. «Не вешай носа, — просил я его, — ну же, приободришься». Но он не внимал моим словам, и я оставил его погруженным в печаль.

Конец этой истории еще поучительнее и проливает яркий свет на английский характер. Когда мы увиделись через месяц, я сразу принялся бранить моего друга. Я сказал, что неразумно испытывать и выказывать столько чувств по такому пустячному поводу, что одно несоизмеримо другому. Слово «несоизмеримо» рассердило его. «Как,— вскричал он,— ты отмериваешь чувства, как картофель?!» Мне не понравилось это сравнение, но, подумав немного, я сказал: «Да, и более того, я считаю, что так и следует. Крупная неприятность должна вызывать у нас сильное чувство, мелкая неприятность — слабое. Чувства должны быть соизмерены вызвавшим их причинам. Может быть, это и значит отмерять их, как картофель, но это все же лучше, чем выплескивать их, как воду из ведра, — то самое, что делаешь ты». Это сравнение не понравилось моему другу. «Если ты держишься такого взгляда,— воскликнул он,— нам лучше навсегда расстаться!» — и выбежал из комнаты. Но тут же вернулся и добавил: «У тебя совершенно неправильный подход. Чувства не измеряются. Важно одно — их искренность. Я был в отчаянии и не утаил этого. А стоило мне впасть в отчаяние или нет — совсем другой вопрос».

Его слова произвели на меня впечатление. И все же я не мог с ним согласиться и сказал, что не меньше, чем он, ценю искренние чувства, но проявляю их иначе. Если я буду расточать их по пустякам, боюсь, у меня ничего не останется для серьезных случаев, и в самый критический момент я окажусь банкротом. Обратите внимание на слово «банкрот». Я говорил как типичный представитель расчетливой буржуазной нации, для которого главное — не стать несостоятельным должником. Мой друг, в свою очередь, говорил как типичный житель Востока, где существуют совсем иные традиции, — не буржуазная расчетливость, а царская расточительность и щедрость. Жителям Востока кажется, что их ресурсы неисчерпаемы, а Джон Буль знает, что им есть предел. Если иметь в виду материальные ресурсы, то жители Востока, конечно, неразумны. Деньги могут иссякнуть. Если мы истратим или отдадим все свои деньги, у нас ничего не останется и нам придется мириться с последствиями, которые часто весьма неприятны. Но что до ресурсов духа, тут они правы. Чем сильнее мы изливаем свои чувства, тем их становится больше.

Делить богатство — значит, стать бедней,
Делить любовь — не расставаться с ней¹, —

сказал Шелли. Он-то верил, что сокровищница духа никогда не иссякнет, что выражать и горе, и радость нужно бурно, страстно, всегда, что нет предела остроте наших чувств.

В этой истории я выступил в роли типичного англичанина. Я спущусь сейчас с этих не совсем привычных для меня головокружительных высот и вернусь к своим заметкам.

ЗАМЕТКА О МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ АНГЛИЧАН

Англичанин выглядит холодным и бесчувственным, а на самом деле он просто медлителен. Когда происходит какое-нибудь событие, он достаточно быстро схватывает его рассудком, но ему требуется время, чтобы оно дошло до его чувств. Однажды по дороге в Альпах ехал дилижанс; среди пассажиров были и англичане, и французы. Вдруг лошади понесли, и, когда дилижанс мчался по мосту через пропасть, он зацепился за каменный парапет, закачался и чуть не рухнул вниз. Французы обезумели от страха: они кричали, жестикулировали, пытались выскочить из кареты — словом, вели себя как истинные французы. Англичане сидели совершенно спокойно. Но когда через час дилижанс подъехал к гостинице, чтобы сменить лошадей, картина изменилась. Французы, забыв о миновавшей угрозе, весело болтали, а до англичан она только сейчас стала доходить: у одного из них сделался нервный припадок, и он был вынужден лечь в постель. Это пример чисто физиологического различия между двумя нациями — различия, которое проявляется и в их характере: французы реагировали сразу, англичане — через какое-то время. Они медлительны и практичны. Инстинкт подсказал им, что разумнее сидеть спокойно, — если они попробуют выскочить из дилижанса, он скорей перевернется. Сыграло роль удивительное свойство — умение оценить фактическое положение вещей. Мы увидим это еще не раз. Когда происходит несчастье, инстинкт заставляет англи-

¹ Перевод С. Сухарева.

чанина сперва сделать все, что можно, а уж потом давать волю чувствам. Поэтому англичане великолепно ведут себя в критической обстановке. Они, бесспорно, храбры, никто не станет этого отрицать, но храбрость во многом зависит от нервов, и нервная система англичан прекрасно приспособлена к непредвиденным случаям. Англичанин действует быстро, а чувствует медленно. Это очень выгодное сочетание, и тем, кому оно присуще, недалеко до настоящей храбрости. Вот когда дело сделано, англичанин позволит себе проявить чувства.

У меня есть еще одно соображение — самое главное из всех. Если англичане по природе холодны, как же вышло, что они дали миру великую литературу и прежде всего — великую поэзию? Если судить по прозе, английская литература стоит не в самых первых рядах. Но ее поэзия поднимается до уровня персидской, французской и греческой. Англичан считают непоэтичными. Как же так? Нация, давшая елизаветинскую драму и поэтов «Озерной школы», не может быть холодной и непоэтичной. Нельзя высечь огонь изо льда. Литература всегда отражает национальный характер; вероятно, в природе англичан таится огонь, раз он вырывается наружу. Отзывчивость, романтичность, воображение, которые мы ищем у отдельных англичан — и слишком часто напрасно, — должно быть, существуют в нации как едином целом. Откуда иначе такая яркая вспышка национальной поэзии? Незрелое сердце — да, но не холодное.

Беда в том, что природу англичан не так-то легко понять. На вид они — сама простота; и хотят казаться простыми, но чем ближе с ними знакомишься, тем труднее их разгадать. Толкуют о загадочном Востоке. Запад не менее загадочен. В природе англичан есть глубины, которые не обнаружишь с первого взгляда. Мы знаем, каким представляется море на расстоянии: оно одноцветное, ровное и непохоже, что в нем есть жизнь. Но всмотритесь в воду с борта лодки, и вы увидите множество цветов и оттенков, и рыбу, плавающую на разной глубине. Английский характер, как море, — внешне он ровен и невозмутим. Разные цвета и оттенки — английский романтизм и тонкость восприятия. Мы не ожидаем встретить у них эти качества, но они есть. А рыба — если продолжить мою метафору — эмоции англичан, стремящиеся подняться на поверхность, но не знающие как. По большей части мы видим их далеко вни-

зу — неясные тени, искаженные расстоянием. Время от времени им удается всплыть наверх, и мы восклицаем: «Как? Оказывается, англичанин способен чувствовать?!» А изредка мы видим летучую рыбу, когда эта красавица взмывает в воздух, на солнечный свет. Английская литература и есть эта летучая рыба. Она дает нам представление о той жизни, что идет изо дня в день под поверхностью воды, она доказывает, что в соленых негостеприимных глубинах «моря» существуют эмоции и красота.

А теперь вернемся обратно на сушу. Нашим следующим отправным пунктом будет отношение англичанина к критике. Критика его ничуть не тревожит. Он выслушивает ее или нет, смотря по обстоятельствам, и оставляет без внимания, говоря: «Этот тип просто мне завидует», или: «Чего еще ждать от Бернарда Шоу? Его «штучки» меня не трогают». Ему не приходит на ум, что «тип», даже если и завидует ему, все же прав, и было бы не вредно прислушаться к его замечаниям — это пошло бы на пользу. Самосовершенствование для англичанина пустой звук, его довольство собой безгранично. Другие нации, восточные и европейские, тревожит мысль, что у них есть кое-какие недостатки. Отсюда их нелюбовь к критике, — она их задевает. Их резкие ответы часто скрывают намерение стать лучше. С англичанином дело обстоит иначе. У него не возникает никаких тревожных мыслей. Критики «гавкают», — пусть их... А что касается «терпимости и чувства юмора», с которыми англичане якобы относятся к критике, то какая же это терпимость? — просто безразличие, какое же чувство юмора? — просто глумливый смех.

Перелистайте «Панч». Вы не найдете в нашем национальном шутнике ни остроумия, ни иронии, ни сатиры — только смешки respectableного отца семейства, которому доступно лишь то, что похоже на него самого. Неделя за неделей под присмотром мистера Панча наездник падает с лошади, полковник, играя в гольф, бьет мимо мяча, девочка путает слова молитвы. Неделя за неделей дамы приподнимают — не слишком высоко — свои юбки, иностранцы подвергаются осмеянию, оригинальность — осуждению. Неделя за неделей каменщик работает меньше, а футурист малюет больше, чем следует. Все так добродушно, так пристойно. Считается также, что это смешно. А на самом деле «Панч» — яркий пример нашего отношения к критике: англичанин-

филистер с улыбкой на чисто выбритом лице любит сам собой, и дела ему нет до всего остального человечества. Если на этих серых страницах ему случайно попадается что-нибудь действительно смешное — рисунок Макса Бирбома, например, — его улыбка тотчас исчезнет, он подумает: «Этот тип спятил», — и перевернет листок.

Это своеобразное отношение англичан к критике говорит об их толстокожести и порождает более серьезное обвинение: может быть, англичанин вообще безразличен к вопросам духа? Давайте взглянем на его религию — не на догматы, они не заслуживают рассмотрения, а на то, как его вера в неведомое влияет на его каждодневную жизнь. Мы обнаруживаем тот же практический подход. Однако здесь на первый план выступает врожденная добропорядочность англичанина: он думает не столько о себе, сколько о других. Его цель — достойное поведение. Он просит у своей религии, чтобы она сделала его лучше в повседневной жизни, более отзывчивым, более милосердным, более справедливым, противником зла и защитником добра. Это похвальная позиция. В ней проявляется духовная сущность англичан. Однако — и это, по-моему, типично для всей нашей нации — здесь лишь половина того, что заложено в религиозной идее. Религия больше, чем моральный кодекс, санкционированный небом. Это также путь, который ведет человека к непосредственному соприкосновению с богом, и, судя по истории, тут англичане мало преуспели. У нас не было целой кучи пророков, как у иудеев и мусульман. У нас не было даже Жанны д'Арк или Савонаролы. У нас на счету всего несколько святых. В Германии реформация была порождена страстной убежденностью Лютера, в Англии — дворцовыми интригами. Неизменное благочестие, твердая решимость вести себя благопристойно — в меру своих способностей и возможностей — вот все, что есть у нас за душой.

Это тоже немало. Это снимает с нас обвинение в бездуховности. Не стоит так уж нажимать на контраст между духовностью Востока и материалистичностью Запада. Внешность часто обманчива. Запад тоже исповедует свою веру, только проявляется это не в постах и видениях, не в пророческом экстазе, а в обыденной жизни, в каждодневных делах. Несовершенное проявление, скажете вы? Согласен. Но в основе моих разрозненных заметок как раз и лежит тезис о том, что англи-

чанин — несовершенный индивид. Не холодный, не бездуховный, а незрелый, несовершенный.

Отношение среднего правоверного англичанина к религии часто понимают неправильно. Считают, будто он должен знать, что тот или иной догмат — скажем, догмат триединства — ложен. Мусульманам, в частности, кажется, что англиканская вера — бесчестный компромисс между политеизмом и монотеизмом. Ответ на это один: средний правоверный англичанин не теолог. Для него триединство — недоступная его пониманию тайна. «В моей жизни, — скажет он, — и без того забот хватает. Что касается триединства, то я унаследовал этот догмат от своих родителей и прародителей, которых я уважаю, и передам его своим сынам и внукам, которые, надеюсь, также будут меня уважать. Конечно же, догмат этот истинен, иначе зачем же бы стали передавать его из поколения в поколение. Если бы я попросил пастора, он бы мне объяснил его суть, но пастор, как и я, занятой человек, я не стану его утруждать».

Такой ответ говорит о путанице в мыслях, если хотите, но не о сознательном обмане, — он чужд английской натуре. Англичанин обманывает, как правило, бессознательно.

Я намекнул в самом начале, что англичане иногда лицемерят, и теперь должен подробнее остановиться на этом печальном предмете. Лицемерие — основное обвинение, которое нам предъявляют. Немцев винят в неучтивости, испанцев — в жестокости, американцев — в легкомыслии и так далее, а мы — вероломный Альбион, остров лицемеров, людей, построивших свою империю с Библией в одной руке, револьвером — в другой и концессиями в обоих карманах. Справедливо ли это обвинение? Думаю, что да, но, предъявляя его, надо ясно представлять, что вы понимаете под лицемерием. Сознательный обман? В этом англичане, в общем-то, неповинны. Они мало похожи на злодеев эпохи Возрождения. Бессознательный обман? Путаница в мыслях? В этом, я полагаю, они виновны. Когда англичанин совершает дурной поступок, он обычно сначала запутывает самого себя. Воспитание в закрытой школе не способствует ясности ума, и англичанину в высшей степени свойственно сбивать себя с толку. Мы познакомились с тем, как это свойство проявляется в отношении к религии. А как оно проявляется в отношении к ближнему?

Вам, возможно, покажется странным, что я прибегаю к свидетельству Джейн Остин, но Джейн Остин удивительно умеет, в пределах своего мирка, проникать в душу англичан. Пусть сфера ее интересов ограничена, пусть грехи ее героев всего лишь грешки,— когда дело касается поведения людей, она видит их насквозь. Первые главы ее романа «Разум и чувство» дают нам классический пример того, как двое англичан совершают ряд дурных поступков, предварительно совершенно запутав себя. Умирает старый мистер Дэшвуд. Он был дважды женат. От первого брака у него есть сын Джон. От второго — три дочери. Сын богат, молодые девицы и их мать — она пережила мужа — остаются без средств к существованию. Мистер Дэшвуд призывает сына к своему смертному одру и закликает всем, что есть святого на свете, позаботиться о его второй семье. Молодой человек растроган. Он обещает отцу выполнить его просьбу и решает, что даст каждой из сестер по тысяче фунтов. И тут начинается комедия. Он говорит о своем великодушном решении жене, и миссис Джон Дэшвуд вовсе не одобряет его намерения лишить их маленького сына такой крупной суммы. Соответственно тысяча фунтов сокращается до пятисот. Но и это кажется им многовато. Быть может, пожизненная рента мачехе не сделает такой большой брешы в их капитале? Да, не брешь, зато течь, через которую будут сочиться их деньги, ведь «она крепкая и здоровая, ей едва перевалило за сорок». Куда лучше дарить ей время от времени пятьдесят фунтов, «так я с лихвой выполню обещание, которое дал отцу». А еще лучше посылать ей изредка рыбу. Кончается тем, что он не делает ничего; четверем обездоленным женщинам даже не помогают перевезти мебель.

Вы скажете, что мистер и миссис Дэшвуд лицемеры. Смотря что понимать под этим словом. Молодой человек не заметил, как зло в его душе постепенно набрало силу и взяло верх над добром. И даже жена — хотя она еще менее привлекательна, чем муж, — во власти самообмана. Возможно, думает она, старый мистер Дэшвуд выжил из ума перед смертью. Она заботится о своем сыне... но матери естественно заботиться о ребенке. Она до такой степени сбила себя с толку, что отказывает несчастным женщинам в деньгах, которые позволили бы им держать экипаж, и тут же, не переводя дыхания, говорит, что раз они не будут держать экипаж, им и не

понадобятся деньги. Без сомнения, в других странах мужчины и женщины также способны сбить себя с толку, но мне кажется, что состояние ума мистера и миссис Дэшвуд типично именно для англичан. Они медлительны: даже на то, чтобы причинить зло, им нужно время; в других странах зло наносят куда быстрее.

У каждой нации есть свои пороки и свои болезни, между ними, пожалуй, можно провести параллель. Неудивительно, что в Англии самые распространенные болезни — рак и туберкулез, медленные, коварные, маскирующиеся под что-то другое, а на юге куда чаще болеют чумой и холерой, которые поражают пышущего здоровьем человека и за несколько часов сводят его в могилу. Мистер и миссис Дэшвуд больны туберкулезом души. Они чахнут постепенно, не понимая, в чем их болезнь. В их поступках нет ничего драматического, они не прибегают к насилию. Злодеями их не назовешь.

Здесь будет уместно взглянуть на некоторые другие обвинения, выдвинутые против английской нации. Англичан, в частности, обвиняют в жестокости, вероломстве и фанатизме. Нарекания эти всегда казались мне пустыми. Жестокость и вероломство преднамеренны. Человек знает, что поступает дурно, но это не останавливает его. Таков Тартюф, таков Яго. Вероломный человек предает друга, потому что хочет его предать. Жестокий — пытает своих пленников, потому что предпочитает зло добру. В подобных злодействах средний англичанин неповинен. Его характер, не позволяющий ему подняться до определенных высот, не позволяет ему и пасть так низко. Мы не даем миру мистиков, зато не даем и злодеев, не даем пророков, но не даем анархистов и фанатиков как в религии, так и в политике.

Конечно, в Англии тоже есть жестокие и вероломные люди — достаточно заглянуть в зал суда; и можно вспомнить поступки, покрывшие позором всю нацию, например, Амритсарскую бойню. Но ведь душу нации не ищут на скамье подсудимых или в отрядах карателей, и чем ближе знакомишься с англичанами, тем лучше видишь, что в целом эти обвинения беспочвенны. Однако иностранцы их нам предъявляют. Почему? Отчасти потому, что преступные элементы всегда привлекают к себе внимание, отчасти потому, что иностранцев раздражают некоторые черты, действительно присущие английскому характеру, и они добавляют к ним еще и жестокость,

надеясь все этим объяснить. Моральное негодование приятно, но чаще всего направлено не по адресу. Им тешатся и англичане, и те, кто критикует англичан. И для тех, и для других это забава. Жаль только, что, пока они так забавляются, мир не становится ни умнее, ни лучше.

Главная мысль, проходящая через все эти заметки, заключается в том, что английский характер далек от совершенства. Нет ни одной нации, характер которой был бы совершенен. Одни черты и качества мы находим в одних краях, другие — в других. Но изъяны английского характера особенно раздражают иностранцев. С виду англичанин замкнут, самодоволен и черств. В глубине, под поверхностью, у него нет недостатка в чувствах, но они остаются под спудом, не находят себе применения; нет недостатка и в умственной энергии, но она чаще применяется, чтобы утвердить его в предрассудках, а не искоренить их. При таком оснащении англичанин не может быть популярен. Однако я повторяю: его нельзя упрекнуть в серьезных пороках и настоящей холодности. Просто он не очень удачно устроен, вот и все.

Я надеюсь и верю, что за грядущие двадцать лет произойдут большие перемены, что наш национальный характер станет пусть менее оригинальным, зато более привлекательным. Похоже, что владычество буржуазии подходит к концу. Трудно сейчас сказать, что нового в национальный характер внесут трудящиеся массы, но, во всяком случае, они не обучались в закрытых школах...

Хвалят мои заметки англичан или порицают — не так уж важно. Это наблюдения человека, который хочет добраться до правды и будет благодарен всем, кто ему поможет. Я убежден, что правда — превыше всего, что она восторжествует. Я не вижу смысла в официальной политике недоверия и скрытности. Да, шила в мешке не утаишь, и никакая дипломатия тут не поможет. Нации во что бы то ни стало должны понять друг друга, и побыстрее, без посредничества и вмешательства правительств, потому что планета наша становится все меньше и меньше и бросает нации в объятия друг друга. Чтобы помочь их взаимопониманию и написаны эти заметки об английском характере, как он представляется писателю; это моя скромная лепта.

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

Лекция,
прочитанная в Кембриджском университете

Когда мне предложили прочитать этот курс лекций, мысли мои заняты были Вирджинией Вулф, и я попросил позволения говорить о ее творчестве. Говорить, но отнюдь не подводить итоги. Подводить итоги трудно по двум причинам. Первая — сложность и богатство ее творчества. Стоит только отбросить столь простодушно преподнесенную нам Арнолдом Беннеттом легенду о немощной леди из Блумсбери — и мы оказываемся в мире, где глаза разбегаются, хотя он и не пестрит заголовками. Мы вспоминаем о «Волнах» и говорим: «Да, это настоящая Вирджиния Вулф»; вспоминаем о «Рядовом читателе» — но там она совсем другая; потом о «Собственной комнате» или предисловии к книге «Жизнь, как мы ее знаем» — и снова перед нами другая Вирджиния Вулф. Она, как растение, которому предназначена прекрасно возделанная клумба — клумба литературы для избранных, а растение это пустило ростки и пробивается повсюду: из-под гравия на главной аллее и даже из-под каменных плиток на заднем дворе. Все интересовало Вирджинию Вулф, и с годами круг ее интересов только возрастал, она с любопытством всматривалась в жизнь и при всей тонкости чувств была еще и неумемна. Так могу ли я за какой-нибудь час подвести итог всему сделанному ею? В подобных случаях лектора выручает какой-нибудь заголовок: ухватившись за него, как за спасательный круг, он благополучно достигает берега. Посчастливится ли мне сегодня?

К тому же 1941 год вообще неблагоприятен для подведения итогов — это и есть вторая причина. Мягко говоря, мы сейчас не в той форме, чтобы судить о чем бы то ни было. Все мы стоим на Наклонной Башне — название принадлежит Вирджинии Вулф, — даже те, кто причисляет себя к XIX веку, когда земля еще была гори-

зонтальна, а дома стояли прямо. Глядя вниз, мы не можем правильно судить о ландшафте, ибо все сместилось. Нас озадачивают не отдельные вещи; дерево, волна, шляпа, драгоценный камень, лысина почтенного джентльмена выглядит почти так же, как всегда. А вот понять соотношение вещей мы неспособны и потому право на окончательный приговор уступаем другому поколению. У меня нет никакой уверенности в том, что из наших ценностей хоть что-нибудь уцелеет (кое-что из не оцененного нами может дать всходы, но сейчас речь не об этом), вполне возможно, другое поколение отмахнется от Вирджинии Вулф, сочтя ее скучной и ненужной. Но я так не думаю, вы, я полагаю, тоже, и, поскольку слово еще за нами, ничто не мешает мне воздать ей должное с кафедры главного здания Университета, которым она так восхищалась. Она приняла бы эту дань чуть насмешливо: она не без иронии относилась к положению женщин в Университете. «Как! — сказала бы она. — Я в зале Совета Университета? А вы уверены, что это уместно? И вам непременно надо было облачиться в мантии, чтобы поговорить о моих книгах?» Но думаю, ей это было бы приятно. Она любила Кембридж. Я даже тешу себя фантастической мыслью, что, быть может, когда-то ей присудили здесь ученую степень. Искуснице, для которой не составляло труда преобразиться в члена свиты султана Занзибарского или, выкрасив себе лицо черной краской, явиться на дредноут под видом эфиопа, — уже наверное ничего не стоило провести ваших простодушных предшественников и, преклонив здесь колена, поднести ректору прекрасную, хотя и сомнительную, голову Орlando.

А вот как будто и мелькнул спасательный круг. Она любила писать.

Слова эти, которые обычно так мало значат, в применении к ней обретают полновесность. Она любила вбирать в себя краски, звуки, запахи, пропускала их через свое сознание, где они переплетались с ее мыслями и воспоминаниями, а затем снова извлекала их на свет,водя пером по бумаге. После чего начинались высшие радости творчества, ибо эти узоры, начертанные пером на бумаге, были всего лишь прелюдией, чем-то вроде узоров на стене. Надо было их объединить, правильно расположить, тут усилить, там приглушить, надо было создать новые взаимоотношения, начертать новые узоры пером. И из всего этого переплетенья что-то нако-

нец рождалось, что-то единственное и неповторимое. Это что-то — будь то роман, рассказ, эссе, биография или заметка, предназначенная для узкого круга друзей, — могло в случае удачи само быть приравнено к ощущению. Как бы ни было произведение сложно и интеллектуально или нагружено и перегружено фактами, все равно оно оказывалось сродни простым вещам, послужившим для него толчком: звукам, краскам, запахам. И говорить о нем надлежит в тех же выражениях, что и о них. Ибо это не рассказ про что-то, а само по себе что-то. Явственнее всего мы это видим в таких якобы «эстетских» вещах, как «Кью Гарденз» и «Миссис Дэллоуэй», менее явственно в глубокомысленных произведениях вроде «Роджера Фрая», тем не менее все сказанное относится и к ним. Из статьи Р. С. Тревельяна мы знаем, что Вирджиния Вулф пишет «Роджера Фрая», следуя канонам музыкального произведения: в первой главе намечаются темы, в последующих они развиваются, каждая отдельно, чтобы потом снова прозвучать в финале. Перед нами, вне всякого сомнения, биография Фрая. Но, кроме биографии, есть там еще что-то, что-то единственное и неповторимое.

Так самозабвенно, как она, умели или хотя бы стремились писать лишь немногие. Большинство писателей пишет с оглядкой на критиков, с оглядкой на гонорары, с оглядкой на подлежащий исправлению мир, и глаза их редко бывают обращены на то дело, которому Вирджиния Вулф отдавала себя целиком, безоглядно. Она не желала рассеивать свое внимание, и обстоятельства ее жизни в сочетании с душевным складом способствовали этому. О деньгах ей не приходилось думать, она располагала достаточными средствами, и, хотя независимый доход не всегда спасает от меркантильности, ей с этой стороны ничего не грозило. О критиках она не думала, пока писала, хотя потом прислушивалась к ним и даже бывала смиренна. И меньше всего Вирджиния Вулф думала об исправлении мира: она позволяла себе не думать об этом на том основании, что мир, по ее мнению, был делом рук мужчин, и она, женщина, не чувствовала себя ответственной за эту бессмыслицу. Довольно своеобразный взгляд на вещи, и я еще к нему вернусь; как бы то ни было, ей он был свойствен, он замыкал круг ее обороны, и, таким образом, ни деньги, ни погоня за славой, ни филантропические соображения не могли Вирджинию Вулф поколебать. Она отличалась такой целе-

устремленностью, какую вряд ли мы встретим в этой стране в ближайшее время, да и вообще писатели, которые так любили бы писать, были редкостью во все времена.

Теперь легко представить себе, какая ожидала ее западня — храм искусств, иными словами — бездна скуки, которая подделывается под храм с галереями и куполами, а в сущности, ужасающая дыра, куда беспечному эстету ничего не стоит кувырнуться, и поминай как звали. Все черты эстета у Вирджинии Вулф как будто в наличии есть: она тщательно отбирает свои впечатления и манипулирует ими; она небольшой мастер по части создания характеров; подчиняет свои книги определенной концепции и не лелеет в душе никакой великой цели. Как же ей удалось избежать расставленной западни и остаться на вольном воздухе, где нам слышны шаги конюха, глухой стук лодок, бой Большого Бена, где можно отведать свежеепеченного хлеба и потрогать георгины?

Разумеется, она обладала чувством юмора, этой панацеей от всех зол, но разгадку все же следует искать глубже. На мой взгляд, спасло ее то, что она любила писать ради удовольствия, шутливо. Ей весело было водить пером, и в самых серьезных ее сочинениях вдруг бьет ключом этот совсем особый творческий восторг. Примером тому может служить небольшое эссе под названием «О болезни». Начинается оно с утверждения, что в литературе мало кто умеет правильно преподнести болезнь (де Куинси и Пруст — исключение), что романисты обращаются с человеческим телом как со стеклянным сосудом, сквозь который просвечивает душа, а это, как известно, противоречит фактам. Подобный тезис можно развивать и развивать, но ей это быстро наскучивает, она начинает резвиться и спустя пять-шесть страниц уже откровенно веселится и забавляется. Она высмеивает любителей навещать больных, рекомендует «Две благородные жизни» Огастеса Хейра в качестве лучшей настольной книги больного и далее в том же духе. А ведь, когда ей было нужно, она умела серьезно писать о болезни — например, в романе «Путешествие вовне», — но здесь, в эссе, посвященном этому предмету, она в порыве веселья забывает о серьезных задачах. Эссе, о котором идет речь, само по себе пустячок, но оно очень показательно для склада ее ума. Литература для нее — это и дело, и вместе с тем веселая игра. Потому ее книги так занимательны, потому она и не угодила в храм

искусств. Нельзя же вступить в храм искусств с намерением там обосноваться, если вас время от времени так и подмывает напраказничать. Об этой возможности лорд Теннисон не подумал. Как вы помните, он считал, что храм очистится только в том случае, если в него вступит все человечество, разом настроившееся на серьезный лад. Вирджиния Вулф нашла более простое и надежное решение.

Разумеется, на этом пути тоже подстерегают опасности — опасности подстерегают повсюду. Вирджиния Вулф вполне могла превратиться в блистательную злоязычицу, разменять свой дар, растратить его по мелочам: у людей, знавших ее в жизни, порой складывалось такое впечатление. Случалось и так, что, намалевав усы на чьем-либо бюсте, она потом забывала, каков он в действительности, и, если к тому же это был бюст современника — скажем, джентльмена в цилиндре или юноши на возвышении, — он мгновенно слетал с пьедестала. Но стоило ей взяться за перо, как вступало в действие контролирующее начало, даже когда она писала безделицы. Вирджиния Вулф полностью владела своим сложным мастерством. И хотя почти все мы умеем писать и серьезно, и шутивно, она, как никто, управляла этими двумя импульсами, заставляя их прищипывать друг друга.

Все вышесказанное является как бы вступлением. А сейчас, по-видимому, уместно будет вспомнить, что именно она написала, и сказать несколько слов о ее эволюции. Она начала писать еще в 1915 году, первая ее книга — «Путешествие вовне» — странный, трагический, вдохновенный роман об английских туристах в какой-то невысказанной южноамериканской гостинице; ее стремление к правде уже присутствует здесь, оно выступает в облики атеизма, ее стремление добраться до сути присутствует тоже — в облики музыки. Книга произвела огромное впечатление на тех немногих, кто ее прочитал. Появившийся вслед за тем роман «Ночь и день» разочаровал их. Этот образчик классического реализма содержал в себе все то, что, на счастье и несчастье, характеризовало английскую прозу на протяжении последних двухсот лет: веру во взаимопонимание людей, вспомогательный юмористический дивертимент, географическую точность, подчеркивание мало-важных социальных различий — словом, почти весь набор литературных приемов, так весело высмеянных ею

в эссе «Мистер Беннетт и миссис Браун». Стиль сгладился и потускнел. Но одновременно с этим Вирджиния Вулф публикует два рассказа — «Кью Гарденз» и «След на стене». В них нет ничего сглаженного, ничего тусклого, — прелестные вещицы; стиль во всем — ходит ли она, разговаривает ли, он тянется за ней, как шлейф, вбирая в свои складки пыль и травинки, и после отчетливости первых ее произведений нам предлагается здесь нечто самое неуловимое из всего когда-либо написанного по-английски. Прелестные вещицы, но, казалось, они никуда не ведут: это были сплошь точки и радужные пузыри, это был вдохновенный лепет, это было божественное дыхание или задыхание, в зависимости от того, как повезет. В своем роде они были совершенны, только и всего: и никто из нас не мог предугадать, что из пыльцы этих цветов произрастут деревья будущего. И когда в 1922 году появилась «Комната Джейкоба», мы были потрясены. Стиль и острота восприятия оставались те же, что и в «Кью Гарденз», но речь шла о человеческих взаимоотношениях, о строе общества. Все так же плывут мимо радужные пузыри, но среди них, нарушая их течение, высится, наподобие запечатанного сосуда, монолитная фигура молодого человека. Случилось невероятное: метод, по самой своей сути поэтический, воздушный, нашел применение в прозе. Вирджиния Вулф еще не до конца оценила его возможности, оттого «Комната Джейкоба» написана неровно; но произведение это знаменует крутой поворот, отход от ложного пути, на который она вступила, написав «Ночь и день», и приводит к полному раскрытию ее таланта, к романам «Миссис Дэллоуэй» (1925), «К маяку» (1927), «Волны» (1931). Эти признанные ее вещи пронизаны, окутаны поэзией. Сюжет «Миссис Дэллоуэй» замкнут одним-единственным летним лондонским днем, в пределах которого раскручиваются две судьбы: судьба обостренно воспринимающей все впечатления светской дамы и судьба чрезвычайно на нее в этом отношении похожего безвестного маньяка; они никак не соприкасаются, вместе с тем тесно связаны, и теряем мы их из виду одновременно. Это умная книга, и говорится в ней о вещах, известных Вирджинии Вулф по опыту. В своих произведениях, как и в жизни, она всегда относилась умно и здраво к проблеме безумия. Она притупила остроту этого недуга, она ввела его в рамки болезни и

лишила злых чар, которыми наша робость и наше недомыслие наделили его. Это ее дар нам, за который мы должны ей быть благодарны. Тем не менее роман «К маяку» — неизмеримо большее достижение, хотя бы потому, что ей удалось здесь главные персонажи: мистер и миссис Рэмзи. Они завладевают нами, мы думаем о них вне их окружения, и при этом они находятся в полном согласии со своим окружением, в согласии с поэтическим замыслом. Роман «К маяку» состоит из трех частей, и по праву эту вещь назвали романом в сонатной форме; его медленная центральная часть, передающая течение времени, невольно рождает аналогии с музыкой. Читая «К маяку», мы испытываем ни с чем не сравнимое наслаждение, которое дает только искусство, живем одновременно в двух мирах: в мире, где маленький мальчик напрасно мечтает попасть на маяк — он попадет туда, но много позже, с совсем другими чувствами, будучи уже молодым человеком; и в мире, подвластном определенной концепции, обретающем особую выразительность оттого, что большей частью пропущен через восприятие Лили Бриско, художницы. И, наконец, «Волны»: в этой книге концепция автора выше всего, она, можно сказать, дана курсивом. Под мерное движение солнца и вод, которое служит как бы прологом к каждой части, тянется нескончаемый разговор, слова в кавычках. Это странный разговор, так как шесть его участников — Бернар, Невил, Луис, Сьюзен, Джинни и Рода — почти не обращаются друг к другу, и можно было бы даже рассматривать их как разные грани одной личности (наподобие миссис Дэллоуэй и Септимуса). Однако это отнюдь не внутренние монологи, все действующие лица как-то между собой связаны, и все они связаны с тем, кто не произносит ни слова, с Персивалом. В конце, идеально уравнивая замысел, будущий романист Бернар подводит итог, и этим все разрешается. «Волны» — это несравненное достижение Вирджинии Вулф, предельное развитие возможностей, заложенных в «Кью Гарденз» и в «Комнате Джейкоба». Все доведено до последней черты: чуть меньше — книга утратит свою поэтичность, чуть больше — все рухнет, и книга окажется скучной и надуманной. «Волны» — самая великая ее книга, хотя сам я больше люблю «К маяку».

За «Волнами» последовали «Годы», еще один эксперимент в русле реалистической традиции. Это семейная

хроника, основанная на документах. Как и в романе «Ночь и день», автор отступает здесь от поэзии и снова терпит неудачу. Но в посмертно изданном романе «Между актами» она возвращается к тому методу, которым владеет. Тема романа — действие, показывающее историю Англии от самых ее истоков, а под конец вовлекающее в свое течение и зрителей, с тем чтобы они историю продолжили. «Занавес поднялся», — такова заключительная фраза. Замысел здесь чисто поэтический, текст большей частью стихотворный. Вирджиния Вулф любила свое отечество, свое сельское отечество, вышедшее из непостижимых глубин прошлого. Принося ему в столь изящной форме свою прощальную дань, она возвращает нас назад и одновременно устремляет вперед и, при всей поэтической зыбкости, создает нечто более незыблемое, чем патриотическая история, нечто такое, за что действительно стоит отдать жизнь.

Среди этих беллетристических произведений, питая их и питаясь ими, выростали другие книги. Два тома «Рядового читателя» показывают обширность знаний Вирджинии Вулф и прочность ее литературных привязанностей; советую тем, кто считает ее изысканной затворницей, почитать, что она пишет об охотнике на лисиц Джеке Миттоне. Как критику ей доступно было все — вернее, все восходящее к прошлому: с современниками у нее бывали и нелады. Кроме того, у нее есть биографии — и настоящие, и вымышленные. Нет нужды говорить, что «Орландо» — роман и что первая его половина написана превосходно. Описание Великой Стужи уже вошло в английскую литературу в качестве хрестоматийного отрывка, что бы там под словом «отрывок» ни разумели. После метаморфозы, изменяющей пол героя, дело обстоит менее удачно, автор, по-видимому, сомневается в собственной магической силе, и биография оканчивается умело, но без особого блеска: Вирджиния Вулф предоставила своей фантазии слишком большой простор и истощила ее. Зато «Флаш» удался ей до самого конца, он то, за что себя выдает: материал, метод, объем — все в полном соответствии. Этот несмышленный щенок весьма смышлен и с высоты ковра или кушетки позволяет нам взглянуть украдкой на высокопоэтических особ под неожиданным углом. В «Биографии Роджера Фрая» (пожалуй, не следовало бы переходить прямо от спаниеля к профессору, но

Фрай не был бы на это в обиде, а спаниели, те и вовсе не обидчивы) проявилась еще одна ее способность — способность устраняться. Строя книгу, Вирджиния Вулф не позволяет себе навязывать Фраю свои взгляды или слишком усердствовать по части языка, она преисполнена уважения к предмету своего повествования, только иногда, как, например, при описании дивно упорядоченного беспорядка в студии Фрая, где натюрморты из яиц и яблок снабжены надписью «Прошу не трогать», она разрешает своей фантазии разыграться. Биографии стали слишком часто называть «подвигом бескорыстия», но «Роджер Фрай» и в самом деле подвиг бескорыстия: художник пишет с любовью о другом художнике, чтобы о нем помнили, чтобы его поняли.

Нельзя обойти молчанием и ее феминистские книги — «Собственную комнату», «Три гинеи», несколько небольших эссе. Кое-что из этого очень значительно. Конечно, судить о Вирджинии Вулф будут по ее романам, но остальные ее вещи тоже не следует забывать и потому, что это было бы несправедливо, и потому, что (как сказал Уильям Плумер) она в них подчас больше романист, чем в своих романах.

После этого краткого обзора мы можем перейти к ее проблемам. Как и большинство романистов, заслуживающих того, чтобы их читали, она отходит от вымышленных беллетристических норм. Она мечтает, изобретает, шутит, взывает, примечает все до мелочей, но не сочиняет интриги и не придумывает фабулы. А способна ли Вирджиния Вулф создавать характеры? Это та точка, в которую упираются все ее проблемы, та уязвимая точка, где она не защищена от нападков критики, в частности от нападков своего друга Хью Уолпола. Фабулой и интригой можно пренебречь ради какой-то иной целостности, но, когда пишешь о человеческих существах, невольно хочется, чтобы они казались живыми. Способна ли была Вирджиния Вулф вдохнуть жизнь в своих героев?

Впрочем, в литературе возможна жизнь двойного рода: жизнь на страницах книги и жизнь в веках. Заставить своих героев жить на страницах книги она умела; даже обрисованные едва заметными штрихами или наделенные фантастическими чертами, они тем не менее не кажутся нереальными, и можно поручиться, что вести себя они будут так, как им подобает. А вот заста-

вить их жить вечно, создать таких литературных героев, которые потом станут существовать сами по себе, как, например, Эмма или Доротея Казобон или Софья и Констанца из «Повести о старых женщинах», Вирджинии Вулф редко удавалось. Каким призрачным кажется вне контекста весь секстет из «Волн» или Джейкоб из «Комнаты Джейкоба»! Стоит перевернуть страницу — и они уже ничего нам не говорят, как, впрочем, и друг другу. И в этом для Вирджинии Вулф непреодолимая трудность. Держась за поэзию, она все тянется и тянется к тому, что лучше всего дается, если поэзию отбросить. Но она не желала ее отбрасывать и была, на мой взгляд, абсолютно права, хотя критики, предпочитающие, чтобы роман был похож на роман, со мной, конечно, не согласятся. Вирджиния Вулф была абсолютно права, держась за свой особый дар, даже если ради этого приходилось жертвовать чем-то, тоже насущным для ее искусства. Да и жертвовать приходилось не всегда. Мистер и миссис Рэмзи с читателем остаются, и, пожалуй, еще Рейчел из «Путешествия вовне», и Кларисса Дэллоуэй. А в остальном нелепо было бы утверждать, что перед нами галерея бессмертных образов. В плане социальном она ограничивается представителями интеллигентных профессий из наиболее обеспеченных сословий, типы человеческих характеров у нее тоже наперечет. Это уныло добросовестный интеллеktуал (Сент Джон Херст, Чарлз Теңсли, Луис, Уильям Додж), величественно-монументальный герой (Джейкоб, Персивал), напыщенный и весьма влюбчивый столп общества (Ричард Дэллоуэй из «Путешествия вовне» и Хью Уитбред), ученый, интересующийся юношами (Бонами, Невил), весьма разборчивый человек с независимыми взглядами (мистер Пеппер, мистер Бэнкс), даже Рэмзи в первом своем приближении выведены в Амброзах. Стоит только понять, что у нее есть в арсенале, и сразу становится ясно — по части характеров она сделала все ей доступное. Принадлежит миру поэзии, но зачарованная другим миром, она тянется и тянется со своего волшебного дерева, чтобы ухватить хоть что-нибудь из проносящегося мимо нее потока обыденной жизни, и из этих вот обрывков сооружает свои романы. Погружаться в поток она не желала, да и не было у нее в том надобности. Она могла бы, укрывшись на своем дереве, распевать там песенки наподобие Сине-зеленой из «Понедельника или вторника».

К счастью для английской литературы, этого она тоже не сделала.

Следовательно, вот в чем ее проблема: она поэт, а писать ей хочется романы или что-то очень близкое к ним.

А теперь пора сказать несколько слов — хотя следовало бы сказать многое — о ее интересах. Я уже подчеркивал, что она в равной мере любила писать и серьезно, и шутливо, и пытался показать, как она писала, как собирала материал и впитывала его, не лишая при этом свежести, как потом преобразовывала и добивалась целостности, как, будучи поэтом, стремилась писать романы, и какие следы, чтобы не сказать шрамы, оставались на этих выношенных столь необычным образом романах. А теперь речь пойдет о самом материале, о ее интересах, ее взглядах. Чтобы не быть слишком расплывчатым, я начну с еды.

Всегда полезно, когда читаешь ее романы, отыскать страницы, где говорится о еде. Они неизменно хороши. Они сразу дают понять, что перед нами женщина, у которой все чувства обострены. Она поистине ненасытна и притом с таким знанием дела, что ей мог бы позавидовать любой гурман; среди писателей-мужчин немного сыщется ей равных. В вине Джорджа Мередита слишком много лампадного масла, вокруг окорока Чарлза Лема слишком много бумажного шелеста, а в блюдах Генри Джеймса и вовсе нет никакого вкуса. Но когда Вирджиния Вулф рассказывает о лакомых вещах, они попадают нам прямо в рот, если только мало-мальски удобоварим шрифт. Мы всем ртом ощущаем, как они упоительны. А если они невкусны, мы тоже ощущаем это всем ртом, который к тому же так и сводит от смеха. Я не хочу терзать славный Оксбриджский университет, напомнив о великолепном завтраке, которым потчевал ее здесь у себя один из коллег в 1929 году,— такие воспоминания теперь слишком мучительны. Не хочу я оскорбить и благородный женский колледж вышеназванного Университета, а именно Фернхемский, напомнив о плачевном обеде, которым они торжественно угощали ее в тот же вечер, обеде столь безнадежном, что ей ничего другого не оставалось, как подойти к буфету и отхлебнуть кое-что прямо из бутылки,— такие воспоминания, возможно, и сейчас еще злободневны. Но, не боясь задеть чьи-либо чувства, я позволю себе сослаться на

грандиозное блюдо *boeuf en daube*, являющееся центром объединяющего всех обеда в романе «К маяку» — обеда, который скрепляет целую часть этой книги и, источая нежность, поэзию, очарование, заставляет всех его участников на какое-то мгновение увидеть друг друга в наилучшем свете. И одна из них, Лили Бриско, сохранит это в памяти, как нечто вполне реальное. Такой обед не соорудить из перечня блюд под крышкой, которую романист то ли от равнодушия, то ли по нерадивости так и не удосужился приподнять. Здесь извольте подавать настоящую еду! И она умела ее подать и у себя дома, и в своих книгах. *Boeuf en daube*, над которым целых три дня колдовала кухарка и который занимал мысли миссис Рэмзи, пока она причесывалась, — вот он перед нами «во всем благоухающем сплетении золотистого и темно-коричневого мяса, приправленного вином и зеленью». Мы скользим взглядом по блестящим стенкам колоссального сотейника и выуживаем самые лакомые кусочки и, как Уильям Бэнкс, на которого так трудно угодить, мы удовлетворены. Еда у нее отнюдь не литературный прием, пускаемый в ход для правдоподобия. Она пишет об этом оттого, что ела и пила, оттого, что смотрела на картины, оттого, что нюхала цветы, оттого, что слушала Баха, оттого, что, при всей изощренности ее чувств, им было ничто не чуждо и они поставляли ей из первых рук сведения об окружающем мире. Мы обязаны ей и тем, что она напомнила нам о важности чувств в век, когда проповедуются идеалы, а исповедуется жестокость. Я мог бы привести и более возвышенные примеры, хотя бы восхитительное описание цветочного магазина в «Миссис Дэллоуэй» или отрывок, где Рейчел играет в кают-компани на рояле. Но цветы и музыка — обычные литературные аксессуары, а хорошая еда — нет. Вот почему, желая продемонстрировать остроту ее восприятия, я остановил свой выбор на еде. Позволю себе только еще добавить, что она курила, а теперь пусть унесут *boeuf en daube*. В нашей жизни больше ничего подобного не будет. Это не для нас. Но умение ценить остается — умение все оценить по достоинству.

Вслед за чувствами черед интеллекта. Она почитала знания, она верила в разум. Едва ли ее можно назвать оптимисткой, тем не менее она была глубоко убеждена, что дух ведет неустанный бой с материей и завоевывает новые опорные точки в пустоте. Она далека была от

мысли, что ей или кому-то еще из ее поколения удастся что-либо осуществить. Но доблестная кровь ее предков обязывала ее надеяться. Мистер Рэмзи, который, стоя возле герани, пытается думать, вовсе не комичен, как, впрочем, и этот университет, несмотря на все его обычаи и облачения. Она говорит: «Отсюда исходит свет — свет Кембриджа».

Никакой видимый свет от Кембриджа сейчас не исходит, и потому невольно напрашивается вывод, что на книгах Вирджинии Вулф лежит печать времени. Она не могла воспринять то новое, что грозит нашей цивилизации. Подводные лодки — да, пожалуй. Но не летающие крепости, не фугасные бомбы. Мысль о том, что камень, подобно траве и подобно всякой плоти, может в мгновение ока исчезнуть, просто не приходила ей в голову. Нынешней литературе тоже понадобится время, чтобы это усвоить. Вирджиния Вулф принадлежала эпохе, когда принято было четко разграничивать краткий срок, отпущенный человеку, и долговечность созданных им памятников; купол читального зала Британского музея казался почти что вечным. Она понимала, что все подвержено разрушению, что изящные серые церкви Стрэнда не будут стоять там всегда, но, подобно всем нам, полагала, что разрушение будет происходить постепенно. Младшее, или, как принято его называть, оден-ишервудское, поколение оказалось на этот счет прозорливее, но она не желала за ним этого признавать, как не желала признавать его эксперименты в области поэтической техники, хотя в свое время сама была таким экспериментатором! Что поделаешь, принадлежать своей эпохе — всем нам свойственная слабость, а Вирджиния Вулф и в этом достигла совершенства. Итак, она почитала и обретала знания, она верила в разум. Можно ли в интеллектуальном плане требовать большего? И, поскольку она была поэт, а не философ, не историк и не прорицательница, ей не надо было решать, возобладает ли разум и настанет ли такой день, когда созданный Родой из музыки Моцарта квадрат на овале будет твердо стоять на этой взбаламученной земле. Квадрат на овале. Порядок, Справедливость, Истина. Ей дороги были эти абстракции, и она пыталась выразить их, как и подобает художнику, с помощью символов, хотя понимала всю несостоятельность символов.

«Они приходят со своими скрипками,— сказала Рода,— ждут, считают, кивают — и вот смычки опускаются. Слышится журчание, слышится смех, наподобие ганца олив...

Все «наподобие» и «наподобие», а что стоит за этим подобием? Теперь, когда молния пронзила дерево и цветущая ветвь отпала... я хочу видеть сущность. Вот квадрат. Вот овал. Музыканты берут квадрат и помещают его на овал. Музыканты проделывают это очень тщательно, квадрат и овал почти совпадают. За пределами остается очень мало. Теперь проступила структура, выявилась изначальная сущность. Мы не столь разносторонни, но и не столь заурядны; мы создавали овалы и помещали их на квадраты. В этом наша победа, в этом наше утешение».

Иными словами, утешение в том, что удалось уловить облик абстракции. Надо было теперь передать ее с помощью символа, а «квадрат на овале» — символ ничуть не хуже, чем танцующие оливы; благодаря своей обнаженности, он даже точнее передает то, что она стремится выразить. Но, стремясь к этому, «мы не столь разносторонни, но и не столь заурядны»: мы умножили общечеловеческое наследие, снова помогли разуму восторжествовать.

И еще ее интересовало общество, мимо этого тоже нельзя пройти. Жизнь не сводилась для нее к ощущению и к интеллекту. Она была общественным существом и относилась к миру горячо и взыскательно. У нее был своеобразный взгляд на мир; для того, чтобы его понять, лучше всего подойти к нему с очень своеобразной стороны — со стороны ее феминизма.

Феминизм вдохновил ее на создание одной из самых блестящих ее книг — прелестной и убедительной «Собственной комнаты», — там и оксбриджский завтрак, и фернхемский обед, и бессмертная встреча с педелем в момент, когда ей вздумалось прогуляться по газонам колледжа, и трогательная реконструкция сестры Шекспира, равной ему по гениальности, но обреченной погибнуть из-за отсутствия денег и положения в обществе, что было в порядке вещей, являлось уделом женщины на протяжении веков. Но феминизм повинен в создании и худшей из ее книг, вздорнейших «Трех гиней», а также в наименее удачных поворотах «Орландо». В той или

иной мере феминизмом отмечены все ее произведения, он постоянно занимает ее мысли. Она была твердо убеждена, что общество, такое, как оно есть, дело рук мужчин, а они больше всего любят проливать кровь, наживать деньги, отдавать распоряжения и носить мундиры — занятия все малопочтенные. Женщины одеваются ради удовольствия, для большей миловидности, а мужчины — из тщеславия; и она была беспощадна к судье в парике, к епископу в епископском облачении, к генералу в лентах и позументах и даже к безобидному профессору в мантии. Она считала, что эти ряженые вечно что-то затевают, ничуть не интересуясь тем, одобряют ли их женщины, а она, во всяком случае, их не одобряла. Она отказывалась сотрудничать не только на словах, но иногда и на деле. Она не желала заседать в комитетах и подписывать воззвания на том основании, что женщины не должны прощать мужчинам грех создания всей этой трагической бессмыслицы, как не должны подхватывать те крохи власти, которые мужчины время от времени бросают им, уделяя из своего отвратительного пиршества. Подобно Лисистрате, она предпочла устраниваться.

На мой взгляд, в этом чрезмерном феминизме есть что-то очень старомодное, что-то от 1910 годов, поры ее суфражистской юности, когда мужчины целовали девушек, чтобы отвлечь их от желания голосовать, и вполне заслуженно навлекали на себя ее гнев. Но в 1930 годах уже значительно меньше оснований для жалоб, и если она все же продолжала ворчать, то делала это скорее по привычке. Она жаловалась, и весьма обоснованно, что женщины, хотя и допущены к профессиям и ремеслам, не могут пробиться наверх, так как всякий раз наталкиваются на сговор мужчин. А что сговор этот с каждым годом слабеет и недалек день, когда женщинам будет предоставлена такая же власть творить добро и зло, как и мужчинам,—этого она не чувствовала. Когда речь шла о прошлом, она проявляла редкостное понимание, а при оценке настоящего не всегда бывала непогрешима. Правда, это говорю я, мужчина, к тому же еще и в летах. Но не мужчинам и даже не женщинам в летах судить о ее феминизме. Здесь слово за молодыми женщинами. Если они, если студентки Фернхема считают, что ее феминизм выражает обиды, существующие и поныне, им виднее.

Она была не только женщина, она была леди, и это в ней всегда присутствовало и вносило еще один отте-

нок в ее взгляд на общество. Она говорила об этом безо всякого стеснения. Да, она леди по своему происхождению, по воспитанию и не намерена малодушничать и делать вид, будто ее мать была вальком белье, а ее отец, сэр Лесли, был подручным штукатура. Писатели из рабочего класса достаточно часто упоминают о своем происхождении и за это их только уважают. Что ж, она будет упоминать о своем. Ее снобизм, а она была снобом, порожден не столько высокомерием, сколько мужеством. Он идет от ее неутраченного правдолюбия и ничем не напоминает снобизм Клариссы Дэллоуей, такой мягкой, такой деликатной, но почему-то невольно располагающейся в лучшем кресле. Скорее он напоминает снобизм Кити, отправляющейся на чаепитие с Робсонами, он — как мишень, в которую всякий желающий может целить. В своем предисловии к книге «Жизнь, как мы ее знаем» (сборник биографий женщин из рабочего класса, изданных Маргарет Левелин Дэвис) она вызывает на себя огонь: «Невозможно,— пишет она,— представить себя на месте миссис Джайлз из Дерхема тому, кто сам никогда не стоял у лохани, кто никогда ничего не выжимал, не скреб и не изрубал какую-то там часть мяса, предназначенную шахтеру на ужин». Это отнюдь не звучит обезоруживающе, да судя по всему, и не должно так звучать. И если ей сказали бы, что в конце концов не так уж трудно узнать, какая часть мяса предназначается шахтеру на ужин, она ответила бы, что рубить мясо это ее не научит, что когда хочешь вникнуть в жизнь других людей, мало только знать, надо еще и делать то, что эти люди делают. А она рубить мясо не намерена, у нее это вряд ли получится, она только попусту потратит время. Нет, она не намерена ничего скрести или выжимать, она будет писать, это она любит и умеет делать. И в ответ на ропот — «везет же этим леди!» — она отвечала: «Да, я леди», и продолжала писать. «Слышь ты,— говорят,— не будет скоро никаких леди». Она слушала, слушала, не озлобляясь, не удивляясь, не приходя в смятение, только перо ее двигалось все быстрее. Ибо, если этот вид человеческих существ подлежит уничтожению — а такая опасность существовала,— как важно, чтобы последняя из них записала свои впечатления о мире и объединила их в книгу! Если не она, то кто же это сделает? Во всяком случае, не миссис Джайлз из Дерхема. Миссис

Джайлз напишет иначе, возможно даже лучше, но создать «Волны» и «Роджера Фрая» она не сможет.

В этом есть достойная восхищения непреклонность — в той мере, в какой непреклонность может быть достойна восхищения. В этом довольно мало сочувствия — я думаю, Вирджиния Вулф вообще была не очень склонна сочувствовать. Она могла быть очаровательна в общении с отдельными людьми из рабочего или любого другого класса, но к этому ее побуждали любопытство и чистосердечие. Не следует забывать, что сочувствие, по ее мнению, могло привести к ужасающим, сокрушительным последствиям, поэтому не так-то легко было на него решиться. Речь идет не о полукроне, или добром слове, или добром деле, или проповеди человеколюбия, или благородном жесте, а о том, чтобы ко всем своим горестям прибавить чужие. В причудливой форме, но вместе с тем вполне серьезно она пишет:

«Сочувствовать нам не дано. Мудрое провидение говорит: нет. Если бы его дочери и сыновья, и без того обремененные горестями, взвалили бы на себя и этот груз, мысленно добавили к своим страданиям чужие, то перестали бы возводиться дома, заросли бы травой дороги, пришел бы конец живописи и музыке, и только всеобщий тяжкий вздох устремлялся бы к небесам, а мужчинами и женщинами владели бы лишь ужас и отчаяние».

Пожалуй, это объясняет, почему миссис Джайлз из Дерхема находит в Вирджинии Вулф мало тепла и понимания.

Обособленность от рабочего класса и рабочего движения усугубляла ее обособленность, порожденную феминизмом, поэтому к обществу она относилась недоверчиво и отчужденно. Она была зачарована, она была неустрашима, но ей отвратительно было панибратство, она не желала идти ни на какие уступки популярной журналистике с ее рекламными трюками наподобие: «Давайте все жить дружно». К народу — в той мере, в какой это единство существует, — она относилась чрезвычайно благодушно, но не расточала похвал посредникам, нагло присвоившим себе право выражать мнение народа, да еще делать это за плату в периодической печати и по радио. И в конце концов, посредники эти представляют собой очень небольшую клику, более многочисленную, чем столь неустанно обличаемый ими Блумсбери, но в человеческом океане это всего лишь капля. А поскольку

достоинства этой капли равны ее величине то, Вирджиния Вулф не видела оснований добиваться ее расположения.

«Итак, подведем итоги»,— говорит Бернар в последней части «Волн». По причинам, на которых я уже останавливался, я этого сделать не могу: материал слишком обширен и противоречив, да и год неблагоприятен для этого. Я перечислил все, что смог, переходя от метода ее работы к ее книгам, от ее проблем поэта-романиста к ее проблемам женщины и леди. И я пытался говорить о ней с той прямоотой, которая была бы ей по нраву,—только так и надлежит говорить о тех, кого мы чтим. Но каким образом сочетать все это? Какой у нас начертался узор? Лучше всего опять процитировать Бернара: «Мне вдруг начинает казаться, — говорит он, — что что-то на мгновение сгустилось, обрело округлость, вес, глубину и достигло завершенности. Такой мне в эту минуту представляется ее жизнь». Бернару прекрасно удалось это выразить. Но, как сказала Рода в приводившемся уже высказывании, это всего лишь уподобления, сравнения с физическим миром, а хочется дойти до сущности, понять, что за этим стоит, ничто другое все равно не удовлетворит, ничто другое все равно не даст исчерпывающего представления.

Каков бы ни был начертанный узор, он, во всяком случае, не должен повергать в уныние. Как и всем ее друзьям, мне очень ее недостает. Я знал ее с тех пор, как она начала писать. Но это дело сугубо личное, мы собрались не для того, чтобы оплакивать и сочинять nekroлоги, здесь подобным вещам не место. Вирджиния Вулф сделала за свою жизнь невероятно много. Она не раз по-своему, по-новому доставляла нам истинное наслаждение. Она светом английского языка еще немного раздвинула окружающий мрак. Таковы факты. Нельзя, чтобы эпитафию такому художнику сочиняли господа, настроенные на пошлый или похоронный лад. Они попытаются, они уже пытались, но в их словах нет смысла. Разумнее, правильнее считать, что на своем поприще она одержала победу. Она одержала победу над тем, что принято называть трудностями, она и в прямом смысле одержала победу: у нее есть завоевания. Иногда все написанное ею представляется мне в виде маленьких серебряных кубков, которые мерцают, выстроившись в ряд. «Эти трофеи—гласит надпись,—знаменуют торжество духа над материей, его исконным врагом и другом».

ВОЛЬТЕР И ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ

Двести лет назад один француз нанес визит одному немцу. Знаменитый визит. Француз приехал в Германию с восторгом, немецкий хозяин с восторгом его приветствовал. Они относились друг к другу не только с величайшей вежливостью, но с энтузиазмом, и каждый думал про себя: «Я уверен, мы станем друзьями навеки!» И все-таки этот визит был несчастьем. В Германии и теперь все еще говорят о нем, и немцы считают, что виной тому был француз. Все еще говорят о нем и во Франции. О нем теперь буду говорить и я, отчасти потому, что это такая интересная история, а отчасти потому, что она служит уроком для всех нас, хотя и произошла она двести лет назад.

Французом был Вольтер. Теперь кое-кто думает, что Вольтер насмеялся над всем и был склонен к непристойным шуткам. Нет, он был гораздо более значительной личностью, он был величайшим человеком своего времени, он был, конечно, одним из величайших людей, порожденных европейской цивилизацией. Если бы мне пришлось выбрать двух людей, которым в день страшного суда можно будет поручить защиту Европы, я избрал бы Шекспира и Вольтера — Шекспира за его творческую гениальность, Вольтера за его критический гений и за человечность. Вольтер заботился об истине, он верил в терпимость, жалел угнетенных, а так как он отличался сильным характером, то умел убедить слушателей. Случайно мои собственные мысли совпадают с его идеями, и, подобно многим другим маленьким людям, я испытываю благодарность, когда великий человек говорит за меня то, чего я сам не умею выразить надлежащим образом. Вольтер говорит от лица тысяч и тысяч людей, которые ненавидят несправедливость и прилагают все старания для того, чтобы мир стал лучше.

Что он делал? Он чрезвычайно много писал: пьесы (ныне забытые), рассказы, некоторые из них все еще читаются, в особенности его шедевр «Кандид». Он был журналистом и памфлетистом, он слегка занимался наукой и философией, он был хорошим, популярным в свое время историком, он составил словарь и он писал сотни писем во все уголки Европы. У него повсюду были корреспонденты, и он отличался таким остроумием и мог с таким знанием рассказать обо всем происходящем, что короли и императоры считали честью для себя получить письмо от Вольтера и спешили собственноручно ответить ему. Он не великий писатель. Но он великий человек большого ума и горячего сердца, отдавший всего себя служению человечеству. Поэтому я ставлю его в один ряд с Шекспиром в качестве духовного представителя Европы. За двести лет до прихода нацистов он был подлинным врагом нацизма.

Я очень люблю Вольтера, поэтому охотно добавил бы, что у него был прекрасный характер. Увы, это не так! Он был комком противоречий и нервов. Хотя он любил истину, он часто врал. Хотя он любил человечество, он часто бывал злобным. Будучи щедрым, он все же умел добывать деньги. Он был от природы задирой. Он не обладал чувством собственного достоинства. К тому же он не был красавцем — невнятно бормочущий человек, похожий на обезьяну, очень небольшого роста, очень худой, с длинным острым носом, нездоровым цветом лица, с маленькими черными глазами. Он одевался слишком нарядно, что иногда присуще людям низкого роста, и носил огромный парик, который, казалось, затмевал его.

Вот этот-то француз 13 июня 1751 года отправляется в Берлин; немец, которого он собирается посетить, — Фридрих Великий, король прусский.

Фридрих — один из основателей современной Германии, и Гитлер тщательно изучал его историю. Для удовлетворения своего честолюбия Фридрих ввергал Европу в многочисленные войны. Он верил в силу, хитрость и жестокость и в то, что он все должен делать сам. У него были гениальные организаторские способности, он предпочитал пользоваться услугами людей, стоявших ниже его по умственному развитию, и презирал весь человеческий род. В этом основное расхождение во взглядах между ним и Вольтером. Вольтер верил

в людей, Фридрих не верил. «Вы не знаете этого проклятого человеческого рода! — как-то воскликнул он. — Вы не знаете людей. А я знаю». Он отличался цинизмом, и, так как у него было очень несчастливое детство, он до конца своей жизни считал, что его недостаточно ценили. А мы знаем, какими опасными могут быть такие люди и сколько страданий они способны принести себе и другим.

Но к Фридриху можно подходить и с другой стороны. Он был образованным, чувствительным человеком. Он был хорошим музыкантом, много читал и приложил много старательности, чтобы изучить французский язык. Он даже создал на этом языке несколько стихотворений — их нельзя назвать хорошими, но все же они свидетельствуют о том, что немецкий язык не был для него всем на свете. В этом смысле Фридрих был более культурным, чем Гитлер. Он не говорил о такой бессмысленности, как чистота нордической расы. Он не считал, что Германии предназначено править всем миром: он знал, что мир представляет собой очень сложный организм и что мы сами должны жить в нем, а также дать жить другим. Он даже верил в свободу слова. «Люди могут говорить все, что им хочется, пока я делаю то, что хочется мне», — так он выразил свое отношение к этому вопросу. Однажды, проходя по Берлину, Фридрих увидел на стене дома карикатуру на себя. При этом он сказал только следующее: «Повесьте ее ниже, чтобы она была лучше видна!»

Свидание началось с вихря комплиментов. Вольтер назвал Фридриха Северным Соломоном, Фридрих заявил, что из всех прославляющих его титулов самый ценный для него — Повелитель Вольтера. Он сделал своего гостя важным придворным сановником, предоставил ему королевское жилье, назначил щедрое жалованье и обещал дополнительное жалованье его племяннице, мадам Денис, если она приедет, чтобы вести хозяйство своего дяди. (Вскоре мы больше узнаем о бедной мадам Денис.) Умные разговоры, философские споры, прекрасная пища — Фридрих любил вкусную еду, хотя и заботился, чтобы она стоила недорого, — все было прекрасно, но!.. Вскоре после приезда Вольтер написал письмо своему другу во Францию, в котором все время повторялось зловещее маленькое слово «но».

«Званные ужины великолепны. Король — душа общества. Но. В моем распоряжении оперы и комедии, парады и концерты, ученые занятия и книги. Но, но. Берлин прекрасен, принцессы очаровательны, фрейлины красивы. Но». Мы можем истолковать эти «но». Это инстинктивный протест свободного человека, оказавшегося во власти деспота. Вольтер, несмотря на все свои недостатки, был свободным человеком. Фридрих отличался обаянием и умом. Но — он был деспотом.

Время пребывания в Берлине тянулось очень медленно. Вольтер занимался многочисленными утомительными делами. Он оказался замешанным в темную финансовую аферу, он поссорился с другим французом, находившимся на службе у короля, он пил слишком много шоколада, а когда король ограничил его, он в отместку стал вынимать из подсвечников восковые свечи и продавать их. Все это очень недостойное поведение. А кроме того — что было хуже всего — он смеялся над французскими стихами короля. Фридрих, как и Гитлер, считал себя поэтом и часто пользовался услугами гостя для отделки своих стихов. И вот кто-то ему сказал, что эта несносная обезьянка насмеяется над ним и повсюду цитирует его стихи — очень важное обстоятельство, так как некоторые из них предназначались лишь для обращения среди своих. Северный Соломон рассердился. Он думал: «Мой гость, без сомнения, гений, но он доставляет слишком много беспокойства, к тому же, он ведет себя вероломно». А Вольтер подумал: «Мой хозяин, без сомнения, могущественный монарх, но я предпочел бы преклоняться перед ним издали». Он покинул Берлин, пробыв там два года; это пребывание постепенно становилось все более и более стеснительным для обеих сторон.

Но это еще не конец. Настоящий разрыв еще должен произойти. Это случилось во Франкфурте, где Вольтер ожидал прибытия мадам Денис. Франкфурт не принадлежал королю Пруссии. Он не имел там никакой законной власти, но у него было свое «гестапо», и с его помощью он покушался на свободу личности. Фридрих обнаружил, что Вольтер увез из Берлина (вероятно, случайно) экземпляр несчастных французских стихотворений, впал в ярость и приказал обыскать багаж Вольтера. Как обычно, он пользовался услугами второсортных людей, и они зашли слишком далеко. Они не только

обыскали багаж Вольтера, но и арестовали его и день и ночь всячески запугивали в надежде получить сведения, которые были бы угодны их королевскому величеству. Это совершенно невероятное дело, подлинное предварение нацистских методов. Вольтер пытался бежать; его задержали у ворот Франкфурта и притащили обратно. Мадам Денис, приехавшая к своему дяде, была также арестована и подвергалась дурному обращению. Мадам Денис была энергичной, эмоциональной леди и считала себя до некоторой степени актрисой. Она не принадлежала к тем, кто страдает молча, и вскоре ее протесты наводнили всю Европу. Здоровье Вольтера ухудшилось, и он делал вид, что болен гораздо сильнее, чем это было в действительности: он убегал от своих мучителей в какую-нибудь дальнюю комнату и, задыхаясь, бормотал: «Неужели вы даже не позволите мне болеть?» Его секретарь бросался ему на помощь, а Вольтер, делая вид, что его рвет, шептал ему на ухо: «Я притворяюсь! Я притворяюсь!» Он любил дурачить людей, он мог быть озорным даже в несчастье, и эта черта внушает мне любовь.

Фридрих увидел, что дела зашли слишком далеко. Вольтер и его племянница были освобождены, и в последующие годы оба великих человека переписывались почти столь же охотно, как и прежде. Но они старательно избегали встреч — Вольтер, во всяком случае, получил хороший урок. Берлин научил его понимать, что человек, который верит в свободу, в разнообразие мнений, в терпимость и сострадание, не может дышать воздухом тоталитарного государства. С виду все может казаться приятным — но! Деспот может быть очаровательным и умным — но! Государственный механизм может работать превосходно — но! Чего-то не хватает: не хватает человеческого духа. Вольтер всегда верил в человеческий дух. Он боролся с немецкой диктатурой за двести лет до нашего времени.

ПРОСИТЕЛЬ

Наш друг — я буду именовать его Обайдулла и передам его рассказ, который он поведал нам в сильном возбуждении на крыше своего дома, — наш друг сидел со своим братом на веранде, распаковывая книги, когда к ним подошел какой-то старик. Вид у него был непрезентабельный.

— Добрый вечер, джентльмены, — сказал он. — Не пожертвуете ли вы на железнодорожный билет для моего сына, чтобы он мог поехать в Калькутту? — и он предъявил поддельный подписной лист.

Но перед нами был проситель, старик мусульманин.

— Я сам беден, — сказал наш друг. — Тем не менее если ваш сын согласится принять от меня две рупии... — и он дал их старику.

— Мне кажется, вы приехали сюда, чтобы заниматься адвокатской практикой, — заметил старик и сел.

Обайдулла ответил, что так оно и есть; он лишь недавно приехал из Англии.

— Вам, наверно, нужен клерк?

— Нет, клерк мне не нужен. У меня еще нет постоянной клиентуры в городе, а с той работой, которую мне удастся получить, я справляюсь без помощников. Как видите, мы живем очень просто.

— Вам нужен клерк. Я буду вашим клерком.

— Вы очень любезны, но в настоящее время я не нуждаюсь в клерке.

— Когда обед?

Теория, согласно которой проситель обычно уходит после еды, подтвердилась, и оба брата провели вечер, приводя в порядок книги с помощью своего рассыльного, властного мальчика лет десяти. Они проявили вежливость и чувствовали себя счастливыми. Но около полуночи к их дому подъехала наемная карета, нагружен-

ная багажом. Из окна кареты высунулся грязный белый тюрбан.

— Я ваш клерк,— сказал старик.— Где моя комната? — и он предоставил братьям расплачиваться с возницей.

— Но что было делать? — оправдывался Обайдулла в ответ на наши возражения.— Что еще мне оставалось? Не мог же я отказать ему в гостеприимстве, ведь он старик. Он заставил моих слуг всю ночь чистить его хукку, а сегодня пожаловался мне на них.

Обайдулла вздохнул, затем сказал, смеясь:

— Увы! Бедная Индия! Что ее ждет?

Мы ходили взад и вперед, то браня его, то присоединяясь к его жалобам. Крыша была прелестным местом. Она поднималась над городской пылью в мир зелени. Манговые деревья, пальмы тодди и жасмин, растущие в сотнях садов и дворов, на уровне нашей крыши образовали своими кронами целый птичий город. Солнце зашло, и изумительный багрянец расцвел на закатном оранжевом небе. Но даже на крыше мы не были свободны. Если мы проходили по ее левой стороне, в поле нашего зрения попадал наш ближайший сосед, тучный торговец-индус, и он снизу кричал нам по-английски:

— Джентльмены! Джентльмены! Отойдите, пожалуйста, подальше! Здесь женская половина.

А если мы переходили на правую сторону, мы видели других женщин, не подверженных столь строгому надзору и недоступных столь пристальному взору, которые суетились на своей крыше, и их длинные шарфы развевались в воздухе.

— Двухэтажный дом таит опасность для новичка,— сказал Обайдулла загадочным тоном, и мы избрали для своих прогулок средний путь, а снизу из его собственного двора доносилось ворчание просителя — к счастью, он был слишком тучен, а лестница слишком узка.

Мы ушли подавленные — отчасти потому, что наш друг не пригласил нас к чаю. Чай у него всегда был превосходный — к нему подавался горошек в масле, а какие мандарины, какие гуавы, нарезанные ломтиками и посыпанные перцем! Иногда его женатые друзья присылали сласти. Но он не очень настаивал на своем приглашении — манеры просителя за столом были слишком ужасны — не мог Обайдулла также прийти к нам на

чашку чая — он не хотел оставлять своего брата одного, а вместе уходить из до́му они боялись. Наша подавленность усилилась еще больше, когда мы узрели самого старика. В его приветствии, как мне сказали, содержалась тысяча оскорблений. А из расспросов на базаре мы узнали, что он действительно был плохим человеком. Ничего нельзя было сделать, так как Обайдулла, будучи человеком мягким и наделенным чувством юмора, все же не допускал никакого вмешательства в свои права хозяина. Мы могли только строить предположения, как долго еще он будет жертвовать своими друзьями, своей свободой и своей карьерой, и размышлять о недостатках ведения хозяйства средневековым способом.

На следующее утро проситель навел нас. Мы выгнали его, прежде чем он успел открыть рот, и вскоре после этого Обайдулла примчался к нам на велосипеде, сияя от счастья.

— Произошло радостное событие! — крикнул он. — Он украл одну рупию, четыре ана, шесть пайса из одежды моего слуги и исчез.

Мы поздравили его и попросили рассказать подробности.

— Ах! ах! Наконец-то мы снова счастливы. Сейчас я вам расскажу. Когда мальчишка поймал его с поличным, я не знал, что делать. Нельзя же быть невежливым. Я сказал: «Кажется, произошло недоразумение», и ждал, что будет дальше. К счастью, он стал горячиться. Он сказал: «Я ни за что не останусь в доме, где мне не доверяют». Я ответил: «Мне очень неприятно слышать от вас такие слова, и я никогда не говорил, что не доверяю вам». — «Вы — нет, но ваши слуги. Довольно! Довольно! Я вам больше не клерк». Я сказал ему, что сожалею о его решении, но, что может быть, это и благо разумно. И вот он направился прямо к вам, поскольку у нас ему нечем было больше поживиться. Такие люди позорят Индию! О старый плут! Чудовище! Тем не менее я думаю, что этому нельзя помочь.

— А деньги?

— О, конечно, он взял их, конечно же! Но он мог бы спросить и больше, рупий пятьдесят. Ну, а теперь, когда все позади, вы оба придете ко мне сегодня на чашку чая?

Поистине он был слишком простодушен, и мы поговорили с ним как следует, по-английски. Он молча слушал нас, потупив взор. Когда мы кончили, он поднял на меня глаза и сказал:

— Совершенно естественно, что вы будете смеяться надо мной. Вы англичане, и у вас другие обычаи. Да я и сам не поступил бы так, будучи в Англии. Несомненно, все это должно казаться вам чертовски забавным.

Затем, обращаясь к другому своему критику, индусу, он прибавил более строгим тоном:

— Но вы... Мне стыдно за вас. Уж вы-то должны были понять меня. Пока у нас есть деньги, и пища, и дом, мы должны делиться ими с бедными людьми и стариками, если они нас попросят. Ужасно! Ваше сердце охладело. Вы забыли наши традиции гостеприимства. Вы забыли Восток. Поистине мне очень стыдно за вас!

ЭЛИЗА В ЕГИПТЕ

I

Когда летом 1779 года веселая и чуть язвительная миссис Элиза Фэй прибыла в Александрию, город был в полном упадке. Слава античного времени померкла, а блага современности еще не появились. Исчезли храмы и статуи, исчезли дворец Клеопатры и библиотека Каллимаха, пал Фарос, и на смену ему пришел невзрачный Фарильон, занесло илом Септастадион, между тем как их преемники — отели, клубы, осушительные каналы и шикарные муниципальные здания — еще мирно пребывали в небытии.

Миссис Фэй сопровождал ее муж, неудачливый адвокат, надеявшийся на Востоке составить состояние. Судно, на котором они прибыли, принадлежало христианину, поэтому ему был запрещен заход в Западную гавань, и им пришлось высадиться на берег недалеко от того места, где в более просвещенные дни будет заканчиваться трамвайная линия Рамле. Все имело первобытный, варварский вид, если не считать двух большихobelisks: прямого и наклонного; то были Иглы Клеопатры, еще не перевезенные одна в Нью-Йорк, а другая — в Лондон. В этом унылом месте английскую чету встретил прусский консул, некий мистер Бренди; он нашел им комнаты, но сообщил плохие новости, — «прискорбную историю», как пишет миссис Фэй в письме к своей сестре. Между Каиром и Суэцом, на том самом пути, по которому они собирались ехать, был ограблен караван и несколько человек убито. Миссис Фэй это взволновало самым серьезным образом, но она не собиралась отказываться от осмотра достопримечательностей. Если она отправилась в Александрию, то уж она полюбуется ею! В первую очередь Иглами Клеопатры. Что означают нанесенные на них иероглифы? Она обратилась с этим вопросом к мистеру Бренди; но консул, следуя лучшим

традициям резидента Леванта, «видимо, знал не больше, чем мы». Его любезность была безграничной. На следующий день он добыл ослов — так как приезжие были христиане, лошадей им не полагалось — и вся компания, возглавляемая янычаром с обнаженной саблей, быстро проехала три мили по пустыне до колонны Помпея. На современных людей колонна Помпея не производит особого впечатления. Вокруг все имеет запущенный вид, турникет приводит в уныние; известно, что колонна относится не к Помпею, а к Диоклетиану. Миссис Фэй подошла к колонне с более благородных позиций.

«Хотя колонна ничем не украшена, ее пропорции так совершенны, что внушают какое-то благоговение, которое переходит в тихую печаль, когда подумаешь о том, что прославленный герой, чье имя она носит, был на этом же самом берегу предательски убит лодочниками, переправлявшими его в Александрию. Его несчастная жена стояла на только что покинутом им судне и, как мы легко можем себе представить, с невыразимым волнением наблюдала за его отплытием. Каковы же были ее страдания при виде ужасного события!»

Придет время, когда сама миссис Фэй, нисколько не испытывая волнения, будет наблюдать за убийством мистера Фэя. Ее Антони — ибо так его звали — доставлял ей одни неприятности, и в конце концов она была вынуждена развестись с ним. Но от этих серьезных тем давайте перейдем лучше к «уморительному происшествию», случившемуся с мистером Бренди по дороге к развалинам дворца Клеопатры. Это был очень крупный и тучный мужчина, и осел, воспользовавшись удобным случаем, выскользнул из-под него, а консул остался сидеть на песке, расставив ноги! Что же касается дворца Клеопатры, то он не был подлинным, но подлинным было внушаемое им чувство.

«Я не помню, чтобы подобное зрелище приводило меня когда-нибудь в такое волнение. Я стояла посреди развалин, предаваясь размышлениям, которые породила»

во мне столь унылая картина, и в конце концов мне стало казаться, что я вижу прежнюю владелицу дворца среди роскошных пиршеств со своим страстным возлюбленным, Марком Антонием, который ради нее пожертвовал всем».

Письмо заканчивается описанием приема в доме у Бренди — откровенно ядовитым, злым описанием. Элиза—дитя своего века: притворно-возвышенные чувства прикрывают интерес к бытовым мелочам и злорадству.

«Мы были очень любезно приняты миссис Бренди, уроженкой здешних мест; она немного говорит по-итальянски, поэтому нам почти удалось вести разговор. По случаю нашего приезда сюда она надела забавнейший пестрый наряд; темнолицая, низенькая, настоящая коротышка, она показалась мне каким-то никогда дотоле невиданным, причудливым, роскошно украшенным чурбаном. Голова у нее была повязана косынкой, расшитой шнурами с очень крупными блестками, перемежающимися жемчужинами и изумрудами; шея и грудь были украшены так же. Прибавьте ко всему этому вышитый пояс с двумя золотыми пряжками, величиной, по-моему, не меньше четырех квадратных дюймов, огромные серьги и большую брильянтовую ветку на лбу — и вы бесспорно согласитесь с тем, что она была весьма блестящей личностью. Нам представили и их славную дочку — девочку лет семи, украшенную в том же стиле, но, несмотря на нелепый пышный наряд, она все равно выглядела хорошенькой. В общем, я была довольна обеими, и матерью, и дочерью; выражение их лиц и их поведение отличалось добротой, а для чужеземца в чужой стране (а ведь именно таковыми мы и были) любые незначительные знаки внимания дают утешение и успокоение; в особенности, когда чувствуешь вокруг себя враждебность, которую поневоле ощущает здесь каждый европеец. По сравнению с неотесанными, грубыми людьми, управляющими этой страной, я чувствовала себя запросто среди уроженцев Франции и, сказала бы даже, Италии.

Перед расставанием наш хозяин подал нам книгу, сохранившую записи, которые свидетельствовали о его вежливости и внимании по отношению к путешественни-

кам; они были подписаны многими влиятельными лицами. Мистеру Фэю и мне было тоже предложено поставить свои подписи в этом списке. Мы исполнили его просьбу, но были удивлены тем, что джентльмену в его положении приходится прибегать к такому приему, который не может не унизить его в глазах гостей».

Последнее замечание довольно язвительное, если принять во внимание, как много консул сделал для нее. Но ведь она и есть язва, энергичная, наблюдательная, но язва.

II

Невзирая на погоду, невзирая на слухи об ограбленных караванах, Элиза заставила своего мужа как можно скорее отправиться в глубь страны, и нам надо немного рассказать об их приключениях. Нашим путеводителем будет ее перо. Оно прокладывает себе путь сквозь препятствия; единственное, что сдерживает его хозяйку, это страх перед турецким цензором и желание скрыть от друзей на родине дурные предчувствия. Стоит случиться несчастью, и она его описывает. Но к будущему она всегда относится с доверием, оптимистически, и ее доблестная решимость мириться с трудностями придает очарование характеру этой особы, в иных обстоятельствах несимпатичной.

Супруги Фэй избрали путь по реке. Так как канал Эль-Махмудия еще не был прорыт, им пришлось морем добираться до Розеттского устья Нила. Они чуть не потонули на мелководье, но едва они его миновали, как от берега внезапно отделилась лодка с грабителями, и мистеру Фэю пришлось стрелять в них сразу из двух пистолетов. Они ушли от своих преследователей и быстро достигли Розетты, более значительного и, по-видимому, гораздо более опрятного города, чем Александрия. Элиза пришла в восторг. На нее сразу же нахлынули мысли об Англии и библейские образы.

«Розетта поражает своей чистотой, тем более отрадной, что здесь редко когда удается встретить ту чистоту и опрятность, к которым мы привыкли дома. Окружаю-

щая местность интересна своей новизной, в особенности когда вспоминаешь о том, что здесь когда-то временно пребывали сыны Израиля. В моей памяти возникла прекрасная, я сказала бы, ни с чем не сравнимая история Иосифа и его братьев, я любовалась берегами, где на старости лет нашел себе убежище глава рода, а его раскаявшиеся сыновья склонили голову перед младшим братом. Мне казалось, что я во сне, так удивительно было, что я нахожусь здесь».

Новость, однако, что Иаков когда-либо жил в провинции Бихеира. Миновав ее, а затем пирамиды, которые супруги Фэй видели только издали, мы последуем за ними в Булак, «порт Великого Каира», где их беды возросли. Ввиду того, что ограничения для христиан здесь были еще более суровыми, чем в Александрии, миссис Фэй для того, чтобы вступить в город, должна была одеться так, как одевались местные женщины. «Прежде всего мне пришлось надеть шаровары и желтые кожаные полусапожки, а поверх них комнатные туфли»; затем длинное атласное платье, другое платье, с короткими рукавами, шелковый халат, напоминавший стихарь; со лба до самих ног свисала кисея, а поверх всего было накинуто черное шелковое покрывало. «В таком одеянии, спотыкаясь на каждом шагу, я двинулась вперед; с большим трудом взобралась на свое благородное животное, но так как вуаль мешала мне свободно дышать, я чуть не умерла по дороге». Она въехала в европейский квартал, где царил ужас и смятение. Слухи относительно каравана оказались ничуть не преувеличенными. Только что были получены подробные сведения. На караван напали между Каиром и Суэцем, всех путников поубивали или же бросили умирать под лучами солнца; хуже того, турецкие власти так расстроились из-за происшедшего скандала, что грозили уничтожить всю европейскую колонию, если только вести об этом просочатся за пределы района. Решили, что миссис Фэй будет в безопасности у итальянского врача. Когда она, спотыкаясь, брела к его дому, у нее соскользнула с лица вуаль, и какой-то прохожий упрекнул ее в непристойном поведении. К тому же она заболела.

«Вспыхнула эпидемия какой-то тяжелой болезни с ужасными симптомами. Совершенно внезапно у людей начинаются страшные боли в одеревеневших конечностях, лихорадка, бред, и при этом человек совершенно не потеет. На протяжении двух дней болезнь усиливается, на третий день обычно появляется обильный пот (простите за выражение) и рвота, которые и уносят болезнь».

Едва только болезнь миссис Фэй миновала, она отправилась посмотреть празднества, посвященные разливу Нила. Они разочаровали ее и вызвали чувство отвращения.

«Среди всей толпы я не увидела ни одного приличного человека. Вот и все, что я могу сказать об этом грандиозном празднике. У нас были самые веские причины желать, чтобы он не состоялся: испарения, поднимавшиеся от грязной толпы, сделали жару уж вовсе непереносимой. Окна моей спальни выходят на канал, так что я извлекаю все выгоды от такой близости прохлады».

Постепенно события приняли более спокойный оборот. Мистер Фэй, также подхвативший заразу, поправился, к нему вернулась энергия в той степени, в какой она вообще была ему свойственна, а турецких начальников с помощью взятки в три тысячи фунтов стерлингов удалось убедить преодолеть их чувствительность и оставить европейскую колонию в живых. Супругам Фэй предстояло ужасное путешествие, но впереди их ждала Индия и, быть может, богатство.

III

В предместье Каира был сформирован Суэцкий караван — нечто грандиозное. В связи с недавними убийствами каравану была придана многочисленная охрана, и путешествие, которое продолжалось три дня, прошло без всяких несчастий. У мистера Фэя была лошадь; Элиза, все еще задыхающаяся в восточном одеянии, ехала в паланкине, ненадежно подвешенном между двумя

своенравными верблюдами. Сквозь занавески днем она видела солнце и скалы, а ночью — звезды. Она отмечает их красоту, ее чувства обострены сознанием опасности, и впоследствии она с каким-то романтическим ощущением вспомнит эту пустыню. К крыше паланкина над ее головой были подвешены бутылки с водой, дыни и крутые яйца — продукты на дорогу, которые гремели, стучаясь друг о друга, и тем сильно мешали ее сну. «Однажды сверху сорвался пакет с крутыми яйцами; яйца повывалились из сетки и основательно обстреляли меня. Счастье, что они были вареные, а то я оказалась бы в замечательном наряде». Рядом с миссис Фэй ехал верхом ее муж, а подле него маячила меланхолическая фигура мистера Тейлора в сопровождении больной собаки — борзой; молодой человек был так измучен жарой, что в изнеможении слез с лошади и попросил оставить его в покое и дать ему умереть. В этой просьбе ему отказали, и Элиза, со своей стороны, отказалась взять собаку в свой паланкин. Она всегда была благоразумна. Она не собиралась оказаться заточенной с горячей от жара больной собакой, которая могла к тому же ее укусить. «Я надеюсь, никто не упрекнет меня в бесчеловечности за то, что я в этих условиях отказалась взять к себе животное; чувство самосохранения запрещало мне согласиться на это. Я понимала, что подвергать себя такому риску было бы слабостью, а не состраданием». В конце концов собака погибла. Какой-то араб убил ее своей кривой саблей, мистер Тейлор запротестовал, араб накинулся на мистера Тейлора. «По этому происшествию вы можете судить, среди каких негодяев мы оказались».

В Суэце, на их счастье, стояло судно, и они сразу же погрузились на него. Мистер Фэй пишет своему тестю записку, чтобы сообщить, что они пока еще живы, потрясающе краткую записку:

«Кое-кто теперь очень болен, но я перенес все не хуже любого араба из нашего каравана, который состоял по меньшей мере из пяти тысяч человек. Моя жена настойчиво отбирает у меня перо».

Она берет перо и вот для чего:

«Дорогие друзья, у меня нет ни минуты времени, так как судно ждет нас, поэтому я могу лишь попросить вас присоединить ваши голоса к моему в восхвалении нашего небесного хранителя за то, что мы спаслись от различных опасностей нашего путешествия. Я никогда не думала, что обладаю таким здоровым организмом. Я, как лев, переносила тяготы пустыни. Арабы почти на чисто обокрали нас. Здесь рай для воров; я считаю, что все население можно разделить на два разряда воров: на тех, кто применяет силу, и тех, кто добивается своей цели с помощью мошенничества... У меня нет больше ни секунды. Да благословит вас бог! Дорогие друзья, молитесь за меня».

Неясно, когда супругов Фэй ограбили и что именно у них украли; быть может, они просто понесли обыкновенные потери, неотъемлемые при любой посадке на судно на Востоке. Но само судно было ограблено, и очень сильно. Оно имело отношение к предыдущему злосчастному каравану, и правительство в своем замешательстве обчистило его. Не осталось ни одного стула, ни одного стола. И все же Фэй были счастливы очутиться на его борту. У них была хорошая каюта, капитан был с виду добродушным и вежливым, а их попутчики, некие мистер и миссис Таллок, мистер Хейр, мистер Фуллер и мистер Мэнести, а также мистер Тейлор из каравана, казалось, обещали составить вполне безобидную компанию на время плавания по Красному морю. Будущее представлялось безмятежным. Но Элиза есть Элиза. И мы пока еще не видели Элизу в общении с другой женщиной. А также мы еще не видели миссис Таллок.

IV

Красота Суэцкой бухты — а она действительно необычайно красива — никогда еще не была должным образом оценена путешественниками. Они слишком торопятся прибыть в нее или покинуть ее, их взор слишком страстно устремлен в сторону Англии или Индии, и им некогда любоваться этим прелестным проходом между беловатыми горами и сияющей водой. Они чересчур заняты собственными мыслями, чтобы осознать, что

здесь, именно здесь и нигде в другом месте, находится коридор, идущий от Востока к тропикам. Все это относится и к миссис Фэй. Когда в приятный осенний день она вместе с мужем отплывала к югу, ее мысли то с гневом обращались к прошлому, то полные надежд — к будущему, и она совершенно не замечала окружающей природы. Из-за скуки, испытанной в Александрии, из-за испуга, пережитого ею в Каире, из-за национальной одежды, в которую местный фанатизм вынудил ее одеться («ужасная мода для человека вроде меня, которому для жизни кажется самым необходимым свежий воздух»), и, наконец, из-за Суэца, показавшегося ей «жалким местом, немногим лучше, чем граничащая с ним пустыня», — из-за всего этого она покидала Египет без единого доброго словечка. Даже ее библейские ассоциации отдают горечью. Она забывает о том, с какой радостью прибыл сюда Иаков, и вспоминает лишь о том, как Моисей и Аарон стремились покинуть эту страну.

Элиза, довольная тем, что ей удалось вырваться, обращает свой взор внутрь — не внутрь себя, конечно (она не занимается нездоровым самоанализом), а внутрь судна и безжалостным оком изучает своих спутников. Письмо, в котором она их описывает, свидетельствует о ее таланте, энергии, ее вере в провидение и между прочим объясняет, почему она никогда не пользуется любовью окружающих и почему на борту сразу же образовались, как она выражается, «две партии»: одна состояла из самой миссис Фэй и ее мужа, другая включала всех остальных. Вражда, вначале мелочная, не осталась без серьезных последствий. «Теперь, дорогие друзья, вы ждете от меня, — так начинает она, — чтобы я рассказала что-нибудь о тех, с кем нас поневоле связала судьба; к сожалению, мой отчет будет не очень занимателен для вас, хотя и составляет интерес для нас — благо мы находимся здесь».

Смысл несколько ускользает. Но вскоре стиль все проясняет.

«Эта особа, миссис Таллок, к которой я с самого начала отнеслась с некоторым подозрением, принадлежит, как мне теперь стало достоверно известно, к са-

мым низшим созданиям лондонских улиц. Она обладает таким развратнейшим характером, что причинять неприятности всем окружающим доставляет ей главное наслаждение. Было бы слишком большой честью для нее пачкать мою бумагу подробностями разнообразных хитростей, к которым она ежедневно прибегает для этой цели. К ее мнимому мужу, раньше бывавшему в Индии и напускающему на себя важный вид, все относятся как к очень влиятельному лицу, и никто не смеет его обидеть. Поэтому мадам предоставлена полная свобода проявлять свои зловредные таланты, муж не останавливает ее, хотя и прекрасно сумел поставить себя так, что она его боится. Иногда он прибегает к физическому воздействию. Вот обычное выражение этой леди: «Боже упаси, если бы я сделала это, Таллок бы меня просто избил как собаку». Я часто развлекаюсь, наблюдая за выражением лиц этой пары; дурной нрав в них настолько укоренился, что они, как мне кажется, и улыбаются-то только злобно.

Что касается капитана, то он просто самонадеянный чинуша. Бывший второй помощник, он после смерти бедного капитана Вандерфилда и его первого помощника в роковой пустыне, неожиданно возвысился до должности капитана и в результате стал таким наглым и властным, что все его ненавидят. Вместо того чтобы обеспечить каждого пассажира теми немногими предметами первой необходимости, какие остались после учиненного арабами грабежа, он постоянно все присваивает себе. «Где серебряная ложка капитана? Бог мой, сэр, вы заняли мой стул; разве вы должны сидеть перед стаканом капитана?» — и еще очень многое в том же роде (это я привожу только для примера). И хотя негодяй чуть не морит нас голодом, он частенько сравнивает свой стол со столом на судне Ост-Индской компании, и мы не можем ему возражать, так как находимся в его власти».

Пища — тема серьезная. Элиза была непривередлива в еде и не привержена к чисто английской кухне; она с удовольствием пробовала блюда других стран. Но она требовала, чтобы эти блюда были обильными, сытными, и если дело обстояло иначе, то громки бывали ее протесты и решительны принимаемые ею меры.

«На протяжении первых двух недель нашего плавания помехой мне за столом была моя глупая вежливость, но я быстро усвоила мудрое правило — хватай, что можешь схватить. Длинная рука лучше кормит, вы не можете себе представить, каким прекрасным захватчиком я стала. Когда мне удастся схватить какое-нибудь блюдо, то уж я не упускаю случая как следует использовать свою удачу: так как продукты совсем на исходе, мы стали настоящими дикарями — двое или трое из нас то и дело вступают в драку из-за кости, никакого уважения друг к другу мы не питаем. Негодяй капитан, хотевший получить от нас деньги за проезд просто так, ни за что, отказался запастись провизией в достаточном количестве. И если мы в ближайшее время не достигнем порта, только небо знает, каковы будут последствия».

Мистер Хейр, главный Элизин враг среди мужчин, не представлял опасности во время трапезы. Ей угрожала бойкость его ума. Когда она пишет о нем, ее перо бывает особенно острым, вообще это скорее не перо, а ядовитый зуб. Он вгрызается в претенциозность его манер, его снобизм, цинготные пятна на его лице и его маленькие бесцветные глазки. Однажды бедный молодой мистер Тейлор показал мистеру Хейру красивую шпагу с серебряным эфесом. Мистер Хейр любовался ею, пока не увидел на ножнах ужасную надпись: «Лондонская биржа». «Возьмите вашу шпагу, — сказал он, — удивительно, как человек вашего положения может совершить такую ошибку; и за пятьдесят гиней я не согласился бы носить вещь, на которой стоит название какого-то учреждения в Сити». И она поясняет: «Кто бы подумал, что отец этого утонченного господина занимался торговлей, а сам он воспитывался в том Сити, который он так демонстративно презирает? Тем не менее это подлинный факт».

Между прочим, откуда она это знает? Кто сказал ей? А также, между прочим, откуда она знает все про миссис Таллок? Но не следует задавать таких ужасных вопросов. Они колеблют основы веры.

«Итак, проявляемое этим господином обдуманное во всех мелочах внимание ко мне защищало его от всяких подозрений, пока ему не удалось достигнуть своей

цели и создать партию против меня, в чем ему помогала эта подлая женщина, которая страстно желала восторжествовать надо мной, в особенности потому, что я неоднократно была вынуждена (ради чести нашего пола) осуждать ее привычку божиться и ее непристойное поведение. Поэтому я без особого удовольствия думаю об оставшейся части нашего путешествия».

Затем Элиза перечисляет своих союзников, или, вернее, тех, кто сохраняет нейтралитет. Они представляют собой слабую группу.

«Справедливости ради следует упомянуть о мистере Тейлоре как о любезном, хотя и унылом спутнике, и о мистере Мэнести, приятном молодом человеке лет двадцати. Мистер Фуллер — мужчина среднего возраста. Он, по-видимому, попал в руки каких-то шулеров и был полностью ограблен. Таких красивых глаз, как у него, мне никогда не приходилось видеть. Мистер Моро, музыкант, очень вежлив и внимателен».

От таких мелких сошек не могло быть никакой пользы. Им едва ли удавалось обеспечить себя как следует едой. Самую верную помощь Элиза находила в самой себе.

«Так как мы рано обнаружили заговор против нас, то из осторожности решили вести себя тихо, словно не видя всего того, что не в силах исправить. Никогда не вмешиваемся в споры, все их старания вовлечь нас в какую-нибудь ссору тщетны. Я слишком презираю их, чтобы на них сердиться».

Это письмо заканчивается трогательной картиной домашней жизни посреди Красного моря:

«После трапез я обычно ухожу в свою каюту, где у меня уйма всякой работы; из купленного мною материала я сделала мистери Фэю дюжину рубашек взамен тех, что у нас украли арабы. Иногда я читаю по-француз-

ски или по-итальянски и изучаю португальский. Я также уговорила мистера Фэя учить меня стенографии, видя, как важничал мистер Хейр оттого, что знает это искусство и обучил ему своих сестер, так что они переписываются с ним с помощью стенографии. Это оказалось очень легко осуществимым делом. Одним словом, я обнаружила множество способов полезно и даже приятно проводить время. С тех пор, как мы находимся в этом положении, я часто благословляю бога за то, что он милостиво наделил меня умом, способным находить себе собственные развлечения, несмотря на все старания людей всячески этому препятствовать».

Замечателен также тон ее постскриптума:

«Я чувствую себя вполне сносно, и мой тоскующий взор обращен в сторону Бенгалии, откуда, я надеюсь, вы получите мое следующее письмо. Климат мне как будто вполне подходит. Я совершенно не страдаю от жары, она не влияет пагубно ни на мое настроение, ни на мой аппетит. Любящая вас Э. Ф.»

Следующее письмо ей пришлось прислать не из Бенгалии, а из тюрьмы. Однако здесь ее знакомые из Александрии должны проявить вежливость и удалиться. Элиза в кандалах—слишком ужасная тема. Достаточно лишь сказать, что даже в кандалах она оставалась Элизой и что миссис Таллок также была закована в кандалы. Те, кто хочет узнать об этом побольше, пусть достанут «Подлинное письмо миссис Элизы Фэй из Индии», опубликованные Калькуттским историческим обществом. В книжке есть портрет нашей героини, и он должен наполнить нас радостью. Она стоит перед нами в восточном одеянии, которое она так ненавидела, но она откинула все лишние покрывала и смотрит на мир с таким видом, словно понимает его ухищрения. Она в шароварах, одна нога ее выставлена вперед, одна рука с браслетом на запястье согнута как бы с благородным вызовом. Ее лицо, хотя и торжествующее, выражает некую настороженность. На заднем плане видны девушка-служанка и какая-то мечеть.

АСПЕКТЫ РОМАНА

Отрывки

СЮЖЕТ

Все, вероятно, согласятся с тем, что основой романа является сюжет—рассказ о событиях, история. Но каждый выразит это мнение по-своему, и от того, как оно прозвучит, зависят последующие выводы.

Прислушаемся к трем голосам. Обратимся сначала к читателю одного типа.

— Что такое роман?

— Как вам сказать... Право, не знаю,— отвечает он, не задумываясь.— Чудной какой-то вопрос. Роман это роман. Ну, в нем рассказывается какая-нибудь история.

Он отвечает добродушно и неуверенно. И, возможно, при этом не выпускает из рук руля: ведет автобус. Литература интересуется его постольку-поскольку. Не более.

Другой — он видится мне на площадке для игры в гольф — отвечает агрессивно и резко:

— Что такое роман? Прежде всего рассказ о событиях, а если в романе ничего не происходит, мне он не интересен. Пусть у меня плохой вкус, но я люблю интересные истории. Оставьте себе вашу живопись, вашу литературу, вашу музыку, а мне подавайте интересную историю. И имейте в виду, чтобы эта история была историей что надо! И жена моя, кстати, того же мнения.

А третий произнесет свой ответ негромким, грустным голосом:

— Да, увы, да. В романе рассказывается какая-нибудь история.

Я уважаю первого читателя и восхищаюсь им, но не люблю и побаиваюсь второго. Ну, а третий — я сам.

Да, увы, да, в романе рассказывается какая-нибудь история. В основе романа лежит сюжет, и без него он не мог бы существовать. Сюжет — важнейшая пружина

в механизме всех романов. Но мне жаль, что это так. Мне хотелось бы, чтобы было иначе. Чтобы в основе романа лежала мелодия, или поиски истины, или... словом, что угодно, только не эта примитивная, атавистическая форма.

Почему? Да потому, что чем больше мы приглядываемся к сюжету (к той самой «истории», которая должна быть «историей что надо»), чем старательнее высвобождаем его от других, более тонких напластований, которые он поддерживает, тем меньше поводов восхищаться им. Он нечто вроде позвоночного столба — нет, скорее ленточный червь, который может состоять из любого числа члеников. К тому же он невероятно стар — существовал еще в эпоху неолита, если не палеолита. Неандерталец, судя по форме черепа, любил слушать истории. Первобытную аудиторию — косматых слушателей, которые, отупев после жестокой схватки с мамонтом или поросшим шерстью носорогом, разинув рты, сидели у костра, — мог удержать от сна лишь напряженный интерес: «А дальше что?» Рассказчик бубнил свое, но стоило слушателям догадаться, что будет дальше, и они или засыпали, или тут же его приканчивали. Об опасности, которой он подвергался, можно судить хотя бы по судьбе Шахразады, жившей, правда, в несколько более позднее время. Она избежала смерти только потому, что владела искусством поддерживать в своем слушателе напряженный интерес — единственным искусством, которое действует на дикарей и тиранов. И хотя Шахразада была великой рассказчицей — искусной в описаниях, снисходительной в суждениях, изобретательной в деталях, умелой в изображении характеров, сведущей во всем, что касалось трех восточных столиц, и к тому же придерживалась передовых взглядов на мораль, однако, спасая свою жизнь от несносного супруга, она не рискнула положиться ни на один из этих талантов. Не они сыграли решающую роль. Если она избежала смерти, то только потому, что умела поддерживать в царе Шахрияре напряженный интерес — «а дальше что?» Каждый раз с восходом солнца она замолкала на полуслове, оставляя его с разинутым ртом: «...и Шахразаду застало утро, и она прекратила дозволенные речи». Эта коротенькая, ничем не примечательная фраза — нить, на которую нанизана «Тысяча и одна ночь» и на которой держится жизнь не имеющей себе равных царицы.

В известном отношении мы все похожи на пресловутого мужа Шахразады — нам тоже не терпится знать, что будет дальше. Всем поголовно. Вот почему в основе романа должен лежать сюжет. Есть люди, которых больше ничего не интересует, — им присуще только это первородное любопытство, и суждения их о литературе просто смехотворны.

Определим же, что такое сюжет. Сюжет — это повествование о событиях, происходящих во временной последовательности: сначала завтрак, потом обед, сначала понедельник, потом вторник, сначала смерть, потом физическое разложение. Сюжет как таковой может обладать только одним достоинством — слушателям интересно, что будет дальше. И, соответственно, лишь одним недостатком — слушателям неинтересно, что будет дальше. Только с этих двух точек зрения можно оценить «историю что надо». Рассказ с острым сюжетом — самая простая из всех литературных форм. И тем не менее без него нет такого сложного организма, как роман.

Если мы препарлируем сюжет, изолировав его от аспектов высшего порядка, и, подобно естествоиспытателю, подыдем пинцетом этот голый, извивающийся, бесконечный червь временной последовательности, каким невзрачным и скучным он нам покажется. Но из него можно многое извлечь. И для начала рассмотрим его в соотношении с реальной жизнью.

В повседневной жизни чувство времени также проявляется на каждом шагу. Мы считаем, что события происходят одно за другим или перед другим, и это представление настолько укоренилось в нашем сознании, что мы исходим из него почти во всех наших речах и делах. Почти во всех, но все-таки не во всех. Наша жизнь, по видимому, измеряется не только временем, а чем-то еще, какой-то другой величиной, которую я условно назвал бы значимостью — величиной, исчисляемой не минутами и часами, а интенсивностью прожитого. Так, наше прошлое не уходит вдаль ровной дорогой, а громоздится отдельными вершинами, будущее же представляется то стеной, то облаком, то солнцем, но только не хронологической таблицей. Наши упоминания и предвидения не нуждаются в отце Хроносе, а мечтатели, поэты и влюбленные частенько ускользают от его тирании. Он может их убить, но не в силах подчинить себе, и даже

в роковой миг, когда башенные часы, напружинившись, отбивают время, мысли этих людей могут витать совсем в другом направлении. Итак, повседневная жизнь протекает в двух планах — в плане времени и в плане значимости. В нашем поведении мы отдаем дань и тому, и другому — «Я видел ее только пять минут, но они стоили вечности!» Здесь в одном предложении сосуществуют оба плана. Сюжет повествует о жизни во времени. Роман же — если это хороший роман — содержит в себе и второй план: жизнь в ее значимости, используя для такого показа ряд приемов, о которых речь впереди. В нем также существуют оба измерения, оба плана. Но для него, для романа, временная последовательность событий обязательна: без нее нельзя создать роман. В жизни, возможно, кой-кому и удастся без нее обойтись — не нам судить. Опыт некоторых мистиков, кажется, говорит о том, что мы ошибаемся, полагая, будто за понедельником следует вторник, а за смертью — физическое разложение. В жизни мы вольны отрицать наличие времени и даже вести себя соответственно, правда, рискуя тем, что наши сограждане перестанут нас понимать и предпочтут определить в заведение, именуемое в просторечии сумасшедшим домом. Но романист в пределах своего романа не может позволить себе отрицать время. Ему приходится, хотя бы слегка, держаться за сюжетную нить, приходится касаться беспредельного червя времени, иначе его перестанут понимать, а для романиста это большая беда.

Я не собираюсь рассуждать о времени — для человека, не сведущего в философии, заниматься этим (по утверждению специалистов) крайне опасно. Лучше уж увлекаться пространством. Даже весьма уважаемые метафизики ломали себе на этом шею. Я лишь пытаюсь объяснить, что, читая вам лекцию, иногда слышу тиканье часов, а иногда — нет. То теряю чувство времени, то обретаю вновь. В романе же часы должны идти всегда. Иному писателю они могут быть не по вкусу. Эмилия Бронте пыталась в «Грозном перевале» спрятать свои часы. Стерн в «Тристраме Шенди» перевернул их вверх дном. Марсель Пруст, еще более изобретательный, поменял местами стрелки, так что его герой одно временно потчевал свою возлюбленную ужином и играл в мяч с няней в парке. Все эти приемы законны, но ни один из них не уничтожает высказанного здесь поло-

жения: основой романа является сюжет, а сюжет — это повествование о событиях, протекающих во времени. (Кстати, сюжет и фабула не одно и то же. Сюжет может быть основой фабулы, но фабула сложнее сюжета, и ее мы определим и рассмотрим в другой лекции.)

Кого бы попросить рассказать нам историю?

Ну, конечно же, сэра Вальтера Скотта.

Боюсь, мы сильно разойдемся во мнениях о значении Вальтера Скотта как романиста. Я, сознаюсь, не принадлежу к его поклонникам и не перестаю удивляться, чем вызвана его столь длительная слава. Почему он пользовался признанием у современников, легко понять. На то были важные исторические причины, о которых стоило бы поговорить, если бы я читал вам лекцию по истории литературы. Но стоит выудить Скотта из реки времени и усадить за стол в нашем круглом зале вместе с другими романистами, как он сразу утрачивает всю свою внушительность. У него, при ближайшем рассмотрении, весьма трафаретный ум и тяжелозесный слог. Он не умеет строить роман. К тому же лишен художественной объективности и подлинного чувства, а без этого не создать характеры, которые глубоко трогают сердце читателя. Ну, скажем, требовать от писателя художественной объективности — это уже снобизм! Но способность чувствовать — свойство достаточно обычное, присущее даже самым заурядным людям. Вспомните, как все эти тщательно выписанные Скоттом горы, эти ухоженные долины и старательно разрушенные монастыри взывают о чувстве — а его-то как раз и нет! Умей он писать с чувством, он был бы великий писатель — никакие нелепости, никакая искусственность не имели бы значения. Но сердце его бьется ровно, он всегда только безупречный джентльмен, в меру любящий природу родного края — а на этой основе великих романов не создать. А его хваленая цельность — хуже, чем ничего: для него она имела лишь нравственный и коммерческий смысл, удовлетворяла его духовные потребности, и он даже не помышлял о том, что могут быть иные идеалы.

Скотт обязан своей литературной репутацией двум обстоятельствам. Во-первых, людям старшего поколения его романы в детстве читали вслух, с ними связаны милые сердцу воспоминания, каникулы или даже годы, прожитые в Шотландии. Они, право, любят Скотта по

той же причине, по какой я любил и люблю «Швейцарских робинзонов». Я мог бы тотчас прочитать вам лекцию о «Швейцарских робинзонах», и это была бы пламенная лекция — и все благодаря тем чувствам, которые я испытал мальчишкой. Когда у меня наступит размягчение мозга, я отложу в сторону великую литературу и вернусь на романтический берег, в виду которого «со страшным треском раскололась шхуна» и из нее явилось четверо полубогов по имени Фриц, Эрнст, Джек и малыш Франц с папой, мамой и баулом, набитым всем, что необходимо для десятилетнего пребывания в тропиках. Моя вечная весна — вот что такое для меня «Швейцарские робинзоны». А разве романы Скотта не то же самое для многих из вас? Воспоминание о счастливых днях детства. И только. А пока наши мозги еще не размягчились, лучше отбросить подобные сантименты, если мы хотим разобраться в книге.

Вторая причина славы Скотта действительно существенна. Он умел рассказывать истории. Он обладал примитивным даром держать слушателей в напряжении и играть на их любопытстве. Попробуем пересказать «Антикварий» — не проанализировать, так как это бесполезно для нашей цели, а именно пересказать. Тогда мы увидим, как развивается сюжет, и сможем разобраться в его механизме. Итак:

Антикварий

ГЛАВА I

«Прекрасным летним утром — это было в конце восемнадцатого века — молодой человек благородной наружности, направлявшийся в северо-восточную часть Шотландии, запасся билетом для проезда в одном из тех дилижансов, что ходят между Эдинбургом и Куинсферри, где, как показывает само название и как хорошо известно всем моим северным читателям, существует перевоз через залив Ферт-оф-Форт»¹.

Таково первое предложение. В нем нет ничего завлекательного, но оно сообщает нам время и место действия, а также знакомит с молодым человеком, то

¹ Цит. по Собр. соч. Вальтера Скотта в 20-ти т., т. 3. М., 1961, с. 18.

есть сообщает все, что нужно, чтобы начать повествование. Наш интерес слегка подогрет: что же произойдет с молодым человеком дальше? Его зовут Ловел, и он окружен какой-то тайной. Он главный герой, иначе Скотт не наградил бы его благородной наружностью, и он, несомненно, составит счастье героини. К нему присоединяется некий Джонатан Олдбок, антикварий. Оба джентльмена после некоторого промедления садятся в дилижанс, где и знакомятся, а позднее Ловел посещает Олдбока в его доме. Неподалеку от этого дома им попадает еще один персонаж, Эди Охилтри. Скотт — мастер по части введения новых героев. Они входят в повествование совершенно естественно и обещают внести в него много интересного. Эди Охилтри — многообещающая фигура. Он нищий, но не обычный попрошайка, а романтический, самоотверженный бродяга. Уж не он ли поможет раскрыть тайну, которая окутывает Ловела легкой пеленой? Еще несколько новых лиц: сэр Артур Уорддор (потомок старинного рода и незадачливый хозяин), его дочь, надменная Изабелла, которую герой любит без взаимности, сестра Олдбока — мисс Гризл. При первом появлении мисс Гризл тоже кажется весьма многообещающей фигурой. В действительности она просто комический персонаж, ничего не добавляющий к ходу событий. Наш рассказчик любит комические отступления. Он не обязан все время долбить одни причины и следствия. К тому же он вовсе не нарушает канон жанра, если поговорит о том о сем, не имеющем прямого отношения к событиям. Слушатель все равно убежден, что все идет в дело, в голове у него сумбур — он устает, тупеет и забывает. Рассказчику, в отличие от того, кто плетет интригу, оборванные нити только на пользу. Тема мисс Гризл — относительно короткая нить. А вот длинная нить такого рода торчит из другого — небольшого, но трагического романа «Ламмермурская невеста». В этой книге Скотт с самого начала особенно выпячивает лорда — хранителя печати, без конца намекая, что его недостатки будут причиной трагедии, тогда как на самом деле трагедия произошла бы, если бы этого героя и вовсе не было: она рождается из столкновения Эдгара, Люси, леди Эштон и Баклоу. Однако вернемся к «Антикварию». Олдбок приглашает сэра Артура отобедать, и джентльмены спорят. Сэр Артур, обидевшись на хозяина, удаляется вместе

с дочерью и идет домой пешком по прибрежным пескам, которые часто заливают во время прилива. И как раз начинается прилив. Сэр Артур и Изабелла отрезаны водой. И тогда появляется Эди Охилтри. Это первый драматический эпизод в повествовании, и вот как наш рассказчик — «рассказчик что надо» — его изображает:

«В это время путники остановились на самом высоком уступе скалы, до какого только могли добраться, ибо казалось, что всякая дальнейшая попытка продвигнуться вперед могла только ускорить их гибель. Здесь им и предстояло теперь ждать верного, хотя и медленного наступления разъяренной стихии. Их положение несколько напоминало положение мучеников ранней поры христианства, отданных языческими тиранами на растерзание диким зверям и вынужденных некоторое время созерцать нетерпение и ярость животных, ждущих, когда по сигналу откроют решетку и они ринутся на свои жертвы.

Но даже эта грозная передышка дала время Изабелле призвать на помощь весь свой ум, от природы сильный и смелый и теперь воспрянувший в этот страшный миг.

— Неужели мы должны отдать жизнь без борьбы? — сказала она. — Нет ли тропинки, хотя бы самой опасной, по которой мы могли бы взобраться на скалы или по крайней мере подняться на такую высоту над приливом, где мы могли бы остаться до утра или пока не подоспеет помощь? О нашем положении, наверно, известно, и вся округа поднимется, чтобы нас спасти»¹.

Так говорит героиня голосом, несомненно бросающим читателя в дрожь. Тем не менее нам не терпится узнать, что будет дальше. Ведь скалы — из картона, того самого картона, что и берега в моих дорогих «Швейцарских робинзонах»; буря подымается по мановению левой руки Скотта, пока правой он живописует первых христиан. Во всей этой сцене нет ни капли искренности, как нет и ощущения опасности. Она лишена подлинных чувств, надумана. И нас волнует только одно — что будет дальше.

Ну конечно, Ловел их спасает. Впрочем, нам следовало бы и самим предвидеть такой исход. А дальше?

¹ Скотт Вальтер. Указ. соч., с. 95.

Дальше еще одна повисшая нить. На ночь Ловела помещают в комнату, где обитают духи. Ему не то снится, не то является предок антиквария, обращающийся к нему со словами «Kunst macht Gunst», которые Ловел, не зная по-немецки, не понимает и только позднее узнает, что они означают «искусство порождает благосклонность»: борись, мол, за сердце Изабеллы. Иначе говоря, вклад духа в развитие событий равен нулю. Он появляется в романе под шелест драпировок и завывание бури, а в результате — лишь прописная истина. Правда, читатель этого не ощущает. Он слышит: «Kunst macht Gunst», — и внимание в нем пробуждается... ну, а потом автор сумеет отвлечь его другими предметами, события же пойдут своим чередом.

Пикник в развалинах монастыря святой Руфи. Еще один персонаж — Дюстерзивель, пройдоха немец, вовлекший сэра Артура в какие-то аферы с шахтами. Он набит предрассудками, но своими, не шотландскими, а потому не грех и посмеяться над ним.

К антикварию заявляется племянник, Гектор Мак-Интайр, обвиняющий Ловела в том, что он не тот, за кого себя выдает. Молодые люди дерутся на дуэли, и Ловел, решив, что убил противника, бежит с помощью Эди Охилтри, как всегда подоспевшего в нужный момент. Скрываясь в развалинах монастыря святой Руфи, они становятся свидетелями того, как Дюстерзивель дурачит сэра Артура, подбивая его искать клады. Затем Ловел отбывает на небольшом бриге, и (с глаз долой — из сердца вон) мы не вспомним о нем, пока он не появится вновь. Опять поиски сокровищ в развалинах монастыря. Сэр Артур находит кучу серебра. В третий раз поиски сокровищ. Кто-то бьет Дюстерзивеля по голове, и, придя в себя, он видит погребение старой графини Гленаллен, которую хоронят тайно в полночь, ибо Гленаллены — католики.

Надо сказать, что Гленаллены играют в романе очень важную роль. Однако до чего же случайно они в нем появляются! Скотт самым грубым образом пристегивает их к Дюстерзивелю. Просто немец оказывается под рукой, и Скотт смотрит его глазами. Читатель же к этому времени настолько убажжен непрерывной сменой эпизодов, что, подобно пещерному жителю, внимает разинув рот. Теперь в ход пошли Гленаллены. Развалины монастыря святой Руфи убирают со сцены, нам

преподносится так называемая предыстория, в которой участвуют два новых персонажа, и из их бредового и туманного разговора мы узнаем о каком-то преступлении, совершенном в далеком прошлом. Персонажи эти — Элспет Маклбеккит, пророчица рыбацка, и лорд Гленаллен, сын покойной графини. В их диалог то и дело вклиниваются всяческие события: арестовывают, судят и отпускают на волю Эди Охилтри, тонет еще один персонаж, а в доме дяди всем на радость выздоравливает Гектор Мак-Интайр. Но суть не в этом, а в том, что много лет назад лорд Гленаллен против воли матери женился на некоей леди по имени Эвелин Невил, и тут-то ему сообщили, что она, возможно, его сводная сестра. Объятый ужасом, лорд Гленаллен покинул жену, которая ждала ребенка. И вот теперь Элспет — в прошлом служанка графини Гленаллен — разъясняет ему, что Эвелин не была связана с ним кровными узами и что она умерла в родах, которые Элспет принимала у нее вместе с еще одной женщиной, ребенок же исчез. Услышав все это, лорд Гленаллен спешит за советом к антикварию, который, будучи мировым судьей, в курсе этих давних дел, да и к тому же сам когда-то был неравнодушен к Эвелин. А дальше что? Сэр Уорддор, разоренный Дюстерзивелем, теряет все свое состояние. А потом? Распространяются слухи о высадке французов. А потом? Появляется Ловел во главе английского эскадрона. Только теперь его зовут майор Невил. Но это тоже еще не настоящее его имя, ибо он не кто иной, как потерянное дитя лорда Гленаллена, законный наследник его имени и титула. От Элспет Маклбеккит, от еще одной бывшей служанки Гленалленов, которая повстречалась нашему герою за границей в монашеском одеянии, от недавно умершего дяди и, наконец, от Эди Охилтри мы постепенно узнаем всю правду. Такая развязка обусловлена множеством причин, но Скотта они не интересуют; он отмахивается от них, не давая себе труда выяснить все до конца. Ему важно лишь, чтобы одно событие сменяло другое. А потом? Изабелла Уорддор смягчается и осчастлиливает нашего героя. А потом? Все. На этом история кончается. Нельзя же беспрестанно спрашивать: а потом? Если позволить рассказу о событиях, протекающих во времени, слишком затянуться, он может увлечь нас в мир иной.

В «Антиквари» романист инстинктивно придерживается «жизни во времени», и это ведет к ослаблению эмоциональности и банальным суждениям, а также к глупейшей концовке — непременно свадьбе. Но писатель может изображать ход времени намеренно. Пример этому мы находим в книге совершенно иного рода — в романе Арнолда Беннетта «Повесть о старых женщинах». Подлинным ее героем является время. Время здесь господь вседержитель; лишь мистер Критчлоу почему-то неподвластен ему, и это исключение только подтверждает правило. Софья и Констанция — дети времени. С первого же момента, когда мы видим их маленькими озорницами, рядящимися в материнские платья, они обречены на умирание, процесс которого показан в этой книге с полнотой, почти не знающей себе равной в мировой литературе. Вот они девочки, вот Софья убегает из дому и выходит замуж, умирает муж Констанции, умирает муж Софьи, умирает Софья, умирает Констанция, старая ревматическая собака с трудом подползает к блюдцу, чтобы посмотреть, не осталось ли в нем чего. Да, наша жизнь, протекающая во времени, не что иное, как старение, а со старостью у Софьи и Констанции закупориваются вены, и их история, «история что надо», начавшаяся так бодро и весело и рассказанная Беннеттом «без всяких там писательских штук», с неизбежной необходимостью привела в итоге к могиле. А такой итог не удовлетворяет. Конечно, мы стареем, но в великой книге должно быть что-то большее, чем такого рода «конечно», а поэтому, хотя «Повесть о старых женщинах» — книга талантливая, правдивая, скорбная, великой ее не назовешь.

Ну а «Война и мир»? Это, несомненно, великая книга, хотя она тоже говорит о власти времени, о том, как приходит и уходит целое поколение. Толстой, подобно Беннетту, не боится показать, что люди стареют, — частичное превращение Николая и Наташи, честно говоря, ранит больше, чем полное омертвление Констанции и Софьи: с юностью героев Толстого словно уходит и наша юность. Но почему же «Война и мир» не производит гнетущего впечатления? Возможно, потому, что там господствует не только время, но и пространство, а чувство пространства — если только оно не подавляет нас — радует душу, производя на нас такое же действие, как музыка. Стоит прочесть несколько страниц

«Войны и мира», и в сознании словно начинают звучать мощные аккорды. Откуда они берутся? Трудно сказать. Они идут не от событий, хотя Толстого не менее, чем Скотта, волнует вопрос — что же дальше, и не от персонажей, хотя в описании их Толстой не менее правдив, чем Беннетт. Они подымаются от необъятных просторов России, по которым рассеяны события и персонажи, от всей совокупности этих мостов и замерзших рек, лесов и дорог, полей и пашен, вобравших в себя величие и торжественность, передающиеся и нам по мере того, как мы проходим мимо. Чувство места присуще многим романистам — вспомните пять городов Беннета, Эдинбург Вальтера Скотта и других, — но лишь немногие писатели обладают чувством пространства, а в божественном арсенале средств, которыми владеет Толстой, это оружие занимает одно из главных мест. В «Войне и мире» властвует не время, а пространство.

В заключение несколько слов о сюжете как носителе голоса. Именно из-за сюжета роман следует читать вслух: в отличие от других прозаических жанров, он обращен не к глазу, а к уху, и в этом сродни ораторской речи. В нем нет ни мелодии, ни ритма. Для мелодии и ритма, как это ни странно, достаточно глаза. Глаз с помощью преобразующего мозга легко улавливает звукопись описания или диалога, позволяя нам — если они обладают эстетической ценностью — наслаждаться ими. Более того, глаз способен настолько конденсировать процесс чтения, что зрительно мы можем схватывать текст быстрее, чем произнося его вслух, подобно тому, как многие музыканты читают партитуру быстрее, чем исполняют ее на фортепьяно. Но услышать голос глазу не дано. Предложение, которым начинается «Антикварий», не отличается красотой звучания, и все-таки мы что-то утратим, если не прочтем его вслух. Мы будем общаться со Скоттом молча и с меньшей пользой для себя. Сюжет его романа не только передает последовательность событий, но еще и доносит голос рассказчика, и тем самым прибавляет что-то еще.

Правда, немного. Так, через него не раскрывается личность автора — и это весьма существенно. Личность автора, коль скоро она у него есть, выявляется через более сложные аспекты: характеры, фабулу, суждения о жизни. Значение сюжета в этом плане невелико, ему дано только превращать читателя в слушателя, к кото-

рому обращен чей-то голос. Чей? Да все того же древнего сказителя, сидящего на корточках в центре пещеры и нанизывающего одну историю за другой, пока первобытная аудитория не заснет вповалку среди объедков и обглоданных костей. Сюжет примитивен, он восходит к первоначальной стадии литературы, когда люди еще не умели читать. Он пробуждает в нас первобытные чувства. Не потому ли мы так яростно, с пеной у рта отстаиваем свои любимые истории и готовы вцепиться в глотку всякому, кому они не по вкусу? Я, например, очень сержусь, когда смеются над моим пристрастием к «Швейцарским робинзонам», и, боюсь, кое-кто из здесь присутствующих рассердился на меня за Скотта. Думаю, понятно, что я хочу сказать. Истории создают атмосферу нетерпимости. А между тем они не несут в себе нравственного урока и не способствуют пониманию романа в других его аспектах. Если мы хотим познать его во всей глубине, нужно выйти из пещеры.

Но пока нам еще рано выходить из нее, хотя мы и видим, как жизнь — та, что измеряется значимостью прожитого, — атакует роман со всех сторон, грозя захватить и разнести его, наводнив новыми характерами, фабулами, фантазмагориями, дыханием вселенной — всем, чем угодно, только не этим постоянным «а потом?.. а потом?», которое сейчас единственно нас занимает. План жизни во времени такой плоский, такой незначительный, что невольно возникает вопрос: неужели писатель не может обойтись без него — ведь заявляют же мистики, что живут не во времени, заменив его вторым, более важным планом — жизнью по значимости.

Что ж, есть в мире писатель, вернее писательница, Гертруда Стайн, попытавшаяся изгнать время из романа. И неудача ее попытки поучительна. Действуя намного решительнее Эмили Бронте, Стерна и Пруста, Гертруда Стайн разбила свои часы вдребезги и разметала их осколки по свету, словно части тела Озириса. Она поступила так вовсе не из озорства, а с благородными намерениями, надеясь высвободить художественную прозу из-под тирании времени и дать писателю возможность показать жизнь в ее значимости. Но у нее ничего не вышло, потому что как только художественная литература отказывается следовать времени, она ничего не может выразить. В последних произведениях Стайн ясно

видно, по какой наклонной плоскости она скользит. Она берется изгнать из романа сюжет, уничтожить последовательность изложения событий, и я сочувствую ей всей душой. Но чтобы достичь цели, придется разрушить последовательность предложений, затем, в свою очередь, последовательность слов в предложении и, наконец, букв в слове. И вот она на краю бездны. Над подобным экспериментом грешно смеяться. Куда почетнее жонглировать над бездной, чем переписывать исторические романы Вальтера Скотта. И при всем том эксперимент этот обречен на провал. Разрушая временную последовательность в художественной прозе, мы хороним под ее обломками и все то, что могло бы занять ее место; роман о жизни в ее значимости оборачивается абракадаброй и, следовательно, утрачивает для нас всякое значение.

Потому-то я и прошу вас: повторим же вместе слова, которыми я начал этот экскурс. И, пожалуйста, произнесите их в должном тоне. Не говорите их добродушно и неуверенно, как шофер автобуса — у вас нет на это права. Не говорите их агрессивно и резко, как игрок в гольф, — вам это не пристало. Скажите их с грустью. И они прозвучат как раз так, как надо: да, увы, да, в романе рассказывается какая-нибудь история.

люди

Часть I

Разобравшись в сюжете — в этом примитивном, но основополагающем аспекте романа, — перейдем к более интересной теме — действующим в нем лицам. Теперь нас будет занимать не что произойдет дальше, а с кем это произойдет. Тут романист вынужден обращаться к уму и воображению читателя, а не только играть на его любопытстве. В его голосе появится новая нота — она заговорит о том, что значительно.

Поскольку в романе, как правило, действуют человеческие существа, думается, правильнее всего назвать этот аспект «люди». Правда, известны попытки сделать героями и другие живые существа, но они не имели большого успеха, поскольку о психологии животных пока слишком мало известно. Быть может, в будущем, и даже в самом ближайшем, в этом плане произой-

дуг какие-то сдвиги: любили же писатели прошлых столетий изображать дикаря. Пропась между Пятницей и Батуалу не менее широка, чем пропась, разделяющая киплинговских волков и их литературных потомков, которые появятся лет через двести и будут просто животные — животные, а не символы, не образы маленького человека, не четырехногие схемы или попросту красиво разрисованные листы бумаги. Именно в этой области наука могла бы расширить диапазон романа, предоставив романисту новое поле для исследования. Но поскольку помощь еще не подоспела, думаю, мы пока вправе сказать, что действующими лицами романа являются (или считаются) человеческие существа.

Писатель и сам человек, а потому между ним и предметом его изображения существует сходство, которого нет в других видах искусства. Связан со своим материалом и историк, но, как мы увидим позже, не столь тесно. У художника и скульптора тесной связи и вовсе нет: им нет необходимости изображать человека, разве что они сами того пожелают. То же можно сказать и о поэте. Что касается композитора, то он, даже если захочет, неспособен вывести человека, не помогая себе программой. Романист же, в отличие от своих собратьев по искусству, компонуется словесные ряды, в которых в общих чертах описывает себя самого (в общих чертах, ибо частности появляются позднее), наделяя их именами и полом, одаря правдоподобными жестами, заставляя с помощью кавычек произносить слова и даже иногда вести себя соответственно данной им роли. Эти словесные построения принято называть героями, или персонажами. Они отнюдь не являются плодом холодных рассуждений, а, напротив, нередко рождаются в волнениях и муках. Но, так или иначе, характер героя обусловлен теми чертами, какие писатель подметил в себе или других людях, и развивается в согласии с другими аспектами романа. Последнее — зависимость персонажей от других аспектов романа — составит предмет нашей следующей беседы. А сейчас займемся их связью с реальной действительностью. Что отличает лиц, действующих в романе, от людей в жизни, подобных самому романисту, вам, мне или королеве Виктории?

Они непременно должны отличаться один от другого. Если героиня романа в точности повторяет королеву Викторию — то есть не примерно такая же, а в точности

такая же, как королева Виктория,— значит, она и есть королева Виктория, и книга (или та часть ее, где выступает эта героиня) уже не роман, а мемуары. Мемуары принадлежат истории и основаны на точных фактах. Роман же основан на фактах плюс-минус какое-то неизвестное, а неизвестное это, в которое входит и личность романиста, неизбежно преобразует смысл фактов, а иногда даже полностью их изменяет.

Историк описывает действия, характер же раскрывает только в тех пределах, в каких может судить о них по действиям изображаемых лиц. Характеры интересуют, его не меньше, чем романиста, но он может знать о них только то, что проявляется ими открыто. Если королева Виктория не сказала бы: «Нам скучно»,— ее сотрапезники не знали бы, что ей скучно, и этот факт не получил бы огласки. Она могла бы нахмуриться, и придворные по этому движению догадались бы о ее настроении: взгляды и жесты тоже являются историческими свидетельствами. Но если бы она сдержалась, никто ни о чем бы так и не узнал. Скрытая жизнь души скрыта по определению. Как только скрытая жизнь обнаруживает себя во внешних проявлениях, она перестает быть скрытой и переходит в область действий. Задача романиста в том и состоит, чтобы показать скрытую жизнь души в ее источнике, то есть рассказать о королеве Виктории больше, чем о ней известно из фактов, и таким образом создать характер, который окажется неравнозначным исторической королеве Виктории.

Французскому критику, пишущему под псевдонимом Ален, критику умному и тонкому, принадлежит по этому поводу несколько полезных, хотя и чуть-чуть эксцентричных замечаний. Он, как и я — правда, в меньшей степени,— увяз во всяких сложностях, и вместе мы, быть может, выберемся на твердую почву. Исследуя разные формы художественной деятельности и добравшись в итоге до романа, Ален уверяет, что каждый человек выступает как бы в двух ипостасях, из которых одна может служить предметом истории, другая же — художественной литературы. Вся видимая сторона человеческой деятельности, то есть поступки человека и та часть духовной жизни, которую можно через них познать, относится к области истории. Но романическая или романтическая сторона его «я» (*se partie romanesque ou romantique*) включает «только чувства, то

есть мечтания, радости, горести и наблюдения над самим собой, которые воспитание или стыдливость не позволяют предавать гласности», и одна из главных функций романа — выразить именно эту сторону человеческого «я».

«Вымышленным в романе является не столько сюжет, сколько полное раскрытие внутреннего мира героя через действия, что никогда не имеет места в реальной жизни... В истории, где всем движут внешние причины, господствует понятие рока, роковых случайностей; в романе же нет ничего случайного, судьба человека выводится из его натуры, и поэтому в целом создается впечатление, что перед нами жизнь, в которой все предусмотрено, даже страсти и преступления, даже несчастья»¹.

Это положение, выраженное Аленом, возможно, несколько расплывчатое, известно каждому английскому школьнику: историк констатирует — писатель сочиняет. И все же в этой расплывчатости много ценного: Ален выявляет главное различие между человеком в жизни и человеком в литературе. В жизни нам не дано понимать друг друга, в ней не существует ни полного проникновения в чужой внутренний мир, ни полного самораскрытия своего внутреннего «я». Мы знаем друг друга лишь приблизительно, по внешним сигналам, хотя их вполне достаточно для общения и даже близости. В романе же, если только автор этого хочет, читатель знает о героях решительно все; их внутренняя жизнь так же, как и внешняя, перед ним полностью раскрыта. Вот почему о литературных персонажах у нас часто складывается более полное представление, чем о реальных людях, включая и наших близких. О литературных персонажах нам известно все, что только возможно. Пусть они даже несовершенны или неправдоподобны, но у них нет от нас тайн, тогда как у наших друзей всегда есть какие-то свои секреты, и не может их не быть, ибо одно из условий существования на земле — взаимная скрытность.

Рассмотрим теперь вопрос о человеке в жизни и литературе с самых примитивных позиций. Вы и я — люди. Обратимся же к главным фактам нашей жизни — не к

¹ Изложено по книге «Systeme dex beaux art» (Paris, 1920), с. 314—315. Знакомством с этим содержательным очерком я обязан Андре Моруа. (Прим. автора.)

этапам нашей карьеры, а к главным фактам жизни как таковой. Тогда мы сможем от чего-то оттолкнуться.

Таких главных фактов в жизни каждого человека пять: рождение, еда, сон, любовь и смерть. Можно увеличить это число, добавив, скажем, дыхание, но именно названные пять явлений самые непреложные. Посмотрим теперь, какое место занимают они в реальной жизни и какое — в романах. Стремится ли романист воспроизвести их в полном объеме или же предпочитает усилить, ослабить или вовсе замолчать, проводя своих героев через процессы, не совсем похожие на те, через которые проходим вы и я, но называя теми же именами.

Начнем с рассмотрения двух самых замечательных явлений: рождения и смерти,— замечательных потому, что они одновременно и присутствуют, и отсутствуют в нашем опыте. И о том, и о другом мы знаем только понаслышке. Мы все рождались, но никто не помнит, как это было. Смерть, как и рождение, неизбежна, но никто не знает, как это будет. О последнем и первом нашем ощущении мы можем лишь догадываться. Человек выходит из тьмы и уходит во тьму. Есть, правда, люди, которые полагают, что могут рассказать нам о рождении и смерти. Например, каждая мать имеет свою точку зрения на рождение ребенка; свои точки зрения на рождение и смерть у врача и священнослужителя. Но они наблюдали эти явления со стороны; те же два существа, единственные, кто мог бы просветить нас на этот счет — младенец и мертвец, — не могут нам ничего поведать, ибо наши антенны не принимают сигналы их передатчиков.

Итак, нам остается исходить из того, что люди вступают в жизнь с ощущениями, которые впоследствии полностью забывают, и уходят из жизни с ощущениями, которые могут предугадывать, но неспособны постичь. Вот такие существа — или примерно такие — писатель берется нарисовать в своих романах. Он — если только хочет — может помнить и знать о герое абсолютно все. Всю подноготную скрытой жизни души. Начинает ли он историю своего героя сразу после его рождения? Доводит ли его до самой могилы? Как выражает, как передает он эти два непостижимые ощущения?

Поговорим теперь о еде, о процессе заправки, о поддержании жизненных сил в человеческом организ-

ме — о процессе, начинающемся еще до рождения и продолжающемся после него, сначала через посредство матери, а потом самостоятельно самим индивидуумом. Из дня в день, не испытывая ни удивления, ни досады, человек отправляет в отверстие на лице целую грудку продуктов. Еда, как нить, связывающая известное и забытое, тянется с момента рождения, которое никто не помнит, к завтраку, съеденному нами сегодня с утра. Подобно сну, с которым у нее много общего, еда не только восстанавливает наши силы, но и отвечает эстетическим потребностям: может быть вкусной и невкусной. Какое же место в романе отводит писатель этому благу о двух концах?

В-четвертых, сон. В среднем примерно треть нашего времени мы проводим не среди себе подобных, пользуясь тем, что дает нам цивилизация, и даже не в так называемом уединении, а погружаемся в некое состояние, о котором почти ничего не известно и которое по выходе из него кажется нам то забытым, то пародией на реальный мир, то откровением. «Мне ничего не снилось», или «мне снилась лестница», или «мне снился рай», — говорим мы, просыпаясь. Я не собираюсь рассуждать о природе сна и снов — хочу только отметить, что сон занимает в нашей жизни изрядное количество времени и что так называемая история охватывает лишь две трети цикла существования человека, строя свои выводы о нем соответственно. Отражено ли это в литературе?

Наконец, любовь. Я употребляю это тысячекратно воспетое слово в его самом широком и тривиальном смысле. Разрешите вначале охарактеризовать это понятие кратко и без поэтических прикрас. Через несколько лет после рождения в человеческом существе, как и у других животных, происходят известные изменения, которые обычно приводят к соединению с другим человеческим существом и рождению третьих. И таким образом род человеческий не прекращается. Способность любить появляется до половой зрелости и не исчезает после того, как человек утрачивает способность к деторождению. По сути дела, это чувство проходит через всю нашу жизнь, хотя в период зрелости оно сказывается с большей очевидностью. Вместе с половой страстью в период зрелости усиливаются и некоторые другие чувства, вызывая духовный подъем, который выражается

в самых различных формах — всевозможных увлечениях, дружбе, патриотических чувствах, мистических настроениях. Не будем определять, в какой мере они зависят от половой деятельности: боюсь, в этом вопросе мы разойдемся во мнениях не меньше, если не больше, чем в оценке Вальтера Скотта. Позвольте лишь перечислить существующие на этот счет точки зрения. Одни считают половую страсть источником и основой любой другой любви — любви к друзьям, любви к богу, любви к отечеству. Другие утверждают, что она связана с ними только косвенно, а не является их первопричиной. Третьи отрицают какую бы то ни было связь. Я же предлагаю называть словом «любовь» весь комплекс перечисленных чувств, рассматривая его как пятое великое переживание, через которое неизбежно проходит всякое человеческое существо. Любя, человек стремится что-то взять у того, кого любит, но он также стремится что-то дать тому, кого любит. Вследствие этой двойной направленности любовь намного сложнее еды или сна. В ней сочетаются эгоизм и альтруизм, и, каков бы ни был крен в одну сторону, другая при этом никогда не атрофируется. Сколько времени занимает у нас любовь? Кажется, это непристойный вопрос, но мы не можем без него обойтись. Сон занимает около восьми часов в сутки, еда — еще около двух. Что ж, отведем на любовь часа два? Это, несомненно, щедро. Правда, любовь может переплетаться с другими формами жизнедеятельности (как, впрочем, и желание есть или спать). Она может лежать в основе разнообразных вторичных действий: например, из любви к семье человек проводит целые дни на бирже или из любви к богу — в церкви. Но вряд ли он более двух часов в сутки общается с любимым существом на высоком эмоциональном накале. А ведь именно этот эмоциональный накал, это страстное желание дать и взять, эта смесь душевной щедрости и упования и отличает любовь от других перечисленных нами явлений.

Таков человек — или более или менее таков. Писатель — такой же человек, как вы и я, — берет в руки перо и, приведя себя в возбужденное состояние, именуемое для удобства вдохновением, пытается создать героев своих книг. Иногда он ставит перед собой ряд художественных задач, с которыми должны соотноситься характеры героев (примером крайнего случая здесь мо-

жет служить Генри Джеймс). Однако сейчас мы возьмем случай попроще — писателя, увлеченного изображением человека как такового и готового пожертвовать ему всем остальным — сюжетом, фабулой, формой, красотой слога.

Итак, в каком же смысле население романов отличается от реальных жителей земли? Трудно делать выводы о героях книг — в сугубо научном смысле между ними нет ничего общего. Им, например, не обязательно иметь гланды, тогда как у нас они есть. И все же, хотя мы не можем дать точного определения литературным персонажам, ведут они себя одинаково.

Прежде всего, они появляются на свет скорее как почтовые отправления, чем живые существа. Всякий раз, когда на страницах романа возникает младенец, создается впечатление, что его прислали по почте. Новорожденного «доставляют», и кто-нибудь из взрослых героев, приняв его, предъявляет читателям. После чего его отправляют на длительное хранение, пока он не научится говорить или как-то иначе участвовать в развитии действия. Эти и другие отступления от жизненной практики объясняются разнообразными, в равной степени разумными и неразумными причинами, которыми мы займемся позднее. Сейчас я только прошу обратить внимание на то, с какой небрежностью относятся писатели к тому, как пополняется население их романов. Почти ни один романист, от Стерна до Джойса, не обращался к фактам рождения или хотя бы попытался изобрести что-то взамен. И уж никто никогда — разве что в стиле сюсюкающей кумушки — не отважился раскрыть психологию младенца, обогатив литературу теми новыми сокровищами, которые в ней, несомненно, заключены. Возможно, подобная задача невыполнима? Что ж, в этом мы еще разберемся.

Смерть. Картины смерти, напротив, весьма разнообразны и значительно чаще опираются на наблюдения, из чего можно сделать предположение, что писателю она больше с руки. Так оно на самом деле и есть, и прежде всего по той простой причине, что смертью удобно закончить роман. Кроме того — что менее очевидно — писателю, располагающему события во времени, легче идти от известного — жизни — к окутанной тьмой неизвестности смерти, чем от тьмы рождения к известной ему жизни. К тому моменту, когда герою придет время

умирать, романист уже знает его насквозь и в своих описаниях может сочетать логику и воображение — самое сильное из всех сочетаний.

Возьмем самую заурядную смерть — смерть миссис Прауди из романа Троллопа «Последняя хроника Барсета». В ней нет ничего из ряда вон выходящего, а впечатление страшное! Потому что Троллоп успел провести миссис Прауди по многим и многим дорожкам епархии, пуская ее всевозможными аллеями, заставляя вставать на дыбы и взбрыкивать, приучая нас — настолько, что даже приедается, — к ее повадкам и нраву, к ее «епископ, помни о душах паствы твоей!», а потом, вдруг, сердечный приступ у края постели — и нет больше миссис Прауди. Чего только не извлекает писатель из обыкновенной смерти! Чего только не изобретает вокруг нее! Дверь в темноту, ожидающую нас после бытия, ему широко открыта, он даже вправе (если только хватит воображения да достанет ума не пичкать нас обрывками спиритической чепухи о «загробном мире») проводить героя за ее порог.

Ну а как обстоит дело с едой, этим третьим пунктом в нашем списке? Еде в романах отводится чисто социальная функция — герои обычно встречаются за едой. Физиологически же она им не нужна: они редко наслаждаются пищей, никогда ее не переваривают, разве что по особому авторскому заданию. Им, как и в жизни, ничего не стоит изголодаться друг по другу, но не менее постоянное и сильное желание утолять физический голод не находит отражения в романах. Даже в поэзии здесь сделано не в пример больше — по крайней мере в эстетическом плане. Милтон и Китс сумели лучше передать чувственную сторону этого процесса, чем Джордж Мередит.

Сон. Столь же поверхностная картина. Никто даже не пытается воспроизводить состояние забытья или подлинный мир сновидений. Сны в романах либо сугубо логичны, либо представляют собой мозаику, составленную из контрастных фрагментов прошедшего и будущего. Их вставляют в роман с определенной целью, но цель эта — показать не всю жизнь человека в целом, а лишь ту ее часть, которую он проводит наяву. До того факта, что треть его жизни погружена во тьму, писателю, видимо, нет дела. Он идет здесь по стопам историка с его ограниченной «дневной» точкой зрения, хотя

в других отношениях избегает ее. А почему бы ему не познать и не воспроизвести сон? Ведь у него есть право на вымысел, и мы всегда знаем, когда вымысел достоверен, потому что страстная одухотворенность писателя делает и невозможное возможным. Но пока писатели не сумели ни переснять, ни создать мир сновидений. И приходится довольствоваться амальгамой.

Любовь. Романы, как вы знаете, просто распирает от любви, и, надеюсь, согласитесь со мной, что это им только во вред, так как приводит к однообразию. Почему именно это чувство, в особенности половая страсть, вводится в романы в таких огромных количествах? При слове «роман» вы тотчас представляете себе любовную историю — мужчину и женщину, желающих соединиться и в ряде случаев достигающих этой цели. При слове «жизнь», думаете ли вы о своей или чужой жизни, вас обступают совсем иные и не в пример более сложные образы.

Существуют, по-видимому, две причины, почему в романах — даже в хороших — любовь занимает такое большое место.

Во-первых, как только писатель кончает обдумывать образы и садится писать, любовь, в одном или во всех ее видах, овладевает его мыслями, и, сам того не предполагая, он наделяет своих героев чрезмерной восприимчивостью к этому чувству — чрезмерной, потому что в жизни оно их столько не занимает. Постоянный и повышенный интерес героев к чувствам друг друга — даже у такого, по всеобщему приговору, трезвого писателя, как Филдинг, — просто бьет в глаза и к тому же никогда не встречается в жизни, разве что среди людей, которым больше нечем себя занять. Увлеченность, мимолетная вспышка — да, но не это непрерывное томление, не эти бесконечные ссоры и примирения, не этот неутолимый голод. По-моему, все это лишь отражает возбужденное состояние писателя в период творчества, которым в какой-то мере и объясняется то обстоятельство, почему в романах господствует любовь.

И вторая причина. Правда, с точки зрения логики ее следовало бы рассмотреть в другом месте, но упомянем ее здесь. Любовь, как и смерть, весьма с руки романисту: ею удобно закончить книгу. Писатель вправе изобразить любовь вечной, а читателю это очень по душе. Ведь одна из иллюзий, сопутствующих любви, —

вера в то, что она будет вечной. Заметьте, не была, а будет. Вся история человечества, весь наш личный опыт учат, что отношения между людьми не постоянны, как и сами люди. Они переменчивы, и тем, кто хочет сохранить их неизменными, приходится балансировать не хуже жонглера. Постоянны не человеческие чувства, а общественные уложения, не любовь, а брак. Все это мы знаем, но нам нестерпимо думать о будущем в свете столь горьких истин. Будущее должно быть иным. В будущем мы непременно встретим идеального человека, или, на худой конец, наш добрый знакомый станет таковым. Никаких перемен, никакого страха перед ними. Мы будем счастливы или даже несчастливы, но навсегда. Сильные чувства порождают иллюзию постоянства, и писатели это хорошо усвоили. Они любят кончать роман свадьбой, и мы не возражаем против такого конца, вручая им наши мечты.

На этом нам придется завершить сравнение двух родственных видов: *homo sapiens* и *homo fictus*. Последний труднее поддается определению, чем его собрат. Он создается в умах сотен различных писателей, и каждый творит его по собственному разумению и подобию, отличному от других. Какие уж тут обобщения! Все же кое-что мы можем о нем сказать. *Homo fictus* обычно производят на этот свет, и он способен отправиться на тот; еды и сна ему требуется крайне мало, зато он без устали выясняет отношения людей друг к другу. И самое главное — мы знаем о нем намного больше, чем о своих близких, потому что его творец и летописец соединены в одном лице. Прибегая к гиперболе, здесь самое место воскликнуть: «Если бы бог вздумал рассказать историю вселенной, вселенная превратилась бы в роман!» Ибо таков закон жанра.

А теперь от общих рассуждений перейдем к рассмотрению какого-нибудь персонажа, наделенного симпатичным характером — скажем, Молл Фландерс, — и попробуем разобраться в нем. Молл Фландерс заполняет собой целую книгу, носящую ее имя, или, вернее, подобно дереву в парке, стоит в ней на виду, так что мы можем рассмотреть ее со всех сторон, не продираясь сквозь соседнюю поросль. Дефо, как и Скотт, плетет сюжетную канву, и у него тоже свисают оборванные нити — на случай, если потом понадобится вплести их в рисунок, — куда, например, деваются многочисленные

дети, которых в молодости нарожала Молл Фландерс? Однако прямую параллель между Дефо и Скоттом провести нельзя. Дефо целиком сосредоточен на одной героине, и форма его романа естественно обусловлена развитием ее характера. Соблазненная старшим братом, она становится женою младшего и в первую, лучшую половину своей жизни предпочитает выступать в роли жены, а не любовницы,— положение, которое ненавидит всеми фибрами честной и чувствительной души. Как и большинство других героев Дефо из преступного мира, Молл добра к своим, щадит их чувства и готова ради них рисковать собой. Их внутреннее благородство проявляется на каждом шагу вопреки благим намерениям автора: очевидно, причина тому в тех потрясениях, которые Дефо пережил в Ньюгете. Трудно сказать, что это было. Вероятно, позднее, с головой уйдя в газетную стряпню и политическую игру, он и сам не мог бы это сказать. Но что-то там с ним в тюрьме произошло, и из смутных, но острых впечатлений родились Молл Фландерс и Роксана. Молл — женщина с литыми, округлыми руками, умеющими обнимать в постели и чистить чужие карманы. Она не расписывает нам свою внешность, тем не менее мы видим ее как живую: у нее свой вес и рост, она дышит, ест и делает многое другое, о чем обычно не упоминают в романах. Сначала у нее были мужья: она сменила трех, или, кажется, четырех, и один из них оказался ее братом. И со всеми она была счастлива: они любили ее, а она их. Послушайте, какое веселое путешествие совершает она со своим вторым мужем, торговцем мануфактурой:

« — Послушайте, милая,— говорит он мне однажды,— не прокатиться ли нам по Англии?

— Куда же вы хотите прокатиться, мой друг?

— Все равно куда: мне хочется недельку пожить вельможей. Поедем в Оксфорд.

— Как же мы поедем? — говорю я.— Верхом я не умею, а для кареты это слишком далеко.

— Слишком далеко! Нет такого места, куда нельзя бы было доехать в карете шестерней. Если я вывожу вас, то хочу, чтобы вы ехали как герцогиня.

— Чудачество, мой друг; но раз вам так хочется, пусть будет по-вашему.

Назначили день отъезда; у нас была богатая карета, отличные лошади, кучер, фореитор и два лакея в красивых

ливреях; камердинер верхом на лошади и паж в шляпе с пером на другой лошади. Слуги называли моего мужа милордом, а я была ее сиятельством графиней; так доехали мы до Оксфорда, совершив очень приятное путешествие, ибо, нужно отдать справедливость моему мужу, ни один нищий на свете не сумел бы лучше разыграть роль вельможи. Мы осмотрели все достопримечательности Оксфорда; сказали двум-трем наставникам колледжей о своем намерении отдать в университет племянника, оставленного на попечение его сиятельства, и пригласили их в репетиторы; позабавились еще над несколькими бедными школярами, посулив им богатые приходы и по меньшей мере место капелланов его сиятельства. Пожив таким образом вельможами, во всяком случае по части трат, отправились мы в Нортгемптон и после двенадцатидневной поездки вернулись домой, промотав около девяноста трех фунтов»¹.

Сравните этот отрывок со сценой между Молл Фландерс и ее горячо любимым ланкаширским мужем. Он — грабитель с большой дороги, и каждый из них выдает себя за богача, чтобы с помощью этого обмана словить другого в брачные сети. После свадьбы происходит обоюдное разоблачение, и если бы Дефо писал механически, не учитывая характера героини, он заставил бы их осыпать друг друга упреками, как это делают мистер и миссис Ламм в романе Диккенса «Наш общий друг». Но Дефо подчиняется доброму нраву и юмору своей героини.

« — Прекрасный план, — сказала я, — и я думаю, вы быстро снискали бы мое расположение; мне крайне прискорбно, что я сейчас не в состоянии доказать вам, как легко я пошла бы на примирение с вами и простила бы вам все ваши проделки за ваш веселый нрав. Однако, друг мой, что нам теперь делать? Мы оба в незавидном положении; и от того, что мы примирились, нам не легче, раз у нас нет никаких средств к существованию.

Мы строили много планов, но не могли придумать ничего дельного, потому что нам не с чем было начинать. В заключение муж попросил меня не говорить больше об этом; иначе, сказал он, я разобью ему сердце; после этого мы побеседовали еще немного о других

¹ Перевод А. А. Франковского. Цит. по изд.: Дефо Даниель. Молль Фландерс. М., 1955, с. 62.

предметах, пока наконец муж не простился со мной и не уснул»¹.

Насколько это ближе к жизни и приятнее читать, чем Диккенса! У Дефо чету волнует создавшееся положение, а не этические теории их создателя, и так как они плуты разумные и по-своему порядочные, то и обходятся без скандала. Во второй половине своей жизни Молл, отчаявшись в мужьях, принимается за воровство. В ее глазах это перемена к худшему, и ее описания окрашены в мрачные тона. Но сама она остается все той же уверенной в себе, жизнелюбивой женщиной. Как психологически верны рассуждения, которыми она сопровождает кражу золотого ожерелья у девочки, возвращавшейся с урока танцев! Молл обирает ее в переулке, выходящем на площадь Святого Варфоломея (вы можете и сегодня пройти по нему — тень Дефо витает над Лондоном!), и на мгновение у нее появляется мысль убить ребенка. Но мысль эта, лишь мелькнувшая у нее в голове, не претворяется в дело, и когда девочка, почуяв недоброе, убегает, Молл выражает свое возмущение родителями, которые «оставили бедную овечку без присмотра», заявляя, что «проучила их за небрежность». Каким тяжелым слогом, с какими выкрутасами изложил бы все это современный психолог! А у Дефо вся сцена словно сама сошла с пера. И не только эта сцена. Вспомните другой эпизод, где Молл, одурачив некоего господина, сообщает ему о своей проделке и в результате приобретает еще большее его расположение, так что сама уже не посягает на дальнейший обман. Поступки Молл задевают нас — не раздражают, а именно задевают, волнуют, словно перед нами живой человек. Мы посмеиваемся над ней, но не испытываем ни возмущения, ни превосходства. Ни лицемерия, ни глупости в ней нет и следа.

Наконец две юные особы, торгующие в мануфактурной лавке, хватают Молл с поличным. «Я обратилась к ним по-хорошему, но напрасно: драконы с огнедышащей пастью не могли бы быть более свирепыми». Молл передают в руки полиции, сажают в тюрьму и приговаривают к смертной казни, но не казнят, а отправляют на поселение в Виргинию. И тут черные тучи над головой героини начинают рассеиваться с неприличной быстротой.

¹ Дефо Даниель. Указ. соч., с. 139—140.

Переезд через океан оказывается вполне приятным благодаря заботам старой пестуни, некогда научившей ее воровать. К тому же — верх удачи! — среди пересыльных находится ее ланкаширский муж. Их высаживают в Виргинии, где, к величайшему ужасу Молл, проживает ее брат, он же муж. Но ей удается скрыть это обстоятельство, а когда позднее, после смерти брата-мужа, оно обнаруживается, ланкаширский муж лишь слегка бранит ее за скрытность — суть дела мало его беспокоит, поскольку они по-прежнему любят друг друга. В итоге все завершается наилучшим образом, и в конце книги голос героини звучит так же уверенно, как и в начале: «Мы решили провести остаток наших дней в искреннем раскаянии, сокрушаясь о дурной нашей жизни».

Раскаяние это искреннее, и лишь поверхностный ум обвинит Молл в лицемерии. Для человека ее типа невозможно надолго отказаться от представления «не пойман — не вор». На мгновение она согласится отграничить преступление от наказания, но уже в следующее мгновение свяжет их накрепко между собой. У нее типичное и естественное для кокни восприятие жизни: «жизнь дрянна» — вот вся ее философия, Ньюгетская тюрьма — вот вся ее преисподняя. Если бы мы насели на Молл и ее создателя Дефо, требуя: «Давайте поговорим серьезно! Вы веруете в вечность души?», они ответили бы (на наречии нынешних своих потомков): «А как же! Конечно, верую. За кого вы меня принимаете!» — признание веры, зачеркивающее ее куда решительнее, чем непризнание ее.

Итак, мы видим в «Молл Фландерс» образец романа, в основе которого лежит свободно развивающийся характер. Дефо, правда, делает слабую попытку построить сюжет вокруг брата-мужа, но он лишь проходная фигура, а законный супруг героини (тот самый, что возил ее повеселиться в Оксфорд) почти сразу же исчезает и больше на страницах романа не появляется. Важна только героиня. Она, подобно дереву в открытом поле, стоит в романе особняком. А так как мы выше объявили ее абсолютно реальной, реальной со всех точек зрения, пора спросить себя — а узнали бы мы Молл Фландерс, повстречайся она нам в жизни? Ведь именно этот вопрос занимает нас сейчас: различие между людьми в действительности и героями книг. Однако, как это ни странно, даже такой естественный, такой ненадуманый

характер, как Молл, достоверный даже в мельчайших подробностях, не имеет в жизни своего двойника. Предположим, что, обращаясь к вам, я вдруг заговорил бы другим, не лекторским, а своим обычным голосом: «Поостерегитесь, господа! Молл среди вас. Поостерегитесь, господин Такой-то (и я назвал бы кого-то по имени). Она вот-вот доберется до ваших часов!» Вы сразу же уличили бы меня в фальши и сказали бы, что я грешу не только против истины (в данном случае это не столь важно), но и против реальной жизни, и против литературы и того различия, которое существует между ними. Скажи я: «Поостерегитесь! Среди вас женщина, похожая на Молл!» — вы, пожалуй, не поверили бы мне, однако не имели бы повода возмущаться явным отсутствием у меня вкуса. Полагать, что Молл Фландерс находится сейчас в Кембридже, или вообще где-то в Англии, или находилась в Англии, совершеннейшая нелепость. Почему?

На этот вопрос нам легко будет ответить в следующей лекции, где речь пойдет о более сложных романах с характерами, написанными с учетом других аспектов художественного повествования. Это ответ в эстетическом плане, он есть во всех учебниках по литературе, его ждут от вас на экзаменах: роман является произведением искусства и как таковое подчиняется своим законам, отличным от законов жизни. Характер героя реален, если он действует в соответствии с этими законами. Ни Амелия, ни Эмма, скажем мы, не могут присутствовать в этом зале, так как существуют только в одноименных книгах, в мире Филдинга и в мире Джейн Остин. Они отделены от нас барьером, называемым искусством. Они реальны не потому, что похожи на нас (хотя такое сходство и не исключено), а потому что достоверны.

Такой ответ удобен и позволяет прийти к разумным выводам. Но в случае с Молл Фландерс, где характер героини определяет собою весь роман и развивается как бы изнутри, он нас не удовлетворяет. Нам хотелось бы получить ответ не столько в эстетическом, сколько в психологическом плане. Почему Молл не может быть здесь? Что отличает ее от нас? Ответ на этот вопрос уже прозвучал в цитате из Алена. Молл не может быть здесь, так как принадлежит к иному миру, в котором сокровенная жизнь открыта постороннему взгляду, а потому не может быть нашим, — миру, где творец и летописец соединены в одном лице. Исходя из этого мож-

но определить, какой характер мы будем считать реальным. Герой реален, если писателю известно о нем решительно все. Писатель не обязан сообщать все, что знает, — многие факты, в особенности те, которые принято называть очевидными, могут остаться за пределами романа. Тем не менее, хотя писатель не старается объяснять характер героя, у нас должно быть ощущение, что он ясен ему до конца, и отсюда в нашем сознании возникает особая реальность, которая недоступна нам в действительной жизни.

Общение между людьми, общение как таковое, а не как социальная функция, находится во власти злого духа. Нам не дано понимать друг друга — разве что в самом общем и тривиальном смысле; мы неспособны, даже при всем желании, открыться друг другу; то, что мы называем близостью, — не более как условность; полное знание — лишь мираж. Но в романе человек раскрывается перед нами до конца, и, кроме удовольствия от чтения, мы еще получаем возможность вознаградить себя за то, что неспособны познать его в жизни. В этом смысле литература правдивее истории. Она идет дальше фактов, а каждый из нас из собственного опыта знает, что за фактами всегда что-то есть, и если писатель не сумел найти это что-то, он по крайней мере попытался. И поэтому пусть его герои прибывают на этот свет как почтовые отправления, пусть существуют без еды и без сна, пусть занимаются любовью, любовью и только любовью, лишь бы он знал о них все до конца, лишь бы они доподлинно были его творениями. Вот почему Молл не может оказаться среди нас. Вот почему, не говоря уже о прочих причинах, здесь не может быть ни Амелии, ни Эммы. Они — те, чья сокровенная жизнь открыта или может быть открыта постороннему взгляду, а мы — те, чья сокровенная жизнь не видна никому.

Вот почему читать романы, даже романы о дурных людях, доставляет нам удовольствие: они знакомят нас с более понятной, а потому и легче управляемой человеческой расой, позволяя нам мнить себя умными и всесильными.

ПРИМЕЧАНИЯ

КУДА БОЯТСЯ СТУПИТЬ АНГЕЛЫ

Стр. 19. Черинг-кросс — вокзал в Лондоне.

Монтериано. — Под этим названием Форстер имел в виду небольшой старинный город Сан-Джиминьяно к югу от Флоренции, который также упоминается в романе.

Стр. 20. Айроло — городок на юге Швейцарии, неподалеку от границы с Италией.

Стр. 21. Фолкстон — порт на юго-востоке Англии.

Стр. 23. Пятикнижие — название первых пяти книг Ветхого завета (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие).

Стр. 26. Святая Деодата. — Форстер имеет в виду святую Фину, изображенную на двух фресках Гирландайо в соборе Сан-Джиминьяно.

Стр. 30. Бедекер — путеводитель (назван по имени немецкого книготорговца Карла Бедекера (1801—1859), составившего и издавшего путеводители по многим городам и странам).

...прогибеллинские тенденции были подмечены Данте... — Гибеллины — политическая партия в Италии XII—XV вв. Поддерживали германских императоров и враждовали со сторонниками пап — гвельфами. Данте (1265—1321) являлся страстным приверженцем гибеллинов.

Коллегиальная церковь — собор, то есть крупная церковь, где отправляют богослужение представители высшего духовенства.

Стр. 31. Шамони — центр горного туризма на юго-востоке Франции.

Стр. 34. Джон Буль — сатирический персонаж серии политических памфлетов английского просветителя Дж. Арбетнота (1667—1735). Это слово стало нарицательным именем корыстолюбивого и упрямого буржуа-англичанина.

Стр. 37. Берсальеры — особый вид итальянской пехоты, специально тренировавшийся в меткой стрельбе и быстрых переходах.

Стр. 38. Этрусская лига — федерация двенадцати этрусских родов, пользовавшаяся в VI в. до н. э. значительным политическим влиянием в Италии.

Рex Romana («Римский мир») — политическая программа времен принципата Августа, провозглашавшая прекращение гражданских войн на всей территории римских владений с целью объединить различные группировки рабовладельческого общества. Позднее так называлась совокупность всех государств, находящихся в зависимости от Римской империи.

Аларих (370—410) — вестготский король. В 410 г. его войска разграбили Рим.

Матильда (1046—1115) — графиня Тосканская. Активно поддерживала пап в их борьбе с германскими императорами. Именно в ее замке Каносса в 1077 г. папа Григорий VII принимал императора Генриха IV, явившегося к нему на покаяние.

Стр. 42. **Паллоне** — игра в мяч.

Стр. 54. **Давид** (ок. X в. до н. э.) — царь Израиля, герой борьбы с филистимлянами и основатель Иерусалима.

Ионафан — сын израильского царя Саула. Его отношения с Давидом считаются идеалом дружбы.

Стр. 57. **Битва при Сольферино** — поражение, нанесенное объединенной франко-сардинской армией австрийцам 24 июля 1859 г.

Стр. 65. **Корделия** — младшая дочь короля Лира в трагедии Шекспира (1605).

Имогена — героиня драмы Шекспира «Цимбелин» (1609). Обе героини воплощают идеал нравственной стойкости.

Стр. 69. **Эритрея** — часть Эфиопии. С 1890 по 1941 г. была колонией Италии.

Стр. 71. **Берн-Джонс Эдуард** (1833—1898) — английский художник, принадлежавший к группе прерафаэлитов.

Пракситель — выдающийся древнегреческий скульптор середины IV в. до н. э.

Стр. 82. **Мариам**. — Согласно Библии, пророчица, сестра Моисея и Аарона. Когда воды Чермного моря поглотили преследовавшую израильтян конницу фараона, Мариам взяла в руки тимпан и воспела благодарственную песнь Яхве (Исход, 15, 20).

Стр. 88. **Борджиа Родриго** (1431—1503) — в 1492 г. стал папой под именем Александра VI. Он, как и его дети Чезаре (1476—1507) и Лукреция (1480—1519), прославился чудовищным развратом.

Стр. 107. **Греческий сгонь** — зажигательная смесь, которая использовалась арабами, византийцами и другими народами для поджигания неприятельских кораблей и крепостей.

Стр. 108. **Доницетти Газтано** (1797—1848) — итальянский композитор. «**Лючия ди Ламмермур**» (1835) — его опера на сюжет романа В. Скотта «**Ламмермурская невеста**» (1819).

Стр. 113. **Господин Бовари** — персонаж романа Г. Флобера «**Госпожа Бовари**» (1857).

Стр. 119. Терно (по-итальянски «тройка») — выигрыш в лото. Кроме того, в тексте романа это еще и название местного городка.

Томбола — разновидность игры в лото.

Стр. 129. Беллини Джованни (1430—1516) — выдающийся итальянский художник Венецианской школы.

Синьорелли Лука (сер. XV в. — 1523) — итальянский художник Умбрийской школы.

Креди Лоренцо ди (1459—1537) — итальянский художник, работал во Флоренции.

Стр. 142. «Благословен господь, твердыня моя...» — Псалтырь, 143, 1.

Стр. 144. Юдифь, Дебора, Иаиль — героические женщины из Ветхого завета. Юдифь отсекла голову ассирийскому военачальнику Олоферну; пророчица Дебора подняла народ на борьбу против угнетателей — ханаанеян; Иаиль убила ханаанейского военачальника Сисару.

Стр. 161. Пасифая — в греческой мифологии жена критского царя Миноса, которая родила чудовище Минотавра от быка, посланного богом моря Посейдоном.

Стр. 162. Миф об Эндимионе. — Прекрасного юношу Эндимиона полюбила богиня Луны Селена. Зевс погрузил его в вечный сон, подарив ему бессмертие и непреходящую юность.

НЕБЕСНЫЙ ОМНИБУС

Стр. 165. Сербитон — юго-западный пригород Лондона.

Стр. 170. Карл Великий (742—814) — король франков, создавший в результате многочисленных завоевательных походов обширную, но непрочную империю.

Лаура — женщина, которую воспел в своих стихах Франческо Петрарка (1304—1374).

Браун Томас (1605—1682) — английский писатель, автор причудливых по стилю книг, самая известная из которых, «Религия врача» (1643), содержит остроумные аргументы в пользу как скептицизма, так и религии.

Стр. 173. Ахерон — в греческой мифологии одна из рек в преисподней, через которую должны переплывать души умерших.

...три девы; они пели и играли чем-то блестящим, как кольцо. — Намек на тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» (1874). Имеются в виду три дочери Рейна, к которым в финале тетралогии возвращается кольцо Нибелунга, выкованное из волшебного золота.

Стр. 175. Стою в неведенье — и не могу... — здесь и далее цитируется сонет английского поэта Джона Китса «Гомеру» (1818).

Стр. 177. Дан...— Имеется с виду Данте.

Стр. 178. Миссис Гэмп — словоохотливая нянька из романа Диккенса «Мартин Чеззлуит» (1844).

Миссис Херрис — выдуманная личность, на которую постоянно ссылается миссис Гэмп.

Миссис Приг — приятельница миссис Гэмп.

Том Джонс — герой романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» (1749).

Стр. 179. Герцогиня Мальфи — героиня одноименной трагедии (1612—1614) английского драматурга Джона Уэбстера.

Стр. 180. «Золото Рейна» — первая из драм, входящих в тетралогию Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга».

ИНОЕ ЦАРСТВО

Стр. 184. Крез — царь Лидии (VI в. до н. э.), считавшийся одним из богатейших людей древности.

Мидас — фригийский царь, обладавший, согласно легенде, способностью превращать своим прикосновением все предметы в золото.

Стр. 189. «Эклоги» Вергилия (42—38 гг. до н. э.) — сборник стихотворений, восхваляющих пастушеский труд и прелести сельской жизни.

Стр. 192. Пиндар (518—442 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных песнопений, исполнявшихся на празднествах.

Стр. 193. Вейи — этрусский город, который вел непрерывные войны с Римом в V—IV вв. до н. э. Место археологических раскопок в XIX в.

Стр. 196. Тенисон Алфред (1809—1892) — английский поэт, автор «Королевских идиллий» (1859) — цикла поэм о короле Артуре и его рыцарях.

Стр. 209. «Эдип в Колоне» (401 г. до н. э.) — драма Софокла, повествующая о странствиях и смерти слепого изгнанника, царя Эдипа, который достигает Колона и умирает там чудесной смертью избранника богов.

ДОРОГА ИЗ КОЛОНА

Стр. 213. Мерлин. — Согласно средневековой рыцарской литературе, знаменитый прорицатель и чародей, якобы живший в V в. Особенно часто упоминается в цикле сказаний о короле Артуре.

Стр. 214. ...напоминает мне Колон у Софокла. — См. прим. к стр. 209.

ПО ТУ СТОРОНУ ИЗГОРОДИ

Стр. 225. Трансваальская война (англо-бурская, 1899—1902) — война Великобритании против южноафриканских республик Оранжевой и Трансвааль, закончившаяся их превращением в английские колонии.

«Христианская наука» — религиозная секта, основанная Мэри Эдди в 70-х гг. XIX в. в США. Согласно учению этой секты, материя и, следовательно, болезни и смерть реально не существуют.

КООРДИНАЦИЯ

Стр. 230. Политические стихи Вордсворта. — К начальному периоду творчества Уильяма Вордсворта (1770—1850) относится ряд стихотворений, в которых отразилось его сочувствие идеям Французской революции.

Стр. 232. Полина Буонапарт (1780—1825) — сестра Наполеона, славившаяся красотой и любовными приключениями.

Стр. 233. Мария-Луиза (1791—1847) — вторая жена Наполеона, дочь австрийского императора Франца I.

Стр. 235. Питер Пэн — герой произведений шотландского писателя Джеймса Барри (1860—1937), мальчик, который никогда не стал взрослым.

Стр. 236. Иов — библейский праведник, сохранивший веру, несмотря на суровые испытания, которым подверг его бог.

СИРЕНА

Стр. 244. Семь чаш. — Имеется в виду библейский образ (Апокалипсис, 15, 7) — семь чаш божьего гнева.

ВЕЧНОЕ МГНОВЕНЬЕ

Стр. 248. «*I Promessi Sposi*» — «Обрученные» (1825—1827) — знаменитый исторический роман итальянского писателя Алессандро Мандзони (1785—1873).

...два столба, один красно-бело-зеленый, другой — черно-желтый. — Имеются в виду государственные цвета Италии и Австро-Венгерской империи.

Italia Irredenta — не освобожденные от австрийцев территории с населением, говорившем на итальянском языке, вос-

соединения которых с Италией требовали итальянские националисты конца XIX — начала XX в. К этим землям относилась область Трентино, где находится Кортина д'Ампеццо, известный курорт на северо-востоке Италии.

Стр. 252. Ворта. — По собственным словам Форстера, под названием Ворта он описал город Кортина д'Ампеццо.

Стр. 259. Миланские Висконти — знатный род, правивший в Милане с 1277 по 1477 гг.

Стр. 260. Дольчи Карло (1616—1686) — итальянский живописец Флорентийской школы.

Карраччи — семья итальянских живописцев, основоположников Болонской школы. Наиболее талантливый представитель — Аннибале Карраччи (1560—1609).

Фра Анджелико Джованни (1387—1455) — итальянский живописец эпохи раннего Возрождения. Некоторое время работал в Кортина д'Ампеццо.

Стр. 261. Сивиллы — название прорицательниц у ряда народов древности. В католической церкви почитаются наравне со святыми.

ЗАМЕТКИ ОБ АНГЛИЙСКОМ ХАРАКТЕРЕ

Стр. 283. Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор многотомного труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788).

Стр. 285. Веллингтон Артур (1769—1852) — герцог, английский консервативный политический деятель.

Стр. 287. Делить богатство — значит, стать бедней... — строки из поэмы «Эпипсихидион» английского поэта Перси Биши Шелли (1792—1822).

Стр. 289. «Панч» — английский юмористический еженедельник, выходящий с 1841 г.

Стр. 290. Бирбом Макс (1872—1956) — английский писатель и карикатурист.

Савонарола Джироламо (1452—1498) — религиозно-политический реформатор; жил во Флоренции.

Стр. 292. Остин Джейн (1775—1817) — английская писательница, мастер глубокого психологического анализа.

Стр. 293. Амритсарская бойня — расстрел английскими войсками мирной демонстрации, организованной 13 апреля 1919 г. борцами за освобождение Индии в г. Амритсар.

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

Стр. 295. Подводить итоги трудно... — В марте 1914 г. В. Вулф покончила с собой в состоянии нервной депрессии.

Беннетт Арнолд (1867—1931) — английский писатель, продолжавший традиции критического реализма XIX в. Подвергался критике со стороны В. Вулф.

Блумсбери — район Лондона, где поселилась в 1907 г. В. Вулф. Группой Блумсбери называли круг друзей В. Вулф, куда входили Э. М. Форстер, художественный критик Р. Фрай, экономист Дж. М. Кейнс, философ Б. Рассел и др.

Стр. 296. «Орландо» (1928) — фантастический роман В. Вулф, главный персонаж которого сочетает в себе мужские и женские черты.

Стр. 297. Тревельян Роберт Кэлверли (1872—1951) — английский поэт, переводчик и литературный критик; был близок к Форстеру. Автор статьи о В. Вулф в газете «Эбингерская хроника» (1941).

Фрай Роджер (1866—1934) — английский художник и искусствовед.

Стр. 298. Куинси Томас де (1785—1859) — английский писатель-романтик, книга которого «Исповедь курильщика опиума» (1822) оказала влияние на развитие декадентской литературы.

Пруст Марсель (1871—1922) — французский писатель. Его роман «В поисках утраченного времени» (опубликован в 1913—1927 г.) является одним из наиболее значительных произведений модернистской литературы.

Хэйр Огастес (1834—1903) — английский писатель, автор книги «Две благородные жизни».

Стр. 299. Теннисон.— См. прим. к стр. 196.

Стр. 302. Миттон Джек (1796—1834) — английский охотник и наездник, об эксцентрических выходках и беспутной жизни которого ходило много анекдотов.

Стр. 303. Плумер Уильям (род. в 1903 г.) — английский поэт и романист, переселившийся позднее в Южную Африку.

Уолпол Хью (1884—1941) — английский романист и критик.

Стр. 304. Эмма — героиня одноименного романа Джейн Остин (1816).

Доротей Казобон — героиня романа Джорджа Элиота «Миддлмарч» (1871—1872).

«Повесть о старых женщинах» (1908) — роман А. Беннетта, где история двух сестер представлена как цепь разочарований.

Сине-зеленая песенка.— Имеется в виду «Синее и зеленое» — небольшое, основанное на смутных ассоциативных об-

разах стихотворение в прозе из сборника В. Вулф «Понедельник или вторник» (1921).

Стр. 305. Мередит Джордж (1828—1909) — английский поэт и романист.

Лэм Чарлз (1775—1834) — английский писатель и эссеист романтического направления.

Джеймс Генри (1843—1916) — американский писатель, для произведений которого характерен изощренный психологизм.

Стр. 307. Стрэнд — одна из центральных улиц Лондона.

Оден-ишервудское поколение. — Известный английский поэт Уистон Хью Оден (род. в 1907 г.), вместе с драматургом Кристофером Ишервудом (род. в 1904 г.), принадлежал в 30-е гг. к Оксфордскому кружку, известному своими лево-радикальными взглядами и борьбой против условностей в поэтическом языке.

...созданный Родой... квадрат на овале... — Рода, героиня романа В. Вулф «Волны» (1931), стремится понять мир с помощью искусства; символом этого стремления является попытка вписать квадрат в овал.

Стр. 308. Оксбриджский завтрак, фернхемский обед. — Имеются в виду сцены из книги В. Вулф «Собственная комната».

Стр. 309. Лисистрата — героиня одноименной комедии Аристофана (446—385 гг. до н. э.), которая вместе с другими женщинами добивается от мужчин прекращения войны.

Суфражистки — участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав (конец XIX — начало XX вв.)

ВОЛЬТЕР И ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ

Стр. 316. ...поссорился с другим французом, находившимся на службе у короля... — Речь идет о ссоре Вольтера с французским ученым П.-Л. Мопертюи (1698—1759), который в то время был президентом Прусской Академии наук.

ПРОСИТЕЛЬ

Стр. 319. Хукка — курительный прибор, в котором дым пропускается через сосуд с водой; род кальяна.

Гуава (гуява) — тропическое дерево, дающее кисло-сладкие сочные плоды.

ЭЛИЗА В ЕГИПТЕ

Стр. 322. Фэй Элиза (1756—1816) — английская путешественница, чьи «Подлинные письма из Индии», опубликованные в Калькутте в 1817 г., были вновь изданы Форстером в 1925 г.

Каллимах (310—240 гг. до н. э.)—древнегреческий поэт и ученый. Один из тех, кто возглавлял Александрийскую библиотеку.

Фарос—остров в Средиземном море у побережья Египта. На Фаросе был построен маяк, считавшийся в древности одним из семи чудес света.

Септастадион—так называлась дамба, соединявшая Фарос с берегом. Построена Александром Великим.

Иглы Клеопатры—ошибочное название двух обелисков, воздвигнутых фараоном Тутмосом III в XV в. до н. э. Сейчас один из них находится в Нью-Йорке, другой—в Лондоне.

Стр. 323. Колонна Помпея—ошибочное название колонны, воздвигнутой в честь Диоклетиана к югу от Александрии.

Диоклетиан (245—313)—римский император, жестоко преследовавший христиан.

Стр. 325. Розеттское устье Нила—западный рукав дельты Нила, на котором стоит город Розетта.

Стр. 326. Иосиф.—Согласно Библии, один из двенадцати родоначальников израильтян. Был продан братьями в рабство, возвысился при дворе фараона, а затем спас братьев и отца от голодной смерти.

Иаков.—Согласно Библии, младший сын Исаака и Ревекки, отец двенадцати израильских родоначальников. На склоне лет с радостью переселился из Ханаана в Египет, ибо там его ожидал любимый сын—Иосиф, которого он считал погибшим.

Стр. 330. Моисей.—Согласно Библии, вождь, законодатель и творец религии израильтян. Вместе со своим старшим братом Аароном он с большими трудностями вывел евреев из Египта, где они подвергались преследованиям.

АСПЕКТЫ РОМАНА

Стр. 337. Хронос—в греческой мифологии титан, сын Урана и Геи, правивший миром до тех пор, пока не был свергнут своим сыном Зевсом.

Стр. 338. Бронте Эмилия (1818—1848)—английская писательница, автор романа «Грозовой перевал» (1847).

Стерн Лоренс (1713—1768)—английский писатель, создатель сентиментально-юмористического романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767).

Пруст—см. прим. к стр. 298.

Стр. 340. «Швейцарские робинзоны» (1812—1813)—роман для детей швейцарского писателя И. Р. Висса, написанный в подражание роману Д. Дефо.

Стр. 345. Беннетт Арнолд.—См. прим. к стр. 295.

Стр. 346. Пять городов Беннетта. — Имеются в виду города Тинстолл, Берслем, Хенли, Стоук-он-Трент и Лонгтон в графстве Стаффордшир, где происходит действие многих произведений А. Беннетта.

Стр. 347. Стайн Гертруда (1874—1946) — американская писательница. Жила в Париже. Ее искания в области художественной формы оказали влияние на творчество многих писателей.

Озирис — бог растительности и загробного царства у древних египтян. Был убит завистливым братом Сетом, который разрезал его тело на сорок кусков, разбросав их по Египту. Жена Озириса Изиды собрала его тело, и он воскрес. Символизирует смену времен года.

Стр. 349. Батуалу — герой одноименного романа Рене Марана (1887—1960), вождь африканского племени, с сочувствием изображенный автором. Роман, изданный в 1921 г., был отмечен Гонкуровской премией.

Стр. 350. Ален — псевдоним французского критика и философа Э.-О. Шартье (1868—1951).

Стр. 355. Джойс Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель, один из основоположников модернистской литературы. Для его романа «Улисс» характерны сложная символика и использование метода «потока сознания».

Стр. 356. «Последняя хроника Барсета» (1867) — один из романов английского писателя Энтони Троллопа (1815—1882), посвященных жизни провинциального духовенства юго-западной Англии.

Милтон Джон (1608—1674) — английский поэт и публицист, создатель поэмы «Потерянный рай» (1667), отразившей опыт английской революции XVII в.

Китс Джон (1795—1821) — английский поэт-романтик, обогативший поэтический язык новыми выразительными средствами.

Стр. 358. Молл Фландерс — героиня одноименного романа Даниеля Дефо (1722).

Стр. 359. Ньюгет — название тюрьмы, куда в 1703 г. был заключен Дефо за опубликование памфлета в защиту веротерпимости.

Роксана — героиня одноименного романа Д. Дефо (1724).

Стр. 361. ...на поселение в Виргинию. — Английская колония Виргиния (позднее один из штатов США) служила в начале XVIII в. местом ссылки.

Стр. 363. Амелия — героиня одноименного романа Г. Филдинга (1751).

Эмма. — См. прим. к стр. 304.

СОДЕРЖАНИЕ

Т. Хмельницкая. ПРЕДИСЛОВИЕ	3
КУДА БОЯТСЯ СТУПИТЬ АНГЕЛЫ. Роман, Перевод Н. Рахмановой	17

РАССКАЗЫ

НЕБЕСНЫЙ ОМНИБУС. Перевод Л. Поляковой	165
ИНОЕ ЦАРСТВО. Перевод В. Палерно	183
ДОРОГА ИЗ КОЛОНА. Перевод Г. Островской	210
ПО ТУ СТОРОНУ ИЗГОРОДИ. Перевод И. Брусянина	223
КООРДИНАЦИЯ. Перевод Т. Жуковой	230
СИРЕНА. Перевод Н. Рахмановой	238
ВЕЧНОЕ МГНОВЕНЬЕ. Перевод Н. Толстой	247

ЭССЕ

ЗАМЕТКИ ОБ АНГЛИЙСКОМ ХАРАКТЕРЕ. Перевод Г. Островской	283
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ. Перевод Л. Поляковой	295
ВОЛЬТЕР И ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ. Перевод Т. Ровинской	313
ПРОСИТЕЛЬ. Перевод И. Брусянина	318
ЭЛИЗА В ЕГИПТЕ. Перевод Т. Ровинской	322
АСПЕКТЫ РОМАНА (отрывки). Перевод М. Шерешевской	335
ПРИМЕЧАНИЯ	365

Э. М. Форстер

Ф79 Избранное. Пер. с англ. Сост. Н. Рахмановой.
Предисл. Т. Хмельницкой. Оформл. худож.
Г. Фильчакова. Л., «Худож. лит.», 1977.

376 с.

Э. М. Форстер (1879—1970) в своих романах и рассказах изображает эгоцентризм и антигуманизм высших классов английского общества на рубеже XIX—XX вв. Положительное начало Форстер искал в отрицании буржуазной цивилизации, в гармоническом соединении человека с природой.

Ф $\frac{70304-067}{028(01)-77}$ 176-77

И(Англ)

**ЭДУАРД
МОРГАН
ФОРСТЕР**

ИЗБРАННОЕ

Редактор

Н. Толстая

Художественный редактор

А. Гасников

Технический редактор

М. Шафрова

Корректор

В. Урес

ИБ № 618

Сдано в набор 17/XI 1976 г. Подписано в печать 17/IV 1977 г. Бумага тип. № 2.
Формат 84×108 $\frac{1}{32}$, 11,75 печ. л., 19,74 усл. печ. л. 21,353+7 вкл. = 21,401 уч.-изд. л.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 390. Цена 2 р. 29 к. Издательство «Художественная
литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186,
Невский пр., 28

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени
Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29